



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

### **Правила использования**

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.  
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.  
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.  
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.  
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

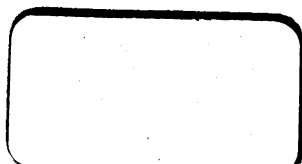
### **О программе Поиск книг Google**

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

SLAV 4354.4.812



HARVARD  
COLLEGE  
LIBRARY







T 98



Печ со стали Ф.А.Брокгауза въ Лейпцигъ.

*М. М. М.*

БИОГРАФИ

ПЕДРА И ТЕОФИЛА ТЕПЕВА



*Wm. H. H. H.*

Т 98

БІОГРАФІЯ

ФЕДОРА ИВАНОВИЧА ТЮТЧЕВА.



92

8

92

БІОГРАФІЯ  
ТЕДОРА ІВАНОВИЧА  
ТЮТЧЕВА

AKSAKOV ~~~~~

= BIOGR. TIUTCHEVA

СОЧИНЕНІЕ

И. С. Аксакова

3565



МОСКВА.

Типографія М. Г. Волчанинова (бывш. М. Н. Лаврова и К°).

Леонт. пер., домъ Лаврова.

1886.

Slav 4354.4.812

HARVARD COLLEGE LIBRARY  
BOUGHT FROM  
DUPLICATE MONEY  
*April 29, 1938*

## ФЕДОРЪ ИВАНОВИЧЪ ТЮТЧЕВЪ.

### БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРКЪ.

Небольшая книжка стихотвореній; нѣсколько статей по вопросамъ современной исторіи; стихотворенія, изъ которыхъ только очень немногимъ досталась на долю всеобщая извѣстность; статьи, которыя всѣ были писаны по французски, лѣтъ двадцать, даже тридцать тому назадъ, печатались гдѣ-то за границею, и только недавно, вмѣстѣ съ переводомъ, стали появляться въ одномъ изъ нашихъ журналовъ.... Вотъ покуда все, что можетъ Русская библіографія занести въ свой точный *синодикъ*, подъ рубрику: «Ф. И. Тютчевъ, род. 1703+1873 г.». Литературный послужной списокъ не объемистъ; имя малознаемое въ массахъ грамотной, — и не только грамотной, даже образованной нашей публики... А между тѣмъ, этимъ самымъ стихотвореніямъ, еще сначала пятидесятихъ годовъ, отводится Русскою критикою мѣсто чуть не на ряду съ Пушкинскими; это самое имя, въ теченіи цѣлой четверти вѣка, во всѣхъ свѣтскихъ и литературныхъ кругахъ Москвы и Петербурга, чтится и славится, знаменуя собою: мысль, поэзію, остроуміе въ самомъ изящномъ соединеніи. Странное противорѣчіе, не правда ли? Какъ объяснить этотъ недостатокъ популярности при несомнѣнномъ общественномъ значеніи? эту несоразмѣрность внѣшняго объема литературной дѣятельности съ обнаруженною авторомъ силою дарованій?.. Но и здѣсь еще не конецъ недоумѣніямъ; нерѣдко возбуждаемымъ именемъ Тютчева. Ко всѣмъ единодушнымъ отзывамъ нашей періодической печати объ его умѣ и талантѣ, раздавшимся вслѣдъ за его кончиною

вмѣстѣ съ выраженіями искренней скорби, мы позволимъ себѣ прибавить еще и свой: Тютчевъ былъ не только самобытный, глубокій мыслитель, не только своеобразный, истинный художникъ-поэтъ, но и одинъ изъ малаго числа носителей, даже двигателей нашего Русскаго, народнаго самосознанія.

Какъ?—скажутъ многіе, встрѣчавшіе Тютчева на Петербургскихъ балахъ и раутахъ — этотъ почти-иностранецъ, едва ли когда говорившій иначе какъ по-французски; это повидимому чистокровное порожденіе европеизма, безъ всякаго на себѣ клейма какой-либо національности,—Тютчевъ, въ которомъ все, до послѣдняго сустава и нерва, дышало прелестью высшей, всесторонней, не-русской культуры, — Тютчевъ одинъ изъ представителей Русской народности?... Трудно мирится такое тяжеловѣсное предположеніе съ граціознымъ образомъ этого очаровательно-умнаго, но вполнѣ свѣтскаго собесѣдника. Можно ли, позволительно ли возводить его чуть не на степень серьезнаго общественнаго дѣятеля?...

Онъ и не дѣятель въ общепринятомъ смыслѣ этого слова. Онъ просто — явленіе; явленіе общественное и личное, въ высшей степени замѣчательное и любопытное для изученія. Его дѣятельность, почти непосредственная, сливается съ самимъ его бытіемъ. Вполнѣ естественны, вполнѣ понятны для насъ всѣ помянутыя выше недоумѣнія. Именно въ виду ихъ мы и считаемъ нужнымъ представить читателямъ не одну общую оцѣнку литературныхъ останковъ покойнаго Тютчева (что отчасти уже было сдѣлано и другими), но самую судьбу, личную и внутреннюю, этого Русскаго таланта. Участь талантовъ у насъ на Руси—вообще предметъ высокаго интереса и важности для исторіи Русскаго просвѣщенія, тѣмъ болѣе, когда дѣло идетъ о такомъ богатствѣ даровъ, какимъ былъ надѣленъ Тютчевъ... Прослѣдить, по возможности, самое развитіе этой многоодаренной природы, — соотношеніе ея особенныхъ психическихъ условій съ условіями бытовыми, общественными, историческими; ту взаимную ихъ связь и зависимость, которая создала, опредѣлила и ограничила ея жизненный жребій—вотъ задача, которую мы постараемся разрѣшить, на сколько съумѣемъ, въ нашемъ біографическомъ очеркѣ.

---

Первою біографическою чертою въ жизни Тютчева, и очень характерною, сразу бросающеюся въ глаза, представляется невозможность составить его полную, подробную біографію. Для большинства писателей, — какъ бы умѣренно они себя ни цѣнили, — потомство, по выраженію Чичикова, все же «чувствительный предметъ». Многіе, еще при жизни, заранее облегчаютъ трудъ своихъ будущихъ біографовъ подборомъ матеріаловъ, подготовленіемъ объяснительныхъ записокъ. Тютчевъ — на оборотъ. Онъ не только не хлопоталъ никогда о славѣ между потомками, но не дорожилъ ею и между современниками; не только не помышлялъ о своемъ будущемъ жизнеописаніи, но даже ни разу не позаботился о составленіи вѣрнаго списка или хоть бы перечня своихъ сочиненій. Если стихи его увидѣли свѣтъ, такъ только благодаря случайному, постороннему вмѣшательству; въ появленіи ихъ въ печати бывали пропуски въ пять и въ четырнадцать лѣтъ, хотя въ поэтическомъ его творчествѣ и не было перерыва. Самая извѣстность его, какъ поэта, начинается собственно съ 1854 года, т. е. когда ему пошелъ уже шестой десятокъ лѣтъ, именно со времени перваго изданія его стихотвореній редакціей журнала «Современникъ», при содѣйствіи И. С. Тургенева. Восколько такое пренебреженіе къ своей авторской личности происходило у Тютчева отъ врожденной ему безпечности и лѣни, востолько же, если не болѣе, отъ особаго рода скромности, смиренія и отъ иныхъ нравственныхъ причинъ, которыя мы обстоятельно разъясимъ ниже. Здѣсь же мы только напередъ заявляемъ о затрудненіяхъ, встрѣчаемыхъ его біографомъ именно потому, что Тютчевъ никогда ни самъ не занимался, не занималъ и другихъ собственною особою. Никогда ни къ кому не навязывался онъ съ чтеніемъ своихъ произведеній, напротивъ очевидно тяготился всякою объ нихъ рѣчью. Никогда не повѣствовалъ о себѣ, никогда не рассказывалъ самъ о себѣ анекдотовъ, и даже подъ старость, которая такъ охотно отдается воспоминаніямъ, никогда не бесѣдовалъ о своемъ личномъ прошломъ. А такъ какъ слишкомъ двадцать два года этого прошлаго проведены имъ были на чужбинѣ, то большая часть самыхъ интересныхъ подробностей его существованія для насъ безвозвратно потеряна. Однакожъ,

несмотря на скудость внѣшняго біографическаго матеріала, мы все же въ состояніи намѣтить—и намѣтимъ сейчасъ—тѣ наружныя біографическія рамки, внутри которыхъ совершалось самовоспитаніе его таланта, вообще его внутренняя духовная жизнь,—а только она и заслуживаетъ вполнѣ серьезнаго, общественнаго вниманія.

## I.

Федоръ Ивановичъ былъ второй или меньшей сынъ Ивана Николаевича и Екатерины Львовны Тютчевыхъ и родился въ 1803 г. 23 Ноября, въ родовомъ Тютчевскомъ, имѣніи, селѣ Овстугъ, Орловской губерніи Брянскаго уѣзда. Тютчевы принадлежали къ старинному Русскому дворянству. Хотя въ родословной и не показано, откуда «выѣхалъ» ихъ первый родоначальникъ, но семейное преданіе выводитъ его изъ Италіи, гдѣ, говорятъ и понынѣ, именно во Флоренціи, между купеческими домами встрѣчается фамилія Dudgi. Въ Никоновской лѣтописи упоминается «хитрый мужъ» Захаръ Тутчевъ, котораго Дмитрій Донской, предъ началомъ Куликовскаго побоища, подсылалъ къ Мамаю со множествомъ золота и двумя переводчиками для собранія нужныхъ свѣдѣній, — что «хитрый мужъ» и исполнилъ очень удачно. Въ числѣ воеводъ Іоанна III, усмиравшихъ Псковъ, называется также «воевода Борисъ Тютчевъ Слѣпой» \*). Съ тѣхъ поръ никто изъ Тютчевыхъ не занималъ виднаго мѣста въ Русской исторіи, ни на какомъ поприщѣ дѣятельности. Напротивъ, въ половинѣ XVIII вѣка, если вѣрить запискамъ Добрынина, Брянскіе помѣщики Тютчевы славились лишь разгуломъ и произволомъ, доходившими до неистовства. Однакожъ отецъ Федора Ивановича, Иванъ Николаевичъ, не только не наслѣдовалъ этихъ семейныхъ свойствъ, но, напротивъ, отличался необыкновеннымъ благодушіемъ, мягкостью, рѣдкою чистотою нравовъ, и пользовался всеобщимъ уваженіемъ. Окончивъ свое образованіе въ Петербургѣ, въ Греческомъ корпусѣ, основанномъ Екатериною въ ознаменованіе рожде-

---

\*) Карамзинъ т. V, прим. 65 и т. VI, прим. 37.

нія великаго князя Константина Павловича и подъ вліяніемъ мысли о «Греческомъ прожектѣ», — Иванъ Николаевичъ до служился въ гвардіи до поручика и на 22 году жизни женился на Екатеринѣ Львовнѣ Толстой, которая была воспитана, какъ дочь, родною своею теткою, графинею Остерманъ. Затѣмъ Тютчевы поселились въ Орловской деревнѣ, на зиму переѣзжали въ Москву, гдѣ имѣли собственные дома и подмосковную, — однимъ словомъ, зажили тѣмъ извѣстнымъ образомъ жизни, которымъ жилось тогда такъ привольно и мирно почти всему Русскому зажиточному, досужаемому дворянству, не принадлежавшему къ чиновной аристократіи и не озабоченному государственною службою. Не видѣаясь ничѣмъ изъ общаго типа Московскихъ барскихъ домовъ того времени, домъ Тютчевыхъ — открытый, гостепріимный, охотно посѣщаемый многочисленною роднею и Московскимъ свѣтомъ — былъ совершенно чуждъ интересамъ литературнымъ, и въ особенности Русской литературы. Радужный и щедрый хозяинъ былъ, конечно, человѣкъ разсудительный, съ спокойнымъ, здравымъ взглядомъ на вещи, но не обладалъ ни яркимъ умомъ, ни талантами. Тѣмъ не менѣе, въ натурѣ его не было никакой узкости, и онъ всегда былъ готовъ признать и уважить права чужой, болѣе даровитой природы. Здѣсь кстати замѣтить, что его родная сестра и родная тетка Федора Ивановича была та самая Надежда Николаевна Шереметева, которая, встрѣтившись съ Гоголемъ уже старухою, сумѣла его оцѣнить и понять и, несмотря на разницу лѣтъ, до самой его смерти вела съ нимъ дѣятельную дружескую переписку.

Федоръ Ивановичъ Тютчевъ и по внѣшнему виду (онъ былъ очень худъ и малаго роста), и по внутреннему духовному строю, былъ совершенною противоположностью своему отцу; общаго у нихъ было развѣ одно благодуніе. За то онъ чрезвычайно походилъ на свою мать, Екатерину Львовну, женщину замѣчательнаго ума, сухоощаваго, нервнаго сложенія, съ склонностью къ ипохондріи, съ фантазіей развитою до болѣзненности. Отчасти по принятому тогда въ свѣтскомъ кругу обыкновенію, отчасти, можетъ быть, благодаря воспитанію Екатерины Львовны въ домѣ графини Остерманъ, въ этомъ, вполне Русскомъ, семействѣ Тютчевыхъ преобладалъ

и почти исключительно господствовалъ Французскій языкъ, такъ что не только всѣ разговоры, но и вся переписка родителей съ дѣтьми и дѣтей между собою, какъ въ ту пору, такъ и потомъ, втеченіи всей жизни, велась не иначе какъ по-французски. Это господство французской рѣчи не исключало однако у Екатерины Львовны приверженности къ Русскимъ обычаямъ, и удивительнымъ образомъ уживалось рядомъ съ церковно-славянскимъ чтеніемъ псалтирей, часослововъ, молитвенниковъ у себя, въ спальнѣ, и вообще со всѣми особенностями Русскаго православнаго и дворянскаго быта. Явленіе, впрочемъ, очень нерѣдкое въ то время, въ концѣ XVIII и въ самомъ началѣ XIX вѣка, когда Русскій литературный языкъ былъ еще дѣломъ довольно новымъ, еще только достояніемъ «любителей словесности», да и дѣйствительно не былъ еще достаточно приспособленъ и выработанъ для выраженія всѣхъ потребностей перенятаго у Европы общежитія и знанія. вмѣстѣ съ готовою западною цивилизаціей заимствовалось и готовое, чужое орудіе обмѣна мыслей. Многіе Русскіе государственные люди, превосходно излагавшіе свои мнѣнія по-французски, писали по-русски самымъ неуклюжимъ, варварскимъ образомъ, точно съѣзжали съ торной дороги на жесткія глыбы только-что поднятой нивы. Но часто, одновременно съ чистѣйшимъ Французскимъ жаргономъ, словно перенесеннымъ бурей революціи изъ Сен-Жерменскаго предмѣстья въ Петербургскіе и Московскіе салоны, — изъ однихъ и тѣхъ же устъ можно было услышать живую, почти простонародную, идиоматическую рѣчь, болѣе народную во всякомъ случаѣ, чѣмъ наша настоящая книжная или разговорная. Разумѣется, такая устная рѣчь служила чаще для сношеній съ крѣпостною прислугою и съ низшими слоями общества, — но тѣмъ не менѣе эта грубая противоположность, эта рѣзкая бытовая черта, рядомъ съ вѣрностью бытовымъ православнымъ преданіямъ, объясняетъ многое, и очень многое, въ исторіи нашей литературы и нашего народнаго самосознанія.

Иванъ Николаевичъ Тютчевъ умеръ въ 1846 году, а Екатерина Львовна въ 1866, на 90-мъ году жизни, когда ея сыну-поэту было около 63-хъ лѣтъ. Старшій сынъ ихъ Николай, родившійся тремя годами ранѣе Федора Ивановича,

не имѣлъ съ нимъ ни малѣйшаго сходства, ни физическаго, ни нравственнаго. Человѣкъ очень умный и начитанный, Николай Ивановичъ не былъ надѣленъ какими-либо особенными талантами, но отличался строгою аккуратностью, точностью, необыкновенною добротою и скромностью. Страстно любя меньшаго брата, онъ былъ его постояннымъ геніемъ-хранителемъ, — при всякой бѣдѣ, всюду поспѣшаль къ нему на помощь: привязанность къ «брату Ѳеодору» наполняла всю его жизнь. Дослужившись до чина полковника въ Генеральномъ Штабѣ, онъ вышелъ въ отставку и проживалъ потомъ то въ деревнѣ, то за границею, то въ Москвѣ, гдѣ и скончался въ 1870 году.

Въ этой-то семьѣ родился Ѳеодоръ Ивановичъ. Съ самыхъ первыхъ лѣтъ онъ оказался въ ней какимъ-то особнякомъ, съ признаками высшихъ дарованій, а потому тотчасъ-же сдѣлался любимцемъ и баловнемъ бабушки Остерманъ, матери и всѣхъ окружающихъ. Это баловство, безъ сомнѣнія, отразилось впоследствии на образованіи его характера: еще съ дѣтства сталъ онъ врагомъ всякаго принужденія, всякаго напряженія воли и тяжелой работы. Къ счастью, ребенокъ былъ чрезвычайно добросердеченъ, кроткаго, ласковаго нрава, чуждъ всякихъ грубыхъ наклонностей; всѣ свойства и проявленія его дѣтской природы были скрапены какою-то особенно-тонкою, изящною духовностью. Благодаря своимъ удивительнымъ способностямъ, учился онъ необыкновенно успѣшно. Но уже и тогда нельзя было не замѣтить, что ученіе не было для него трудомъ, а какъ-бы удовлетвореніемъ естественной потребности знанія. Въ этомъ отношеніи баловницею Тютчева являлась сама его талантливость. Скажемъ кстати, что ничто вообще такъ не балуетъ и не губитъ людей въ Россіи, какъ именно эта талантливость, упраздняющая необходимость усилій и не дающая укорениться привычкѣ къ упорному, послѣдовательному труду. Конечно, эта даровитость нуждается въ высшемъ, соотвѣтственномъ воспитаніи воли, но внѣшнія условія нашего домашняго быта и общественной среды не всегда благопріятствуютъ такому воспитанію; особенно же мало благопріятствовали они при той матеріальной обезпеченности, которая была удѣломъ образованнаго класса въ Россіи во времена крѣпостнаго права. Впрочемъ, въ настоя-

чемъ случаѣ мы имѣемъ дѣло не просто съ человѣкомъ талантливымъ, но и съ исключительно натурою, — натурою поэта.

Ему было почти девять лѣтъ, когда настала гроза 1812 года. Родители Тютчева провели все это тревожное время въ безопасномъ убѣжищѣ, именно въ г. Ярославлѣ; но раскаты грома были такъ сильны, подъемъ духа такъ повсемѣстенъ, что даже въ дали отъ театра войны, не только взрослые, но и дѣти, въ своей мѣрѣ конечно, жили общею возбужденною жизнью. Намъ никогда не случалось слышать отъ Тютчева никакихъ воспоминаній объ этой годинѣ, но не могла же она не оказать сильнаго непосредственнаго дѣйствія на воспримчивую душу девятилѣтняго мальчика. Напротивъ, она-то вѣроятно и способствовала, по крайней мѣрѣ въ немалой степени, его преждевременному развитію, — что, впрочемъ, можно подмѣтить почти во всемъ дѣтскомъ поколѣніи той эпохи. Не эти ли впечатлѣнія дѣтства, какъ въ Тютчевѣ, такъ и во всѣхъ его сверстникахъ-поэтахъ, зажгли ту упорную, пламенную любовь къ Россіи, которая дышетъ въ ихъ поэзіи и которую потомъ уже никакія житейскія обстоятельства не были властны угасить?

Къ чести родителей Тютчева надобно сказать, что они ничего не щадили для образованія своего сына, и по десятому его году, немедленно «послѣ Французовъ», пригласили къ нему воспитателемъ Семена Егоровича Райча. Выборъ былъ самый удачный. Человѣкъ ученый и вмѣстѣ вполне литературный, отличный знатокъ классической древней и иностранной словесности, Райчъ сталъ извѣстенъ въ нашей литературѣ переводами въ стихахъ Виргиліевыхъ «Георгикъ», Тассова «Освобожденнаго Іерусалима» и Аріостовой поэмы «Неистовый Орландъ». Въ домѣ Тютчевыхъ онъ пробылъ семь лѣтъ; тамъ одновременно трудился онъ надъ переводами Латинскихъ и Итальянскихъ поэтовъ и надъ воспитаніемъ будущаго Русскаго поэта. Кромѣ того, онъ самъ писалъ недурные стихи. Въ двадцатыхъ годахъ, — уже послѣ того, какъ Райчъ изъ дома Тютчевыхъ перешелъ къ Николаю Николаевичу Муравьеву, основателю знаменитаго Училища Колонновожатыхъ, для воспитанія меньшаго его сына, извѣстнаго впоследствии писателя Андрея Николаевича Му-

равьева, — онъ сдѣлался центромъ особеннаго литературнаго кружка, гдѣ собирались Одоевскій, Погодинъ, Ознобишинъ, Путята и другіе замѣчательные молодые люди, при содѣйствіи которыхъ Райчъ и издалъ нѣсколько альманаховъ. Позднѣе, онъ же два раза принимался издавать журналъ «Галатею». Это былъ человѣкъ въ высшей степени оригинальный, безкорыстный, чистый, вѣчно пребывавшій въ мірѣ идиллическихъ мечтаній, самъ олицетворенная буколика, соединявшій солидность ученаго съ какимъ-то дѣвственнымъ поэтическимъ пыломъ и младенческимъ незлобіемъ. Онъ происходилъ изъ духовнаго званія; извѣстный Кіевскій митрополитъ Филаретъ былъ ему родной братъ \*).

Нечего и говорить, что Райчъ имѣлъ большое вліяніе на умственное и нравственное сложеніе своего питомца и утвердилъ въ немъ литературное направленіе. Подъ его руководствомъ, Тютчевъ превосходно овладѣлъ классиками и сохранилъ это знаніе на всю жизнь: даже въ предсмертной болѣзни, разбитому параличемъ, ему случалось приводить на память цѣлыя строки изъ Римскихъ историковъ. — Ученикъ скоро сталъ гордостью учителя, и уже 14-ти лѣтъ перевелъ очень порядочными стихами посланіе Горация къ Меценату. Райчъ, какъ членъ основаннаго въ 1811 году въ Москвѣ Общества Любителей Россійской словесности, не замедлилъ представить этотъ переводъ Обществу, гдѣ, на одномъ изъ обыкновенныхъ засѣданій, онъ былъ одобренъ и прочтенъ вслухъ славнѣйшимъ въ то время Московскимъ критическимъ авторитетомъ — Мерзляковымъ. Вслѣдъ за тѣмъ, въ чрезвычайномъ засѣданіи марта 30-го 1818 года, Общество почтило 14-тилѣтняго переводчика званіемъ «сотрудника», самый же переводъ напечатало въ XIV части своихъ «Трудовъ». Это было великимъ торжествомъ для семейства Тютчевыхъ и для самого юнаго поэта. Едва ли, впрочемъ, первый литературный успѣхъ не былъ

---

\*) Разсказываютъ, что когда, послѣ очень долгой разлуки, братья свидѣлись, и Райчъ представилъ митрополиту своихъ дочерей, то послѣднему показалось, что чуть ли не весь языческій Олимпъ предсталъ предъ нимъ на землю: какія только можно было выбрать изъ святцевъ Греческія мнѣологическія имена, Семень Егоровичъ роздалъ ихъ своимъ дочерямъ.

и послѣднимъ, вызвавшимъ въ немъ чувство нѣкотораго авторскаго тщеславія.

Въ этомъ же 1818 году Тютчевъ поступилъ въ Московскій университетъ, т. е. сталъ ѣздить на университетскія лекціи, и сперва — въ сопровожденіи Раича, который впрочемъ вскорѣ, именно въ началѣ 1819 года, разстался съ своимъ воспитанникомъ. Въ университетѣ Тютчевъ близко познакомился съ студентомъ Погодинымъ, который былъ старше его тремя годами и старше по курсу. Вотъ какъ вспоминаетъ объ этой университетской порѣ Тютчева нашъ почтенный историкъ (Московскія Вѣдомости 1873 г. № 190):

«....Низенькій, худенькій старичекъ, написалъ я, и самъ удивился. Мнѣ представился онъ \*) въ воображеніи, какъ въ первый разъ пришелъ я къ нему, университетскому товарищу, на свиданіе во время ваканціи, пѣшкомъ изъ села Знаменскаго подъ Москвою на Серпуховской дорогѣ — въ Троицкое, на Калужской, гдѣ жилъ онъ въ своемъ семействѣ... Молоденькій мальчикъ съ румянцемъ во всю щеку, въ зелененькомъ сюртучкѣ, лежитъ онъ, облокотясь на диванъ и читаетъ книгу. Что это у васъ? Виландовъ Агатодемонъ. — Или вотъ онъ на лекціи въ университетѣ, сидитъ за моею спиною на второй лавкѣ и не слушая Каченовскаго, строчитъ на него эпиграммы... Вотъ я пишу ему отвѣты на экзаменъ къ Черепанову изъ исторіи Шрекка о Семирамидѣ и Навуходоносорѣ, ему, который скоро будетъ думать уже о Каннингѣ и Меттернихѣ....»

Есть и другое воспоминаніе отъ 1818 года. Въ Москву пріѣхало Царское семейство и съ нимъ, въ званіи наставника въ Русскомъ языкѣ при Великой Княгинѣ Александрѣ Федоровнѣ — Жуковский. Онъ былъ знакомъ и Раичу, и родителямъ Тютчева. Иванъ Николаевичъ захотѣлъ представить ему своего сына и 17 Апрѣля рано утромъ повелъ Тютчева въ Кремль. Но тамъ колокола и пушки возвѣстили имъ о рожденіи, въ тотъ самый часъ, младенца — будущаго Царя, Государя Александра Николаевича. Это обстоятельство произвело на молодого Тютчева сильное впечатлѣніе \*).

---

\*) Т. е. Тютчевъ.

\*\*) Мы имѣемъ въ своихъ рукахъ стихотвореніе самого Федора Ива-

Со вступленіемъ Тютчева въ университетъ, домъ его родителей увидѣлъ у себя новыхъ, небывалыхъ въ немъ доселѣ посѣтителей. Радужно принимались и угощались стариками и знаменитый Мерзляковъ, и преподаватель Греческой сло-

новича, которое, въ 55-ую годовщину этого дня, попытался онъ продиктовать своей женѣ,—уже пораженный параличемъ, за три мѣсяца до кончины. Но стихъ уже слабо повиновался больному поэту; измѣняла то рима, то размѣръ; иногда, среди диктовки, онъ засыпалъ отъ утомленія, такъ что на всѣ стихотворенія, диктованныя въ это время, слѣдуетъ смотрѣть почти какъ на поэтическій бредъ, какъ на неясные отголоски прежней поэтической силы. Вотъ это стихотвореніе—съ опущеніемъ стиховъ совершенно непонятныхъ или лишенныхъ всякой мѣры; отъ него вѣетъ какою-то особою теплотою чувства:

На ранней дней моихъ зарѣ,—  
(такъ начинается оно)  
Въ Кремлѣ, рано утромъ, въ Чудовомъ монастырѣ,  
Въ уютной кельѣ, темной и смиренной—  
Тамъ жилъ тогда Жуковский незабвенный,—  
Я ждалъ его, и въ ожиданьи  
Колоколовъ Кремля я слушалъ завыванье.  
За мѣдною слѣдилъ я бурей,  
Поднявшейся съ безоблачной лазури  
И вдругъ смѣненной пушечной пальбой...  
Свѣтло, хоругвью голубой (?)  
Весенний первый день, лазурно-золотой,  
Такъ свѣтозаренъ былъ надъ праздничной Москвой...  
Тутъ первая меня достигла вѣсть,  
Что въ мірѣ новый житель есть,  
И новый Царскій гость въ Кремлѣ:  
Ты въ этотъ день дарованъ былъ землѣ!..  
Съ тѣхъ поръ воспоминанье это  
Въ душѣ моей всегда согрѣто;  
Въ теченіи столькихъ лѣтъ оно не измѣняло,  
Какъ вѣрный спутникъ мой, повсюду провожаю,  
И нынѣ, въ ранній утра часъ,  
Оно еще, какъ столько разъ,  
Все также дорого и мило;

весности въ университетѣ Оболенскій, и многіе другіе ученые и литераторы: собесѣдникомъ ихъ былъ 15-ти-лѣтній студентъ, который смотрѣлъ уже совершенно «развитымъ» молодымъ человѣкомъ и съ которымъ всѣ охотно вступали въ серьезные разговоры и пренія. Такъ продолжалось до 1821 года.

Въ этомъ году, когда Тютчеву не было еще и 18-ти лѣтъ, онъ сдалъ отлично свой послѣдній экзаменъ и получилъ кандидатскую степень. По всѣмъ соображеніямъ родныхъ и знакомыхъ, предъ нимъ открывалась блестящая карьера. Но честолюбивые виды отца и матери мало тревожили душу безпечнаго кандидата. Предоставивъ рѣшеніе своей будущей судьбы старшимъ, самъ онъ весь отдался своему настоящему. Жаркій поклонникъ женской красоты, онъ охотно посѣщалъ свѣтское общество и пользовался тамъ успѣхомъ. Но ничего похожего на буйство и разгулъ не осталось въ памяти объ немъ у людей, знавшихъ его въ эту первую пору молодости. Да буйство и разгулъ и не свойственны были его природѣ: для него имѣли цѣну только тѣ наслажденія, гдѣ было мѣсто искреннему чувству или страстному поэтическому увлеченію. Не осталось также, за это время, никакихъ слѣдовъ его стихотворческой дѣятельности: домашніе знали, что онъ иногда

---

И днесь, у самыхъ дней моихъ заката,  
Мой одръ печальный посѣтило,  
Мою всю душу осѣнило  
И благодатный праздникъ возвѣстило...

«Мнѣ всегда мнилось»,—продолжаетъ далѣе больной поэтъ,—что этотъ «ранняго событія часъ»

Мнѣ будетъ на всю жизнь благимъ знаменованьемъ.  
И не ошибся я: вся жизнь моя прошла  
Подъ этимъ кроткимъ, благостнымъ вліяньемъ....

Необходимо пояснить, что для Жуковского по тѣснотѣ помѣщенія во дворцѣ, была отведена келья въ Чудовомъ монастырѣ: тамъ и дожидаясь его Тютчевъ-отецъ съ сыномъ, какъ вдругъ раздалась пальба, загудѣли колокола, и на порогъ кельи появился Василій Андреевичъ съ бокаломъ шампанскаго въ рукахъ и съ вѣстью о радостномъ событіи.

забавлялся писаньем остроумныхъ стишковъ на разные мелкіе случаи,—и только.

Въ 1822 году Тютчевъ былъ отправленъ въ Петербургъ, на службу въ Государственную Коллегію Иностранныхъ Дѣлъ. Но въ Іюнь мѣсяцъ того же года, его родственникъ, знаменитый герой Кульмской битвы, потерявшій руку на полѣ сраженія, графъ А. И. Остерманъ-Толстой посадилъ его съ собою въ карету и увезъ за границу, гдѣ и пристроилъ сверхштатнымъ чиновникомъ къ Русской миссіи въ Мюнхенѣ. «Судьбѣ угодно было вооружиться послѣднею рукою Толстаго (вспоминаетъ Ѳедоръ Ивановичъ въ одномъ изъ писемъ своихъ къ брату, лѣтъ 45 спустя), чтобъ переселить меня на чужбину.»

Это былъ самый рѣшительный шагъ въ жизни Тютчева, опредѣлившій всю его дальнѣйшую участь.

На козлахъ той кареты, которая увезла графа Остермана-Толстаго и 18-ти лѣтняго Тютчева за границу, усѣлся и благополучно прибылъ въ Мюнхенъ, вмѣстѣ съ ними, старикъ-дядька Ѳедора Ивановича, Николай Аванасьевичъ Хлоповъ. Онъ не захотѣлъ разстаться съ «дитятею,» которое взлелѣвалъ съ 4 хъ-лѣтняго возраста,—которое и само платило ему равною привязанностью. Съ умиленіемъ упоминаетъ о своемъ дядькѣ и о своей дѣтски-страстной къ нему любви покойный поэтъ—также въ одномъ изъ писемъ къ своему брату, въ 1869 году, почти полстолѣтіе послѣ путешествія въ Мюнхенъ. Николай Аванасьевичъ былъ когда-то крѣпостнымъ г. Татищева, затѣмъ отпущенъ на волю и поступилъ въ услуженіе къ Ивану Николаевичу Тютчеву, у котораго и остался по самую свою смерть. Грамотный, благочестивый, онъ пользовался большимъ уваженіемъ своихъ господъ, и во время пребыванія въ Мюнхенѣ велъ постоянную переписку съ Екатериной Львовной. Онъ акуратно доносилъ ей всѣ интересныя, съ его точки зрѣнія, подробности объ ея сынѣ—лѣтнимъ на письма и нисколько не заботившемся о матеріальной сторонѣ существованія. Къ сожалѣнію, не сбереглось ни одного изъ этихъ донесеній, а было бы любопытно видѣть, какъ отражалась жизнь поэта ея поэтическою стороною въ своеобразномъ изложеніи стараго дядьки и сквозъ призму его сужденій \*).

---

\*) Сохранилась впрочемъ память объ одномъ письмѣ, имѣющемъ нѣ-

Въ Мюнхенѣ старикъ остался вѣренъ всѣмъ Русскимъ обычаямъ, и въ Нѣмецкой квартирѣ Тютчева устроилъ себѣ уютный Русскій уголокъ съ иконами и лампадою, словно перенесенный изъ какого-нибудь Московскаго прихода. Николы на Курьихъ Ножкахъ или въ Сапожкахъ. Онъ взялъ въ свое завѣдываніе хозяйство юнаго дипломата и собственноручно готовилъ ему столъ, угощая его, а порою и его пріятелей-иностранцевъ, произведеніями русской кухни. Николай Аванасьевичъ остался въ Мюнхенѣ до самой женитьбы Ѳедора Ивановича въ 1826 году, а потомъ возвратился къ Ивану Николаевичу, въ домъ котораго, черезъ нѣсколько лѣтъ, и умеръ. Онъ завѣщалъ своему питомцу нарочно имъ сооруженную для него, Ѳедора Ивановича, икону Ѳеодоровской Божіей Матери, съ изображеніями четырехъ Святыхъ по угламъ, празднуемыхъ въ самые, по мнѣнію Хлопова, знаменательные для Тютчева дни. Выборъ этихъ дней и надписи на задней доскѣ образа, начертанныя самимъ Николаемъ Аванасьевичемъ, его тяжелымъ, старообразнымъ почеркомъ, въ высшей степени оригинальны: въ нихъ столько простой, искренней любви и въ то же время столько наивнаго смѣшенія понятій, что ихъ нельзя читать безъ особеннаго умиленія и улыбки. Сзади иконы и по срединѣ написано: «Сему образу праздникъ Февраля 5; въ сей день мы съ Ѳеодоромъ Ивановичемъ пріѣхали въ Петербургъ, гдѣ онъ вступилъ въ службу.» На правомъ верхнемъ углу, позади Апостола Варѳоломея, надпись, объясняющая день отъѣзда «въ Баварію» (1822 г. Іюня 11) и пріѣзда въ Москву, чрезъ три года, въ отпускъ. На другомъ углу, соотвѣтствующемъ изображенію Преподобнаго Макарія, слѣдующая надпись: «Іенваря

---

которую связь съ извѣстнымъ граціознымъ стихотвореніемъ Тютчева, написаннымъ къ 16-ти-лѣтней великосвѣтской красавицѣ:

Я помню время золотое,  
Я помню сердцу милый край, и проч.

По поводу этой красавицы Хлоповъ сердито докладывалъ въ своемъ письмѣ изъ Мюнхена матери влюбленнаго автора, что Ѳеодоръ Ивановичъ изволилъ обмѣняться съ нею часовыми шейными цѣпочками и вмѣсто своей золотой получилъ въ обмѣнъ только шелковую...

19, 1825 г. Ѳеодоръ Ивановичъ долженъ помнить, что случилось въ Минхенѣ отъ его нескромности и какая грозила опасность.» Внизу, позади Св. Евѣимія Великаго: «20 Генваря, т. е. на другой же день все кончилось благополучно.» Наконецъ на четвертомъ углу: «Св. Исакія. Въ сей день, въ бытность нашу въ Варшавѣ» (проѣздомъ въ отпускъ) «произведенъ Ѳеодоръ Ивановичъ въ камеръ-юнкеры»... Затѣмъ опять по срединѣ, другая надпись: «Въ память моей искренней любви и усердія къ моему другу Ѳеодору Ивановичу Тютчеву. Сей образъ по смерти моей принадлежитъ ему. Подписано 1826 года Марта 5-го Николай Хлоповъ.»

И образъ свято сохранился у Тютчева въ кабинетѣ до самой его кончины.

Какъ ни мелочна повидимому эта біографическая подробность, но она не лишена значенія. Она характеризуетъ и самого Тютчева, котораго слуга, бывший крѣпостной, его дядька и поваръ, называетъ своимъ *другомъ*, и ту эпоху, когда типы подобные Хлопову были нерѣдки. Благодаря имъ, этимъ высокимъ нравственнымъ личностямъ, возникавшимъ среди и вопреки безнравственности историческаго соціального строя,—даже въ чудовищную область крѣпостныхъ отношеній проступали, порою, кроткіе лучи все облагораживающей, все возвышающей любви. Условія зависимости и неравенства согрѣвались человѣчностью, даже окрашивались какимъ-то мягкимъ, поэтическимъ колоритомъ.—Николай Афанасьевичъ вполне напоминаетъ знаменитую няню Пушкина, воспѣтую и самимъ поэтомъ, и Дельвигомъ, и Языковымъ. Этимъ нянямъ и дядькамъ должно быть отведено почетное мѣсто въ исторіи Русской словесности. Въ ихъ нравственномъ воздѣйствіи на своихъ питомцевъ слѣдуетъ, по крайней мѣрѣ отчасти, искать объясненіе: какимъ образомъ, въ концѣ прошлаго и въ первой половинѣ нынѣшняго столѣтія, въ наше оторванное отъ народа общество,—въ эту среду, хвастливо отрекавшуюся отъ Русскихъ историческихъ и духовныхъ преданій, пробирались иногда, неслышно и незамѣтно, струи чистѣйшаго народнаго духа? Откуда и чѣмъ питалось и поддерживалось въ нашихъ, повидимому вполне офранцузенныхъ поэтахъ и дѣятеляхъ, проявлявшееся въ нихъ порою истинно-русское чувство и русская мысль? Да и вообще, кажется

намъ, исторія умственнаго общественнаго развитія въ Россіи едва ли можетъ быть вполне понята безъ частной исторіи семей, безъ оцѣнки той степени участія, повидимому неразумнаго, самовольнаго, непрощеннаго, но тѣмъ не менѣе часто спасительнаго, которое въ нашей личной и общественной судьбѣ приходится на долю семьи и быту,— непосредственному дѣйствию преданія и обычая... Конечно, не Хлопову собственно былъ обязанъ Тютчевъ сохраненіемъ своей духовной самостоятельности на чужбинѣ; но не могла же, однако, воспріимчивая душа поэта не испытывать особеннаго благотворнаго ощущенія, когда тамъ, въ Баваріи, вдалекѣ отъ Россіи, по возвращеніи иной разъ поздней ночью на свою Нѣмецкую квартиру съ какого-нибудь придворнаго Нѣмецкаго бала или раута,—его встрѣчала ласковая Русская журба и осыпала тихимъ своимъ свѣтомъ лампада, неугасимо теплившаяся предъ иконами стараго дядьки.

Такъ какъ мы уже заговорили о бытовыхъ непосредственныхъ «вліяніяхъ» въ жизни Тютчева, то приведемъ и еще одинъ. Вотъ два отрывка изъ писемъ Федора Ивановича къ своей второй женѣ. Они рисуютъ намъ наглядную картину домашняго быта того времени, а также и взаимныхъ отношеній Тютчева и Екатерины Львовны, т. е. сына и матери, раздѣленныхъ, повидимому, неизмѣримою умственною пропастью: онъ — высокообразованный дипломатъ, воспитавшійся за границею мыслитель, чуждый православныхъ обыновеній, котораго весь домашній строй жизни былъ по необходимости иностранный; она, при всемъ своемъ Французскомъ языкѣ, простая, русская, православная, женщина... Не думая не гадая ни о какомъ вразумленіи и вліяніи, слѣдуя только обычаю и влеченію сердца, она относится къ Европейскому умнику, какъ бывало къ ребенку Оединькѣ,—и зрѣлый, почти уже старый сынъ ея съ умиленіемъ поддается ея материнскимъ требованіямъ, понимая и цѣня ихъ благое значеніе.

Въ 1843 году Тютчевъ пріѣзжалъ изъ Мюнхена въ Москву для свиданія съ родными, которыхъ не видѣлъ слишкомъ пять лѣтъ; на возвратномъ пути за границу онъ остановился въ Петербургѣ, и въ письмѣ къ своей женѣ, еще не бывавшей въ Россіи, такъ рассказываетъ свое прощаніе съ семьей и Москвою:

«...Toute ma famille m'a accompagné jusqu'au bureau des diligences, et l'apparition de ma mère dans un pareil endroit était un fait sans précédent et sans analogue dans sa vie. Je n'ai pas besoin de te dire que dans la matinée du jour de mon départ, qui était un Dimanche, il y a eu après la messe le Te Deum obligé, suivi d'une visite dans une des chapelles les plus révérees de Moscou, où se trouve une image miraculeuse de la S-te Vierge d'Ibérie. En un mot tout s'est passé dans les formes de la plus stricte orthodoxie... Eh bien, pour qui ne s'y associe qu'en passant, pour qui peut en prendre à son aise, il y a dans ces formes si profondément historiques, il y a dans ce monde russo-byzantin, où la vie et le culte ne font qu'un, et si vieux que Rome elle-même, comparée a lui, sent quelque peu l'innovation, — il y a dans tout cela, pour qui a l'instinct de ces choses, une grandeur de poésie incomparable, une grandeur telle qu'elle subjugué l'inimitié la plus acharnée... Car au sentiment de ce passé déjà si vieux, vient fatalement s'associer le pressentiment d'un avenir incommensurable»... \*)

Другое письмо къ ней же, отъ 11 Сентября 1858 года,

---

\*) «...Все семейство проводило меня до конторы дилижансовъ, и появленіе моей матери въ такомъ мѣстѣ было дѣломъ небывалымъ, не имѣвшимъ себѣ ничего подобнаго въ ея жизни. Нужно ли тебѣ рассказывать, что въ день моего отъѣзда, который пришелся въ Воскресенье, была обѣдня, а послѣ обѣдни неизбѣжный молебенъ, затѣмъ посѣщеніе одной изъ самыхъ чтимыхъ въ Москвѣ часовенъ, гдѣ находится чудотворная икона Иверской Божіей Матери. Однимъ словомъ, все произошло согласно съ порядками самаго взыскательнаго православія... Ну что же? Для человѣка, который пріобичается къ нимъ только мимоходомъ и въ мѣру своего удобства, есть въ этихъ формахъ, такъ глубоко историческихъ, въ этомъ мірѣ Византійско-русскомъ, гдѣ жизнь и вѣрослуженіе составляютъ одно,—въ этомъ мірѣ столь древнемъ, что даже Римъ, въ сравненіи съ нимъ, пахнетъ новизною, есть во всемъ этомъ для человѣка, снабженнаго чутьемъ для подобныхъ явленій, величіе поэзіи необычайное, такое величіе, что оно преодолѣваетъ самую ярую враждебность... Ибо къ ощущенію прошлаго,—и такого уже стараго прешлаго,—присоединяется невольнo, какъ бы предопредѣленіемъ судьбы, предчувствіе неизмѣрнаго будущаго...

когда Тютчеву было почти 55 лѣтъ: «...J'ai encore une fois pris congé de ma mère; j'ai encore une fois fait les trois saluts en terre à côté d'elle devant sa Vierge de Cazan, encore une fois, en m'en allant de sa chambre, appuyé mon dernier regard sur elle, en l'accompagnant du même pressentiment parfaitement naturel», etc. \*).

Въ 1822 году, когда Тютчевъ переселился на житье въ Мюнхенъ, политическое значеніе этого города было иное, нежели теперь. Священный Союзъ былъ въ полномъ ходу, и частые конгрессы придавали ему еще болѣе дѣйствительной силы. Только семь лѣтъ прошло по умиротвореніи Европы. Россія была въ апогеѣ величія и славы, и второстепенные Германскіе дворы видѣли въ ней оплотъ своей автономіи противъ посягательства Габсбурговъ и Гогенцоллерновъ. Во главѣ этихъ второстепенныхъ державъ, составлявшихъ въ федеративномъ Германскомъ устройствѣ коллективный противовѣсъ Австріи и Пруссіи, стояла Баварія, какъ самая крупная, и поэтому играла нѣкоторую политическую роль. Дипломатическая миссія въ Мюнхенѣ не считалась еще тогда, со стороны кабинетовъ, исполненіемъ только приличій между-державнаго этикета. Дипломатическій корпусъ въ Мюнхенѣ въ тѣ годы былъ многочисленный, и Баварскій царствующій домъ старался придать юному королевству, пожалованному въ это званіе лишь недавно, благодаря Наполеону и ловкости курфюрста Макса-Иосифа, всевозможный блескъ и значеніе. Съ восшествіемъ на престолъ въ 1825 г. Людвига I, началось то, преисполненное ученыхъ претензій, пересозданіе Мюнхена въ Нѣмецкія Аены, которое, не претворивъ Нѣмцевъ въ Эллиновъ, стало однакоже вскорѣ привлекать и доселѣ привлекаетъ туда множество путешественниковъ — собраніями образцовъ искусства, музеями, пинаотеками, глиптотеками и разнообразными зданіями-моделями. Щедрость короля сгруппировала въ Мюнхенѣ немало знаменитыхъ художниковъ и ученыхъ; въ числѣ

---

\*) «...Я еще разъ простился съ моей матерью, еще разъ положилъ, рядомъ съ нею, три земныхъ поклона предъ ея Казанской Божіей Матерью; еще разъ, уходя изъ ея комнаты, оглянулъ ее послѣднимъ взглядомъ, съ тѣмъ же, какъ и прежде, предчувствіемъ, — совершенно естественнымъ» и проч.

последнихъ были Оженъ и Шеллингъ, которыми и украсился вновь открытый Мюнхенскій университетъ.

Съ переводомъ Тютчева въ Мюнхенъ начинается тотъ пробѣлъ во внѣшнихъ біографическихъ данныхъ, который пополнить нѣтъ теперь почти никакой надежды и который продолжается до самаго его обратнаго переселенія въ Россію. А между тѣмъ этотъ періодъ времени безъ сомнѣнія самый важный въ его жизни,—періодъ его умственнаго и духовнаго самосложенія. Впрочемъ, объ его внутреннемъ ростѣ, о ростѣ его мысли и таланта, мы еще можемъ судить по его литературнымъ произведеніямъ, по тому строю понятій и мнѣній, который онъ высказывалъ позднѣе, въ Россіи, и который былъ имъ выработанъ еще въ чужихъ краяхъ; поэтому, характеризуя Тютчева какъ мыслителя и поэта, мы еще не разъ возвратимся къ періоду его долготѣннаго пребыванія за границею. Здѣсь же, согласно съ принятымъ нами планомъ, мы имѣемъ дѣло по преимуществу съ внѣшней біографической стороною его жизни, для которой именно и недостаетъ надлежащаго матеріала. Его письма къ отцу и матери сохранились только съ 1836 года, и представляютъ скудное содержаніе. Изъ писемъ его первой жены, въ началѣ 30-годовъ, намъ раскрывается также очень не многое. Особенно мало данныхъ о первыхъ десяти годахъ его заграничнаго существованія. Мы знаемъ только, что перенесенный внезапно на западно-европейскую арену, въ блестящій дипломатическій кругъ, Тютчевъ нисколько не потерялся,—что *m-g* или *Негг Тутшевъ* (какъ произносили его мудреную для себя фамилію иностранцы) скоро сталъ любимцемъ высшаго Мюнхенскаго общества и непремѣннымъ членомъ всѣхъ свѣтскихъ и не-свѣтскихъ сборищъ, гдѣ предъявлялся запросъ на умъ, образованность и талантъ; что наши посланники въ Мюнхенѣ, Потемкинъ, а потомъ князь Г. И. Гагаринъ, всегда принимали въ его судьбѣ живое, искреннее участіе; что Тютчевъ не однажды посѣщалъ Парижъ и другія столицы Германіи; что вообще его частная жизнь была не бѣдна личными романтическими драмами, не представляющими впрочемъ никакого интереса для нашихъ читателей; что при всемъ томъ онъ много читалъ, учился и былъ въ частомъ общеніи съ Германскими учеными и литераторами. Объ этомъ послѣднемъ

обстоятельствъ, касающемся исторіи его внутренняго развитія, мы скажемъ подробнѣе въ своемъ мѣстѣ, а теперь поспѣшимъ дочертить начатыя нами внѣшнія біографическія рамки.

Въ 1825 году Тютчевъ пріѣзжалъ на короткое время въ отпускъ въ Москву, къ своимъ родителямъ; въ 1826 году, 23-хъ лѣтъ отъ роду, онъ женился въ Мюнхенѣ на милой, граціозной, умной, нѣсколько старшей его, вдовѣ нашего бывшаго министра при одномъ изъ второстепенныхъ Германскихъ дворовъ, Петерсона. Урожденная графиня Ботмеръ, она происходила по матери изъ рода Ганштейнъ. Такимъ образомъ Тютчевъ породнился разомъ съ двумя старыми аристократическими фамиліями Баваріи и попалъ въ цѣлый сонмъ Нѣмцевъ-родственниковъ. Впрочемъ, послѣдніе мало были способны уразумѣть Тютчева и вообще симпатизировать съ его оригинальною и уже вовсе не Нѣмецкою природою. За то скромная гостиняя Тютчевыхъ въ Мюнхенѣ, при общительномъ характерѣ прелестной хозяйки, стала вскорѣ сборнымъ мѣстомъ всѣхъ даровитыхъ и вообще замѣчательныхъ людей въ городѣ; особенно часто посѣщала ее поэтъ Гейне. Съ особеннымъ сочувствіемъ упоминають также о Тютчевыхъ, мужѣ и женѣ, Кирѣевскіе (Петръ и Иванъ Васильевичи) въ письмахъ своихъ въ Москву, къ матери, отъ 1830 года, изъ Мюнхена, гдѣ оба брата слушали лекціи Шеллинга \*). Отъ этого брака Ѳедоръ Ивановичъ имѣлъ трехъ дочерей. Сохранившаяся отъ того времени домашняя переписка свидѣтельствуетъ, что Тютчевы, оба плохіе хозяева, при немалой уже семьѣ и при своемъ общественномъ положеніи, часто были озабочиваемы и затрудняемы недостаткомъ денежныхъ средствъ.

Въ 1830 году Тютчевъ возилъ свою жену въ Петербургъ знакомиться съ ея Русскими родными. Въ 1833 году онъ былъ, по собственной охотѣ, отправленъ «курьеромъ» съ дипломатическимъ порученіемъ на Іоническіе острова. Въ концѣ 1837 года, уже камергеръ и статскій совѣтникъ, онъ былъ повышенъ по службѣ, именно назначенъ старшимъ секретаремъ посольства въ Туринъ,—что было впрочемъ не

---

\*) См. Сочиненія И. В. Кирѣевского, т. I. Біографія.

совсѣмъ согласно съ его желаніемъ: онъ надѣялся получить мѣсто въ Вѣнѣ. Прежде чѣмъ отправиться на свой новый постъ, онъ снова привезъ жену и дѣтей въ Петербургъ, гдѣ и оставилъ ее, при своихъ родныхъ, на всю зиму, а самъ вскорѣ уѣхалъ опять въ Мюнхенъ и оттуда въ Туринъ. Объ этихъ его поѣздкахъ въ Петербургъ мы не имѣемъ никакихъ подробныхъ свѣдѣній. Съ кѣмъ видался онъ тогда всего болѣе, былъ ли знакомъ съ кругомъ Петербургскихъ литераторовъ, усмѣялъ ли обращать на себя надлежащее вниманіе—ничего этого мы не знаемъ; по всему видно, что эти поѣздки не оставляли по себѣ особаго слѣда въ тогдашнемъ обществѣ,—да Тютчевъ, впрочемъ, и не добивался извѣстности; она наконецъ составила сама собою, но, кажется, гораздо позднѣе. Пробывъ зиму въ Петербургѣ, жена съ дѣтьми возвратилась весною къ мужу, но осенью того же года скончалась въ Туринѣ \*).

Въ 1839 году Тютчевъ женился снова, на вдовѣ баронессѣ Дѣрингеймъ, женщинѣ замѣчательной красоты и ума, урожденной баронессѣ Пфеффель,—впрочемъ изъ семейства болѣе Французскаго, чѣмъ Нѣмецкаго, происхожденіемъ изъ Альзаса. Тютчевъ не долго оставался въ столицѣ Пиемонта, гдѣ къ тому же очень скучалъ и гдѣ тогда не было почти никакой политической и общественной жизни. Исправляя, за отсутствіемъ посланника, должность повѣреннаго въ дѣлахъ

---

\*) Тютчева отравила изъ Петербурга моремъ, на томъ самомъ пароходѣ «Николай», который, почти у береговъ Пруссіи, внезапно, ночью, былъ охваченъ пожаромъ и погибъ въ пламени. Пассажиры, въ ужасѣ, кто какъ былъ, столпились на узкой лѣстницѣ, спущенной съ парохода къ подоспѣвшимъ лодкамъ: произошла страшная давка, многіе попадали въ море и утонули. Тютчева выказала замѣчательное мужество: она сошла съ парохода послѣдней, съ тремя своими маленькими дѣтьми, изъ которыхъ младшему было полтора года. Весь ея гардеробъ и вещи погибли. Эта катастрофа окончательно потрясла ея, и безъ того разстроенное, здоровье. Ей-то относятся стихи Федора Ивановича:

Еще томлюсь тоской желаній.  
Еще стремлюсь къ тебѣ душой,  
И въ сумеркѣ воспоминаній  
Еще ловлю я образъ твой и шротъ.

и вида, что дѣлъ собственно не было никакихъ, нашъ поэтъ, въ одинъ прекрасный день, имѣя неотложную надобность съѣздить на короткій срокъ въ Швейцарію, заперъ дверь посольства и отлучился изъ Турина, не испросивъ себѣ формальнаго разрѣшенія. Но эта самовольная отлучка не прошла ему даромъ. О ней узнали въ Петербургѣ, и ему повелѣно было оставить службу, при чемъ сняли съ него и званіе камергера... Тютчевъ однако не поѣхалъ въ Россію, а переселился опять въ знакомый, почти родной ему Мюнхенъ, въ ожиданіи пока въ Петербургѣ разъяснится недоразумѣніе и примирится съ оригинальною выходкою дипломата-поэта.

Съ 1840 года Тютчевъ зажилъ въ Мюнхенѣ прежнею жизнью, усердно посѣщая общество и самъ не менѣе ревностно посѣщаемый. Многие изъ иностранныхъ дипломатовъ, бывшихъ въ ту пору въ Мюнхенѣ, до сихъ поръ хранятъ въ памяти часы, проведенные въ его домѣ. Такъ намъ недавно довелось прочесть нѣсколько строкъ о немъ въ статьѣ за подписью «Léon Boré», озаглавленной «Souvenirs de voyage» и помѣщенной въ № 12 Января 1873 г. одной Французской провинціальной газеты: L'Union de l'Ouest. Въ этой статьѣ много невѣрностей, но тѣмъ не менѣе замѣчательно, что авторъ, черезъ тридцать лѣтъ, не зная даже, живъ ли еще Федоръ Ивановичъ, съ восторгомъ и благодарностью воспоминаетъ о своихъ бесѣдахъ съ нимъ за вечернимъ чайнымъ столомъ въ его Мюнхенской гостиной, даже цитуетъ, какъ сужденіе авторитета, слова Тютчева о тогдешней политикѣ Тьера, съ восхищеніемъ говоритъ объ его Французской прозѣ и указываетъ на другаго французскаго дипломата, почитателя Тютчева, барона Бургуана, *mr. le baron Paul de Bourgoing* \*)... Въ одномъ изъ писемъ Тютчева

---

\*) Разсказывая о вечернемъ собраніи, въ Мюнхенѣ, въ Сентябрѣ 1843 года, у Французскаго посланника при Баварскомъ дворѣ и прера Франціи, барона Бургуана, Boré прибавляетъ: «Parmi les invités, l'on distinguait le baron (!) de Tutcheff (prononcez *Toutechef*), ancien ministre russe accrédité à la cour de Bavière (неправда), et certes, ce n'était pas faire un mince éloge de ses études et de ses qualités sociales, lorsque, ayant pu apprécier les unes et les autres, on les mettait sur la même ligne... J'aimais singulièrement à causer

къ своей женѣ изъ Петербурга, именно отъ 16 Сентября 1871 года (слѣдовательно за два года до кончины), мы читаемъ слѣдующія строки:... «En fait de nouveaux arrivés il y a le nouveau ministre de Grèce, *Boudouris*, que nous avons beaucoup vu et même connu comme tout jeune homme dans le temps à Munich. Il est venu me voir et m'a réellement étonné par la vivacité de ses souvenirs. C'était à croire que nous nous étions rencontrés l'avant-veille seulement... Il m'a cité jusqu'à certains propos qu'il prétend avoir été dits par moi dans le temps... Car il paraît qu'alors déjà je disais des mots \*)...»

Впрочемъ, кто хоть разъ въ жизни встрѣчалъ Тютчева, тому уже мудро было его позабыть: такъ непохожъ былъ онъ на другихъ; такъ выдѣлялось впечатлѣніе, производимое его рѣчами изъ массы всѣхъ прочихъ однородныхъ впечатлѣній.

avec le baron de Tutcheff... Aussi était-ce pour moi un vif plaisir de prendre chez lui le thé, certains soirs, où il me faisait avertir qu'il n'irait pas dans le monde. Son foyer m'était ouvert avec une politesse toute française par sa seconde femme, la belle, gracieuse et spirituelle petite-fille (т. е. petite-nièce) du littérateur alsacien Conrad Pfeffel...» Далѣе: «Ma reconnaissance pour les agréments et les avantages que m'ont procurés, pendant plusieurs années, les conversations du baron de Tutcheff, m'imposent en quelque sorte le devoir de le faire connaître un peu comme écrivain, car il écrivait aux heures libres que lui laissait sa double existence d'homme d'affaires et d'homme du monde, et vous verrez, par un trop court échantillon, comment ce Russe maniait notre langue...» О статьѣ Тютчева, которую здѣсь разумѣеть Борé, и объ его сужденіи по поводу тогдашней политики Тьера, мы будемъ говорить подробнѣе въ другомъ мѣстѣ.

\*) «Въ числѣ новопріѣзжихъ есть новый министръ Греціи, Будурисъ, котораго мы много видали и даже знавали во время оного, въ Мюнхенѣ, еще совершенно молодымъ человѣкомъ. Онъ навѣстилъ меня и истинно изумилъ живостью своихъ воспоминаній. Можно было бы подумать, что наша встрѣча съ нимъ была не дальше какъ вчера. Онъ даже привелъ мнѣ нѣсколько изрѣченій, будто бы мною тогда вымолвленныхъ... Должно быть, значить, я ужъ и тогда говорилъ остроты...» (mots—почти не переводимо по-русски какинъ-либо однимъ словомъ, безъ эпитета: умное, острое выраженіе, сужденіе, изрѣченіе).

Въ 1849 году Тютчевъ, какъ уже было упомянуто, приѣзжалъ изъ Мюнхена въ Москву и въ Петербургъ, чтобъ предварительно подготовить свое перемѣщеніе въ Россію и устроить дѣло по службѣ. Въ этотъ приѣздъ онъ особенно сошелся съ княземъ П. А. Вяземскимъ и вообще принять былъ въ Петербургскомъ высшемъ свѣтѣ какъ лицо уже замѣченное въ Европѣ, уже извѣстное острою мысли и слова. Объ этомъ приѣмѣ, вѣроятно непохожемъ на прежніе, и о дружескомъ вниманіи князя Вяземскаго онъ самъ съ благодарностью отзывается въ письмахъ къ женѣ; пишетъ о томъ же и отцу съ матерью, которые, кажется, были очень озабочены общественнымъ положеніемъ своего сына и нетерпѣливо ждали, чтобъ скорѣ снята была опала, тяготѣвшая надъ нимъ за самовольную отлучку изъ Турина. Посѣтивъ, на возвратномъ пути въ Мюнхенъ, семейство Крюднеровъ въ Петергофѣ, онъ познакомился у нихъ съ графомъ Бенкендорфомъ, чрезъ котораго и подалъ Государю какую-то записку или проектъ политическаго содержанія,—какого именно, мы не знаемъ: никакихъ слѣдовъ черновой рукописи въ его бумагахъ не сохранилось. Есть, впрочемъ, основаніе думать, что эта записка касалась нашей политики на Востокъ. Нельзя не сожалѣть объ утратѣ этой записки, если только она утрачена: очень можетъ быть, что она отыщется со временемъ въ архивахъ Министерства иностранныхъ дѣлъ, вмѣстѣ со многими другими мемуарами и политическими письмами Тютчева, адресованными какъ къ графу Нессельроде, такъ и въ позднѣйшее время.

Лѣтомъ 1844 г. Тютчевъ, съ женой и съ дѣтьми, окончательно водворяется въ Россіи, и именно въ Петербургъ, изрѣдка совершая поѣздки за границу и ежегодно въ Москву... Но сообщимъ сначала нѣсколько документальныхъ данныхъ объ его приѣздахъ въ Россію въ 1843 и въ 1844 г. и о представленной имъ чрезъ графа Бенкендорфа запискѣ. Изъ писемъ къ женѣ: отъ 9-го Сентября: «Je vais rejoindre les Krudener à Péterhof, et de là le comte Benkendorf nous emmène dans son château de Fall, proche de Réval.» Отъ 29 Сент: «Ma visite chez le comte Benkendorf a été de cinq jours fort agréablement passés. Je ne puis assez me féliciter d'avoir fait la connaissance du brave homme, qui en est le

propriétaire. C'est certainement une des meilleures natures d'homme, que j'aie jamais rencontrées. Il est un des person- nages les plus influents, les plus haut placés de l'Empire et exerçant par la nature de ses fonctions une autorité presque aussi absolue que celle du Maître. Voilà ce que je savais, et ce n'est pas certainement cela qui pouvait me prévenir en sa faveur... J'ai été par conséquent d'autant plus aise de me convaincre, que c'était en même temps un homme parfaitement bon et honnête. Il m'a comblé d'amitiés beaucoup à cause de m-me Krudener et un peu aussi par sympathie personnelle; mais ce dont je lui sais plus de gré encore que de son accueil, c'est de s'être fait l'organe de mes idées auprès de l'Empereur qui leur a accordé plus d'attention que je n'osais l'espérer. Quant au public, j'ai été à même de m'assurer, par l'écho que ces idées y ont trouvé, que j'étais dans le vrai, et maintenant, grâce à l'autorisation tacite qui m'a été accordée, il sera possible d'essayer quelque chose de sérieux... \*)

\*) ...«Я еду къ Крюднерамъ въ Петергофъ, откуда графъ Бенкендорфъ везетъ насъ въ свой замокъ Фалль близъ Ревеля»... «Я провелъ у графа пять дней самымъ пріятнымъ образомъ. Не могу довольно на- радоваться, что приобрѣлъ знакомство такого славнаго человѣка, каковъ- хозяинъ здѣшняго мѣста. Это конечно одна изъ лучшихъ человѣческихъ натуръ, когда-либо мною встрѣченныхъ. Онъ принадлежитъ къ наиболѣе вліятельнымъ, наивыше поставленнымъ лицамъ въ Имперіи и сверхъ того по самому характеру своихъ должностей пользуется властью почти такою же безусловною, какъ и власть самого Повелителя. Вотъ что мнѣ было извѣстно, и конечно уже не это могло меня расположить въ его пользу... Тѣмъ пріятнѣе мнѣ было убѣдиться, что онъ въ то же время совершенно добрый и честный человѣкъ. Онъ осыпалъ меня ла- сками, большею частью ради г-жи Крюднеръ и частью также изъ лич- ной ко мнѣ симпатіи; но за что я еще болѣе благодаренъ, чѣмъ за пріемъ, это за то, что онъ взялся быть проводникомъ моихъ мыслей при Госу- дарѣ, который удѣлялъ имъ больше вниманія, чѣмъ я смѣлъ ожидать. Что касается до публики, то я могъ удостовѣриться по отголоску, ко- торый встрѣтили въ ней эти мои мысли, что я попалъ на правду, и теперь, благодаря молчаливому поощренію, которое мнѣ оказано, можно будетъ попытаться на что-нибудь серьезное»...

Изъ письма къ отцу и матери 1843 года изъ Ревеля отъ 3 Сентября: рассказавъ о своей поѣздкѣ къ графу Бенкендорфу и объ его дружественномъ приѣмѣ, Тютчевъ продолжаетъ: «Mais ce qui m'a été particulièrement agréable, c'est l'accueil qu'il a fait à mes idées relativement au projet que vous savez, et l'empressement qu'il a mis à les appuyer auprès de l'Empereur. Car le lendemain même du jour où je lui en avais parlé, il a profité de la dernière entrevue qu'il a eue avec l'Empereur avant son départ, pour les porter à sa connaissance. Il m'a assuré, que mes idées ont été accueillies assez favorablement et qu'il y avait lieu d'espérer qu'il pourra y être donné suite. Je lui ai demandé de me laisser cet hiver pour préparer les voies, et je lui ai promis de venir le trouver soit ici, soit ailleurs, pour prendre des arrangements définitifs. Au reste il n'est pas le seul ici qui s'intéresse à la question, et je crois que le moment était opportun pour la soulever... Nous verrons».. \*). Возвратившись въ Мюнхенъ, Тютчевъ не переставалъ думать о переселеніи въ Россію. Поѣздка его оживила; съ новыми Петербургскими знакомыми и друзьями завелась у него довольно частая переписка. Лѣтомъ слѣдующаго года онъ написалъ и напечаталъ «Письмо къ издателю Всеобщей Аугсбургской Газеты, доктору Кольбу» которое, въ подлинникѣ и въ Русскомъ переводѣ, спустя тридцать лѣтъ, обнародовано и въ Россіи, именно въ 10 «тетради Архива» 1873 года подъ заглавіемъ:

\*) «Но что мнѣ было особенно пріятно, это его вниманіе къ моимъ мыслямъ относительно извѣстнаго вамъ проекта, и та поспѣшная готовность, съ которою онъ оказалъ имъ поддержку у Государя: потому что, на другой же день нашего разговора, онъ воспользовался послѣднимъ своимъ свиданіемъ съ Государемъ предъ его отъѣздомъ, чтобы довести объ нихъ до его свѣдѣнія. Онъ увѣрялъ меня, что мои мысли были приняты довольно благосклонно, и есть поводъ надѣяться, что имъ будетъ данъ ходъ. Я просилъ его предоставить мнѣ эту зиму на подготовленіе путей и обѣщалъ, что непремѣнно пріѣду къ нему, сюда ли или куда бы то ни было, для окончательныхъ распоряженій. Впрочемъ не онъ одинъ интересуется вопросомъ, и я думаю, что минута для его возбужденія была пригодна... Увидимъ»... Все это загадки, жоторымъ разъясненія мы покуда еще не знаемъ.

«Россія и Германія». Едвали это не былъ его первый напечатанный прозаическій трудъ. Онъ не остался не замѣченнымъ и Русскими соотечественниками: есть указаніе въ одномъ изъ писемъ Тютчева къ отцу, что статья была прочтена, и не безъ сочувствія, самимъ Государемъ Николаемъ Павловичемъ \*).

\*) Что статья Тютчева была напечатана—это несомнѣнно; но именно ли въ Аугсбургской Газетѣ, этого мы еще не можемъ утверждать на вѣрное, потому что, не смотря на все наши старанія, намъ до сихъ поръ не удалось розыскать изданія этой газеты за 1844 годъ. Подлинная рукопись (руки самого Ф. Ивановича) начинается обращеніемъ автора къ самому Кольбу (оно опущено въ Русскомъ Архивѣ). Вотъ первыя строки этого обращенія: «L'asseuil que vous avez fait dernièrement à quelques observations que j'ai pris la liberté de vous adresser, ainsi que le commentaire modéré et raisonnable dont vous les avez accompagnées, m'ont suggéré une singulière idée. Que serait-ce, monsieur, si nous essayons de nous entendre sur le fond même de la question? Je n'ai pas l'honneur de vous connaître personnellement; en vous écrivant, c'est donc à la Gazette Universelle d'Augsburg que je m'adresse». Изъ этого видно, что въ Аугсбургской Газетѣ уже и прежде была напечатана, если не цѣлая статья, то какая-нибудь замѣтка Тютчева съ примѣчаніемъ самого Кольба, вѣроятно по тому же вопросу о политическихъ отношеніяхъ Германіи и Россіи.—Все это, конечно, со временемъ разъяснится, какъ скоро удастся пересмотрѣть въ заграничныхъ библіотекахъ изданіе этой газеты за 1844 годъ. Между тѣмъ у насъ предъ глазами письмо Федора Ивановича къ отцу, уже изъ Петербурга, отъ 29 Октября 1844 года, въ которомъ онъ называетъ эту статью брошюрою (можетъ быть, ради краткости выраженія); именно, упомянувъ о свиданіи съ генералъ-адъютантомъ Нарышкинымъ, котораго называетъ своимъ zéléteur (усердствующимъ ему), онъ прибавляетъ: «il m'a dit qu'ayant lu, par hasard, une brochure que j'ai publiée l'été dernier en Allemagne, il en avait, suivant son habitude, parlé à tout le monde, et avait finalement réussi à la faire lire à l'Empereur qui, après l'avoir lue, a déclaré qu'il y retrouvait toutes ses idées, et a paru curieux de savoir qui en était l'auteur. Je suis assurément très flatté de cette coïncidence, mais par des motifs qui, je puis le dire, n'ont rien de personnel»... Тютчевъ ничего не поясняетъ болѣе

Дѣло по службѣ скоро уладилось: Тютчеву были возвращены всѣ служебныя права и почетныя званія, и повелѣно было состоять по особымъ порученіямъ при государственномъ канцлерѣ. Вообще появленіе его въ Петербургскомъ свѣтѣ сопровождалось блестящимъ успѣхомъ. Онъ сразу занялъ въ обществѣ то особенное, видное положеніе, которое удерживалъ потомъ до самой своей кончины и на которое давали ему такое право его образованность, его умъ и таланты. Предъ нимъ открылись настежь всѣ двери—и дворцовъ, и аристократическихъ салоновъ, и скромныхъ литературныхъ гостинныхъ: всѣ наперерывъ желали залучить къ себѣ этого Русскаго выходца изъ Европы, этого пріятнаго собесѣдника, привлекавшаго къ себѣ общее вниманіе оригинальною граціею всего своего вѣдѣннаго и духовнаго существа, самостоятельностью своей мысли, сверкающею остротою своихъ импровизованныхъ рѣчей. Онъ самъ, въ письмахъ къ отцу и матери, свидѣтельствуетъ о радушномъ приѣмѣ, ему оказанномъ, объясняя, впрочемъ это радушіе, съ привычною ему скромностью, свойствами Русскаго національнаго характера... «Какъ могли вы вообразить — пишетъ онъ къ нимъ, черезъ мѣсяцъ по приѣздѣ въ Петербургъ — что я опять оставлю Россію? Да еслибъ меня назначили посланникомъ въ Парижъ съ тѣмъ, чтобы тотчасъ покинуть Россію, я бы поколебался принять. Это говорю только, чтобы дать вамъ понять, какъ мало я тороплюсь отсюда уѣхать... И наконецъ, — отчего-жъ въ томъ и не сознаться? — Петербургъ, какъ общество, едва ли не одно изъ самыхъ пріятныхъ мѣстопребываній въ Европѣ. А когда я говорю *Петербург*, — я разумѣю Россію, Русскій характеръ, Русскую общительность... То же самое и въ Москвѣ, только еще въ высшей степени. Дойдя до 40 лѣтъ, никогда, такъ сказать, и не живши въ Русскомъ обществѣ, я очень доволенъ, что нахожусь теперь въ немъ, и очень отрадно пораженъ тѣмъ необычнымъ благоволеніемъ, которое

---

о брошюрѣ, и очевидно упоминаетъ объ ней и о прочтеніи ея Государемъ только потому, что такое извѣстіе должно было доставить нѣкоторое удовольствіе его старикамъ-родителямъ и успокоить ихъ на счетъ его дѣла по службѣ, тогда еще не устроенныхъ. Самую статью мы подробно излагаемъ ниже.

мнѣ оказываютъ. Не только что мое тщеславіе этимъ польщено; нѣтъ, это еще другое чувство,—чувство лучшее чѣмъ тщеславіе.» \*)

Въ 1848 году Тютчевъ опредѣленъ старшимъ цензоромъ при Особой Канцеляріи Министерства Иностранныхъ Дѣлъ, съ оставленіемъ въ прежней должности.—Въ этомъ же году, или въ началѣ 1849 года, написалъ онъ статью, озаглавленную въ рукописи: *La Russie et la Révolution* (Россія и Революція). Она также помѣщена во Французскомъ подлинникѣ и въ Русскомъ переводѣ въ Русскомъ Архивѣ 1873 года тетр. 5. Но оказывается, чего многіе не знали, что она въ томъ же 1849 году была напечатана отдѣльною брошюрою, вѣроятно безъ вѣдома автора, во Франціи, въ очень маломъ числѣ экземпляровъ, барономъ Павломъ Бургуаномъ, бывшимъ Французскимъ посланникомъ при Мюнхенскомъ дворѣ, коротко знавшимъ Тютчева. Копія съ рукописи была доставлена изъ Петербурга въ Мюнхенъ родственнику Ѳедора Ивановича по женѣ, барону Пфеффелю, который, конечно, не замедлилъ распространить ее въ Мюнхенскомъ дипломатическомъ кругу, гдѣ она и дошла до барона Бургуана. Но брошюра, какъ видно изъ краткаго обзора и разбора ея въ *Revue des Deux Mondes* (1 juin 1849), носить иное, болѣе заманчивое названіе: *Mémoire*

---

\*) «...Comment avez-vous pu imaginer que quelque chose qu'il arrive, je quitterais la Russie?... On me nommerait ambassadeur à Paris, à la condition de m'en aller immédiatement de la Russie, que j'hésiterais à accepter. C'est pour vous dire combien peu je suis pressé de m'en aller, et ma femme l'est encore moins... Et puis, pourquoi ne l'avouerions nous pas, Pétersbourg, comme société, est peut-être un des plus agréables séjours qu'il y ait en Europe. Et quand je dis Pétersbourg, c'est la Russie, c'est le caractère russe, c'est la sociabilité russe... Et voilà ce qui fait que ma femme est si impatiente d'aller à Moscou, parcequ'elle est sûre de retrouver tout cela à Moscou à un plus haut degré encore... Pour moi, arrivé à l'âge de 40 ans, sans avoir p. a. d. jamais vécu au milieu de la société russe, je me trouve très agréablement impressionné de la bienveillance qu'on m'y témoigne. Ce n'est pas ma vanité seulement qui s'en trouve flattée: c'est encore un autre sentiment, un sentiment meilleur que la vanité...»

*présenté à l'empereur Nicolas, depuis la révolution de Février, par un Russe, employé supérieur aux affaires étrangères.* (Записка, представленная Императору Николаю, послѣ Февральской революціи, Русскимъ чиновникомъ высшаго разряда при Министерствѣ Иностранныхъ Дѣлъ). Дѣйствительно ли была она представлена Государю, намъ неизвѣстно; но нѣтъ сомнѣнія, что на такое заглавіе авторъ не давалъ, да и не могъ бы дать, разрѣшенія \*). Въ томъ же журналѣ *Revue des Deux Mondes*, въ 1-ой Январской книжкѣ 1850 года, напечатана другая статья Тютчева, также безъ его подписи, именно: *La Question Romaine et la Papauté* (Римскій Вопросъ и Папство). Обѣ статьи произвели сильное впечатлѣніе за границею, особенно послѣдняя, которая обратила на себя вниманіе и въ Россіи. Редакторъ журнала Лоранси (*Laurentie*) предпослалъ статьѣ длинное примѣчаніе съ возраженіями, довольно живыми, въ защиту католицизма и съ указаніемъ, что статья *La Question Romaine* и брошюра: *Mémoire présenté à l'empereur Nicolas* написаны однимъ и тѣмъ же лицомъ.

Въ 1854 году появилось въ IV кн. журнала *Современникъ* (изданія Некрасова и Панаева) собраніе стихотвореній Тютчева, которое вслѣдъ за тѣмъ, нѣсколько пополненное, было выпущено редакціей въ свѣтъ отдѣльною книжкою, въ числѣ 95 піесъ. Съ этого только времени былъ занесенъ Тютчевъ, такъ сказать официально, въ число Русскихъ стихотворцевъ, въ списокъ которыхъ онъ до тѣхъ поръ не состоялъ. Здѣсь кстати разсказать странную внѣшнюю судьбу поэзіи Тютчева, объясняемую, впрочемъ, какъ увидимъ впоследствии, отчасти его личнымъ характеромъ и особенностями

---

\*) Вотъ какъ начинается рецензія въ *Revue des Deux Mondes* (въ отдѣлѣ *Chronique de la quinzaine*): Une indiscretion habilement calculée a mis en circulation dans les salons diplomatiques de l'Allemagne un document quasi-officiel, qui apporte sur la politique latente du Czar, avec de nouvelles considérations mystiques, quelques lumières précieuses et d'une couleur originale. C'est un écrit qui porte le titre: *Mémoire présenté* и проч. Un ancien diplomate, m-r Paul de Bourgoing, l'a recueilli en Allemagne et lui a donné en France la publicité d'un très petit nombre d'exemplaires.

его поэтического творчества. По отъездѣ его въ Мюнхенъ въ 1822 году, первыя его стихотворенія появляются въ печати въ Альманахѣ Уранія 1826 года, изданномъ въ Москвѣ М. П. Погодинымъ и Раичемъ, — три перевода и одно оригинальное стихотвореніе «Проблескъ», отмѣченные 1823 и 1824 годами. Затѣмъ, въ 1827 году Тютчевъ опять является вкладчикомъ въ новомъ альманахѣ своего бывшего учителя Раича Сѣверная Лира, гдѣ помѣщаетъ шесть піесъ (изъ нихъ 4 переводныхъ). Два стихотворенія напечатаны въ Сѣверныхъ Цвѣтахъ 1827 года. Изъ помѣтъ подъ нѣкоторыми стихотвореніями видно, что Тютчевъ посылалъ не самыя новыя, послѣднія свои произведенія, а переводы и стихи прежнихъ лѣтъ, т. е. самой ранней своей молодости; они вообще слабы и не могли обратить на себя особеннаго вниманія, хотя въ нѣкоторыхъ піесахъ уже проявляется своеобразная фактура стиха и мѣстами блещетъ истинная поэзія. Наконецъ, въ плохомъ журналѣ Раича Галатея, въ 1829 и 1830 году, Тютчевъ, вѣрный своему наставнику, помѣщаетъ тринадцать стихотвореній, изъ которыхъ снова пять переводныхъ; но въ числѣ оригинальныхъ есть нѣсколько піесъ первостепеннаго достоинства, которыя, въ послѣдствіи перепечатанныя, признаны всѣми критиками за его лучшія произведенія, но въ то время прошли совершенно незамѣченными (напримѣръ: «Гроза», «Видѣніе» и проч.). Черезъ пять лѣтъ въ Молвѣ, еженедѣльномъ прибавленіи къ Телескопу (журналу, издававшемуся въ Москвѣ Надеждинымъ), появилось превосходное по содержанію и по формѣ стихотвореніе его «Silentium,» также вовсе не замѣченное читающею публикою \*).

\*) На это обстоятельство указалъ первый П. В. Анненковъ въ своей біографіи Станкевича (1857 г.). Упомянувъ о помѣщенныхъ въ Молвѣ первыхъ лирическихъ стихотвореніяхъ Красова, въ которыхъ, «не смотря на благородство чувствъ, замѣтенъ нѣсколько узкій взглядъ на предметы», г. Анненковъ прибавляетъ: «Любопытно, что въ томъ же 1835 г. Молва напечатала Silentium, Ѳ. Тютчева — произведеніе глубокаго, поэтически-философскаго характера, не обратившее однакоже на себя должнаго вниманія»... Между тѣмъ эти стихотворенія Красова пользовались тогда въ обществѣ значительнымъ успѣхомъ.

Наконецъ нашелся въ Мюнхенѣ Русскій, который понялъ значеніе поэтическаго таланта Тютчева, собралъ, сколько могъ, его стихотвореній и доставилъ ихъ въ 1836 году Пушкину. Этотъ Русскій былъ князь Иванъ Сергѣевичъ Гагаринъ, въ настоящее время священникъ Ордена Іезуитовъ. Онъ служилъ тогда при нашей миссіи въ Мюнхенѣ, гдѣ его дядя, князь Григорій Ивановичъ Гагаринъ, находился посланникомъ. Русская литература обязана искреннею благодарностью князю Ивану Гагарину за то, что онъ извлекъ изъ-подъ спуда поэтическія творенія Тютчева (которыя безъ того, вѣроятно, бы погибли или растерялись) и отнесся съ ними прямо къ Пушкину, который съ 1836 года предпринималъ изданіе своего четырехмѣсячнаго обзрѣнія Современникъ. Пушкинъ, какъ извѣстно, былъ выше всякой мелочной авторской зависти и всегда самымъ радушнымъ образомъ привѣтствовалъ каждый проблескъ истиннаго дарованія. Онъ тотчасъ же оцѣнилъ стихи Тютчева по достоинству, и съ III-го же тома своего Современника началъ ихъ послѣдовательное печатаніе подъ общимъ заглавіемъ: «Стихотворенія присланныя изъ Германіи», и за подписью: *Θ. Т.* По смерти Пушкина, Современникъ издаваемый уже Плетневымъ, продолжалъ ежегодно помѣщать на своихъ страницахъ нѣсколько стихотвореній Тютчева, до начала 1840 года включительно. Всего съ 1836 г. по 1840 г. напечатано въ Современникѣ 39 пьесъ, въ томъ числѣ «Silentium», напечатанное прежде въ Молвѣ и еще нѣсколько пьесъ, уже помѣщенныхъ въ Галатеѣ. Почему въ Современникѣ не было выставлено полного имени автора—мы разяснить не умѣемъ. Стихотворенія *Θ. Т.* обратили на себя вниманіе публики, но не вызвали ни одного отзыва въ тогдашнихъ нашихъ журналахъ.

Затѣмъ съ 1840 до 1854 года, слѣдовательно въ теченіи *четырнадцати* лѣтъ, не появляется въ печати *ни одного* стихотворенія Тютчева, если не считать его перевода изъ Шиллера «Поминки,» помѣщеннаго въ Раутѣ, альманахѣ Н. В. Сушкова. Между тѣмъ эти 14 лѣтъ были едва ли, во всей его жизни, не самыя обильныя поэтическимъ творчествомъ. Не менѣе любопытно и слѣдующее обстоятельство. Въ 1850 году въ томъ же Современникѣ, но издаваемомъ тогда И. И. Панаевымъ и поэтомъ Некрасовымъ, напечатана

статья Некрасова подъ названіемъ «Русскіе второстепенные поэты», второстепенные,—пишетъ авторъ—не по степени достоинства, а по степени извѣстности, такъ какъ наша публика заучила себѣ только пять поэтическихъ именъ: Пушкинъ, Жуковский, Лермонтовъ, Крыловъ, Кольцовъ, едва ли болѣе. Эта замѣчательная статья, въ которой Некрасовъ является истиннымъ знаткомъ и цѣнителемъ поэтической красоты, посвящена вся поэзіи Тютчева, о которомъ авторъ судить только по стихотвореніямъ, напечатаннымъ въ Современникѣ 1836—1840 года, объясняя, что «поэтическая дѣятельность г-на *Θ. Т.* продолжалась только пять лѣтъ; впрочемъ не можемъ сказать навѣрное, печаталъ онъ или нѣтъ идъ-нибудь свои стихотворенія прежде.» Но особенно странно и даже забавно читать слѣдующія строки, гдѣ авторъ статьи, какъ бы въ потьмахъ, ощупью, старается добратся до личности поэта, до настоящаго смысла подписи *Θ. Т.*; странно и забавно потому, что этотъ поэтъ не только жилъ въ одномъ городѣ съ авторомъ, но нисколько не скрывался, напротивъ принадлежалъ вполнѣ свѣту и обществу, и былъ ревностнымъ посѣтителемъ всякихъ общественныхъ собраній. Упомянувъ объ общемъ заглавіи, подъ которымъ помѣщены были въ первый разъ стихи Тютчева въ Пушкинскомъ Современникѣ, г. Некрасовъ прибавляетъ:

Прежде всего скажемъ, что хотя они и присылаемы были изъ Германіи, но не подлежало никакому сомнѣнію, что авторъ ихъ былъ Русскій: всѣ они написаны были чистымъ и прекраснымъ языкомъ, и многія носили на себѣ живой отпечатокъ Русскаго ума, Русской души. Подпись *Θ. Т-ва*, вмѣсто *Θ. Т.*, появившаяся вскорѣ подъ однимъ изъ нихъ, окончательно подтвердила, что авторъ ихъ нашъ соотечественникъ. Сдѣлавъ это примѣчаніе для тѣхъ, которыхъ могло бы испугать заглавіе стихотвореній, мы продолжаемъ... Съ тѣхъ поръ это имя вовсе исчезло изъ Русской литературы. Неизвѣстно навѣрное, обратило ли оно на себя вниманіе публики въ то время, какъ появилось въ печати; но положительно можно сказать, что ни одинъ журналъ не обратилъ на него ни малѣйшаго вниманія.

Эти строки характеризуютъ всего болѣе самого Тютчева и служатъ яркимъ свидѣтельствомъ, какъ мало добивался онъ авторской славы. Г-нъ Некрасовъ въ статьѣ своей всѣми си-

лами старается растолковать публикѣ ея несправедливость къ анонимному поэту, перепечатываетъ изъ прежняго «Современника» 24 пьесы и заканчиваетъ статью «желаніемъ, чтобы стихотворенія г. О. Т. были изданы отдѣльно. «Мы можемъ ручаться» — прибавляетъ онъ — «что эту маленькую книжечку каждый любитель отечественной литературы поставитъ въ своей библіотекѣ рядомъ съ лучшими произведеніями Русскаго поэтическаго генія.»

Такимъ образомъ Тютчевъ, хоть и на 47 году жизни, дождался наконецъ оцѣнки своему таланту. Статья Некрасова, напечатанная въ журналѣ, пользовавшемся тогда большимъ успѣхомъ, произвела въ публикѣ сильное впечатлѣніе. Стихотворенія, уже давно напечатанныя и въ свое время ускользнувшія отъ вниманія, стали перечитываться вновь; въ нихъ открывали красоты, прежде не замѣченныя. Анонимъ разумѣется обнаружился, да онъ никогда и не прятался. Тѣмъ не менѣе и еще четыре года сряду имя Тютчева не появляется въ печати, хотя многія его пьесы ходили въ спискахъ по рукамъ въ Москвѣ и въ Петербургѣ. Можетъ быть и еще долѣе продолжалось бы такое оригинальное отношеніе поэта къ печати, еслибъ не вмѣшался въ дѣло *посторонній* чловѣкъ, который взялъ на себя трудъ привести въ исполненіе желаніе, высказанное Некрасовымъ. Нашъ извѣстный писатель и ревностный тогда сотрудникъ журнала Современникъ, Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ, познакомившись съ поэтомъ, испросилъ у него, безъ всякаго, конечно, труда, право для редакціи на изданіе его стихотвореній, собралъ, при помощи семьи Осдора Ивановича, все, что можно было собрать, — и такимъ образомъ состоялось въ 1854 году то первое изданіе, о которомъ упомянуто было выше, и въ которомъ Тютчевъ самъ, лично, не принималъ никакого участія. Съ того времени положеніе Тютчева, какъ поэта, измѣнилось; къ нему обращались съ просьбою о сотрудничествѣ, и стихотворенія его стали появляться довольно часто, по крайней мѣрѣ безъ большихъ перерывовъ, въ разныхъ повременныхъ изданіяхъ.

Въ 1857 году Тютчевъ написалъ, въ видѣ письма къ князю Горчакову (нынѣ канцлеру) статью или записку о цензурѣ, которая тогда ходила въ рукописныхъ спискахъ и, можетъ

быть, не мало содѣйствовала болѣе разумному и свободному взгляду на значеніе печатнаго слова въ нашихъ правительственныхъ сферахъ. Она, во Французскомъ подлинникѣ и въ переводѣ, также помѣщена въ Русскомъ Архивѣ 1873 г. Въ томъ же 1857 году Тютчевъ занялъ мѣсто предсѣдателя Санктпетербургскаго Комитета Иностранной Цензуры, оставаясь въ то же время въ вѣдомствѣ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ. Его просвѣщенное, разумно-либеральное предсѣдательство въ этомъ Комитетѣ, нерѣдко расходившееся съ нашимъ административнымъ міровоззрѣніемъ, а потому подъ конецъ и ограниченное въ своихъ правахъ, памятно всѣмъ, кому было дорого живое общеніе съ Европейскою литературою. Въ этой должности онъ и состоялъ до самой своей кончины, послѣдовавшей 15-го Іюля 1873 года, въ Царскомъ Селѣ.

Такимъ образомъ завершился второй, послѣдній, Петербургскій періодъ жизни Тютчева, начавшійся съ 1844 года и продолжавшійся 29 лѣтъ. Онъ не богатъ, какъ мы видѣли, внѣшнимъ біографическимъ матеріаломъ или внѣшнею дѣятельностью. Но всѣ эти 29 лѣтъ были непрерывною дѣятельностью мысли, сердца, поэтическаго творчества. Его умъ бодрствовалъ и свѣтилъ неослабно; его сужденія озаряли темную глубину современныхъ міровыхъ вопросовъ; на каждое важное явленіе исторіи, какъ за предѣлами, такъ и внутри Россіи, отзывался онъ устною рѣчью или стихами. Мы еще возвратимся къ Петербургскому періоду его жизни и взглянемъ на него поближе именно съ этой стороны; но дѣло въ томъ, что вся эта внутренняя дѣятельность Тютчева была проявленіемъ духа уже вполне возмужавшаго, — не новымъ фазисомъ, въ который, съ пріѣздомъ въ Россію, вступило его міросозерцаніе, а лишь выраженіемъ его нравственнаго, уже окончательно опредѣлившагося строя, — дальнѣйшимъ развитіемъ и разъясненіемъ прежде пріобрѣтенныхъ, уже установившихся, воззрѣній и убѣжденій. Его оригинальный умственный, нравственный, поэтический, вообще духовный типъ не видоизмѣнился въ теченіи послѣднихъ 29-ти лѣтъ, остался все тотъ же какимъ былъ и въ 1844 году, когда Тютчеву, послѣ долгаго заграничнаго пребыванія, привелось наконецъ поселиться въ Россіи, и не мѣшало ему быть во всякое время

современнѣйшимъ изъ современниковъ. Какой же это былъ типъ и какимъ образомъ могъ онъ сложиться тамъ, на чужбинѣ? Эти вопросы побуждаютъ насъ обратиться назадъ къ Мюнхенскому періоду его жизни, и къ характеристикѣ его внутренняго существа.

## II.

Въ 1822 году переѣздъ изъ Россіи за границу значилъ не то что теперь. Это просто былъ временный разрывъ съ отечествомъ. Желѣзныхъ дорогъ и электрическихъ телеграфовъ тогда еще и въ поминѣ не было; почтовые сообщенія совершались медленно; Русскіе путешественники были рѣдки. Отторгнутый отъ Россіи въ самой ранней, нѣжной молодости, когда ему было съ небольшимъ 18 лѣтъ, закинутый въ дальній Мюнхенъ, предоставленный самъ себѣ, Тютчевъ одинъ, безъ руководителя, переживаетъ на чужбинѣ весь процессъ внутренняго развитія, отъ юности до зрѣлаго мужества, и возвращается въ Россію на водвореніе, когда ему пошелъ уже пятый десятокъ лѣтъ. Двадцать два года лучшей поры жизни проведены Тютчевымъ за границею...

Представимъ же его себѣ одного, брошеннаго чуть не мальчикомъ въ водоворотъ высшаго иностраннаго общества, окруженнаго всѣми соблазнами большаго свѣта, искушаемаго собственными дарованіями, которыя тотчасъ же, съ перваго его появленія въ этой блестящей Европейской средѣ, доставили ему столько сочувствія и успѣха,—наконецъ любимаго, балуемаго женщинами, съ сердцемъ падкимъ на увлеченія страстныя, безоглядочныя... Какъ, казалось бы, этой 18-лѣтней юности не поддаться обольщеніямъ тщеславія, даже гордости? Какъ не растратить въ этомъ вихрѣ суеты, въ обаяніи внѣшней жизни, сокровища жизни внутренней, высія стремленія духа? Не слѣдовало ли ожидать, что и онъ, подобно многимъ нашимъ поэтамъ, поклонится кумиру, называемому свѣтомъ, приобщится его злой пустотѣ, и въ погонѣ за успѣхами принесетъ не мало нравственныхъ жертвъ, въ ущербъ и правдѣ, и таланту?

Но здѣсь-то и поражаетъ насъ своеобразность его духовной природы. Именно къ тщеславію онъ и былъ всего менѣе

склоненъ. Можно сказать, что въ тщеславіи у Тютчева былъ *органическій* недостатокъ. Онъ любилъ свѣтъ—это правда; но не личный успѣхъ, не утѣхи самолюбія влекли его къ свѣту. Онъ любилъ его блескъ и красоту; ему правилась эта театральная, почти международная арена, воздвигнутая на общественныхъ высотахъ, гдѣ въ роскошной сценической обстановкѣ выступаетъ изящная внѣшность Европейскаго общежитія со всею прелестью утонченной культуры; гдѣ,— во имя единства цивилизаціи, условныхъ формъ и приличій,— сходятся граждане всего образованнаго міра, какъ равноправная труппа актеровъ. Но любя свѣтъ, всю жизнь вращаясь въ свѣтѣ, Тютчевъ ни въ молодости не былъ, ни потомъ не сталъ «свѣтскимъ человѣкомъ». Соблюдая по возможности всѣ внѣшнія свѣтскія приличія, онъ не рабствовалъ предъ ними душою, не покорялся условной свѣтской «морали», хранилъ полную свободу мысли и чувства. Блескъ и обаяніе свѣта возбуждали его нервы, и словно ключомъ было наружу его вдохновенное, граціозное остроуміе. Но самое проявленіе этой способности не было у него дѣломъ *тщеславнаго расчета*: онъ самъ тутъ же забывалъ сказанное, никогда не повторялся и охотно предоставлялъ другимъ авторскія права на свои, нерѣдко геніальныя, изрѣченія. Вообще, какъ въ устномъ словѣ, точно такъ и въ поэзіи, его творчество только въ самую минуту творенія, не долѣе, доставляло ему авторскую отраду. Оно быстро, мгновенно вспыхивало и столь же быстро, выразившись въ рѣчи или въ стихахъ, угасало и исчезало изъ памяти.

Онъ никогда не становился ни въ какую позу, не рисовался, былъ всегда самъ собою, таковъ какъ есть, простъ, независимъ, произволенъ. Да ему было и не до себя, т. е. не до самолюбивыхъ соображеній о своемъ личномъ значеніи и важности. Онъ слишкомъ развлекался и увлекался предметами для него несравненно болѣе занимательными: съ одной стороны блистаніемъ свѣта, съ другой личною, искреннею жизнью сердца, и затѣмъ высшими интересами знанія и ума. Эти послѣдніе притягивали его къ себѣ еще могущественнѣе, чѣмъ свѣтъ. Онъ уже и въ Россіи учился лучше, чѣмъ многіе его сверстники-поэты, а Германская среда была еще способнѣе расположить къ ученію, чѣмъ

тогдашняя наша Русская, и особенно Петербургская. Перебравъ за границу, Тютчевъ очутился у самого родника Европейской науки: тамъ она была въ подлинникѣ, а не въ жалкой копіи или каррикатурѣ, у себя, въ своемъ дому, а не въ гостяхъ, на чужой квартирѣ.

Окунувшись разомъ въ атмосферу стройнаго и строгаго Нѣмецкаго мышленія, Тютчевъ быстро отрѣшается отъ всѣхъ недостатковъ, которыми страдало тогда образованіе у насъ въ Россіи и приобретаетъ обширныя и глубокія свѣдѣнія. По свидѣтельству одного иностранца (барона Пфеффеля), напечатавшаго въ концѣ прошлаго года небольшую статью о немъ въ одной Парижской газетѣ \*), Тютчевъ ревностно изучалъ Нѣмецкую философію, часто водился съ знаменитостями Нѣмецкой науки, между прочимъ съ Шеллингомъ, съ которымъ часто спорилъ, доказывая ему несостоятельность его философскаго истолкованія догматовъ Христіанской вѣры. Тотъ же Пфеффель, вспоминая эти годы молодости Тютчева въ Мюнхенѣ, выражается о немъ слѣдующимъ образомъ въ одномъ частномъ письмѣ, которое намъ довелось прочесть: «nous subissons le charme de ce merveilleux esprit (мы находились подъ очарованіемъ этого диковиннаго ума)». Не менѣе замѣчателенъ и отзывъ И. В. Кирѣевскаго, который, уже въ 1830 году, пишетъ изъ Мюнхена къ своей матери въ Москву, про 27-лѣтняго Тютчева. «онъ уже однимъ своимъ присутствіемъ могъ бы быть полезенъ въ Россіи: такихъ Европейскихъ людей у насъ перечесть по пальцамъ». \*\*) Тютчевъ обладалъ способностью читать съ поразительною быстротою, удерживая прочитанное въ памяти до малѣйшихъ подробностей, а потому и начитанность его была изумительна, — тѣмъ болѣе изумительна, что времени для чтенія, повидимому, оставалось у него немного \*\*\*). Вообще, при его

\*) См. эту статью въ приложеніи.

\*\*) Сочин. И. В. Кирѣевскаго, Т. I., біографія.

\*\*\*) Эту привычку къ чтенію Тютчевъ перенесъ съ собой и въ Россію и сохранилъ ее до самой своей предсмертной болѣзни, читая ежедневно, рано по утрамъ, въ постели, всѣ вновь выходящія, сколько-нибудь замѣчательныя книги Русской и иностранныхъ литературъ, большею частью историческаго и политическаго содержанія.

необыкновенной талантливости, занятія наукою не мѣшали ему вести, по наружности, самую равсѣянную жизнь и не оставляли на немъ никакой пыли труда, той почтенной пыли, которую многіе ученые любятъ выставять на показъ и которая такъ способна снискивать благоговѣніе толпы.

Могутъ замѣтить, что самая основательность приобретенной Тютчевымъ образованности достаточно предохраняла его отъ искушеній того мелкаго тщеславія, которое въ состояніи довольствоваться поверхностными успѣхами въ свѣтѣ или дешевою популярностью въ полуневѣжественныхъ кругахъ. Но для Тютчева, при богатствѣ его знанія и даровъ, существовала возможность искушеній болѣе высшаго порядка. Ему естественно было пожелать для себя не только извѣстности, но и славы. Десятой доли его свѣдѣній и талантовъ было бы довольно иному для того, чтобъ сумѣть приобрести почести и значеніе, занять выгодную общественную позицію, стать оракуломъ и прогремѣть, особенно въ нашемъ отечествѣ. Примѣромъ можетъ служить одинъ изъ современниковъ Тютчева, Чаадаевъ, страдавшій именно избыткомъ того, въ чемъ у Тютчева былъ недостатокъ, — человекъ безспорно умный и просвѣщенный, хотя значительно уступавшій Тютчеву и въ умѣ и въ познаніяхъ, человекъ, которому отведено даже мѣсто въ исторіи нашего общественнаго развитія, который постоянно позировалъ съ немалымъ успѣхомъ въ Московскомъ обществѣ и съ подобающею важною принималъ поклоненіе себѣ, какъ кумиру. Но именно важности никогда и не напускалъ на себя Тютчевъ. Если бы онъ хоть сколько-нибудь о томъ постарался, молва о немъ прошумѣла бы въ Россіи еще въ первой половинѣ его жизни, и слава умнаго человека и поэта не осѣнила бы его такъ поздно, и притомъ въ предѣлахъ только избранныхъ круговъ Русскаго общества. Отъ времени до времени доходили, конечно, о немъ, чрезъ Русскихъ путешественниковъ, извѣстія и въ Россію, подобные отзыву Кирѣевскаго; но тѣмъ не менѣе имя его въ отечествѣ долго оставалось невѣдомымъ, и даже Жуковский, если не ошибаемся, уже въ 1841 году, встрѣтаясь съ Тютчевымъ гдѣ-то за границею, писалъ о немъ какъ о какомъ-то неожиданномъ, пріятномъ открытіи. Мы уже знаемъ, какъ хлопоталъ онъ о своей стихотворческой извѣстности!... Все

блестящее соединеніе даровъ было у Тютчева какъ бы оправлено *скромностью*, но скромностью особаго рода, не составлявшеюся на видъ и въ которой не было ни малѣйшей умышленности или аффектаціи. Эта замѣчательная психическая черта требуетъ пристальнаго разсмотрѣнія.

Если, несмотря на все соблазны свѣта и увлеченія сердца, Тютчевъ даже и въ молодости постоянно расширялъ кругозоръ своей мысли и свои познанія, которымъ такъ дивились потомъ и Русскіе, и иностранцы,—все же было бы ошибкою предполагать здѣсь, съ его стороны, какое-либо дѣйствіе воли, нравственный подвигъ, побѣду надъ искушеніями, и т. п. Нисколько. Лѣнивый, избалованный съ дѣтства, непривыкшій къ обязательному труду, но притомъ совершенно равнодушный къ внѣшнимъ выгодамъ жизни, онъ только свободно подчинялся влеченіямъ своей, въ высшей степени интеллектуальной природы. Онъ только утолялъ свой врожденный, всегда томившій его, умственный голодъ. Съ наслажденіемъ вкушалъ онъ отъ готовой трапезы знанія и разумія, но никогда не удовлетворялся ею вполне; никогда не испытывалъ того самодовольства сытости, которое съ такою пріятностью ощущаютъ умы менѣе требовательные... Вообще всякое самодовольство было ненавистно его существу.

Въ томъ-то и дѣло, что этотъ человѣкъ, котораго многіе, даже изъ его друзей, признавали, а можетъ быть признаютъ еще и теперь, за «хорошаго поэта» и сказателя острыхъ словъ, а большинство—за свѣтскаго говоруна, да еще самой пустой, праздної жизни,—этотъ человѣкъ, рядомъ съ мѣткимъ изящнымъ остроуміемъ, обладалъ умомъ необычайно строгимъ, прозорливымъ, не допускавшимъ никакого самообольщенія. Вообще это былъ духовный организмъ, трудно дающійся пониманію: тонкій, сложный, многострунный. Его внутреннее содержаніе было самаго серьезнаго качества. Самая способность Тютчева отвлекаться отъ себя и забывать свою личность объясняется тѣмъ, что въ основѣ его духа жило искреннее *смиреніе*: однакожъ не какъ христіанская высшая добродѣтель, а, съ одной стороны, какъ прирожденное личное и отчасти *народное* свойство (онъ былъ весь добродушіе и незлобіе); съ другой стороны, какъ постоянное философское сознаніе ограниченности человѣческаго разума,

и какъ постоянное же сознаніе своей личной нравственной немощи. Преклоняясь умомъ предъ высшими истинами Вѣры, онъ возводилъ *смирненіе* на степень философско-нравственнаго историческаго принципа. Поклоненіе человѣческому я было вообще, по его мнѣнію, тѣмъ *лживымъ* началомъ, которое легло въ основаніе историческаго развитія современныхъ народныхъ обществъ на Западѣ. Мы увидимъ, какъ рѣзко изобличаетъ онъ въ своихъ политическихъ статьяхъ это гордое самообожаніе разума, связывая съ нимъ объясненіе Европейской революціонной эры, и какъ, наоборотъ, возвеличиваетъ онъ значеніе духовно-нравственныхъ стихій Русской народности. Понятно, что если такова была точка отпавленія его философскаго міросозерцанія, то тѣмъ менѣе могло быть имъ допущено поклоненіе своему личному я. При всемъ томъ его скромность относительно своей личности не была въ немъ чѣмъ-то усвоеннымъ, сознательно пріобрѣтеннымъ. Его я само собою забывалось и утопало въ богатствѣ внутренняго міра мысли; умалялось до исчезновенія въ виду Откровенія Божія въ исторіи, которое всегда могущественно приковывало къ себѣ его умственные взоры. Вообще его умъ, непрерывно питаемый и обогащаемый знаніемъ, *постоянно мыслилъ*. Каждое его слово сочилось мыслью. Но такъ какъ, съ тѣмъ вмѣстѣ, онъ былъ поэтъ, то его процессъ мысли не былъ тѣмъ отвлеченнымъ, холоднымъ, логическимъ процессомъ, какимъ онъ является, напримѣръ, у многихъ мыслителей Германіи: нѣтъ, онъ не разобщался въ немъ съ художественно-поэтической стихіею его души и весь насквозь проникался ею. При этомъ его уму была въ сильной степени присуща *иронія*,—но не ѣдкая иронія скептицизма и не злая насмѣшка отрицанія, а какъ свойство, нерѣдко встрѣчаемое въ умахъ особенно крѣпкихъ, всестороннихъ и зоркихъ, отъ которыхъ не ускользаютъ, рядомъ съ важными и несомнѣнными, комическія и двусмысленныя черты явленій. Въ ироніи Тютчева не было ничего грубаго, желчнаго и оскорбительнаго; она была всегда остра, игрива, изящна и особенно тонко задѣвала замашки и обольщенія человѣческаго самолюбія. Конечно, при такомъ свойствѣ ума, не могли же иначе, какъ въ ироническомъ свѣтѣ, представляться ему и самолюбивыя поползновенія его собственной личности, если они только когда-нибудь возникали.

Но кромѣ того, его я уничтожалось и подавлялось въ немъ, какъ мы уже сказали, сознаниемъ недосягаемой высоты христіанскаго идеала и своей неспособности къ напряженію и усилю. Потому что, рядомъ съ его, такъ сказать, *безкорыстною*, безличною жизнью мысли, была другая область, гдѣ обрѣталъ онъ самого себя всецѣло, гдѣ онъ жилъ только для себя, всю полнотою своей личности. То была жизнь сердца, жизнь чувства, со всѣми ея заблужденіями, тревоженіями, муками, поэзіей, драмою страсти; жизнь, которой впрочемъ онъ отдавался всякій разъ не иначе, какъ въ слѣдствіе самаго искренняго, внезапно овладѣвшаго имъ увлеченія,—отдавался безъ умысла и безъ борьбы. Но она была у него про себя, не была предметомъ похвалы и ликованія, всегда обращалась для него въ источникъ тоски и скорби, и оставляла болѣзненный слѣдъ въ его душѣ.

Душа моя—элизіумъ тѣней,  
Тѣней безмолвныхъ, свѣтлыхъ и прекрасныхъ,  
Ни замысламъ години буйной сей,  
Ни радостямъ, ни горю непричастныхъ.  
Душа моя—элизіумъ тѣней,  
Что общаго межъ жизнью и тобою?...

Такъ высказывается онъ самъ въ своихъ стихахъ. Замыслы, радости и горе години не переставали однакожъ занимать и тревожить его умъ; страстные увлеченія сердца не ослабляли дѣятельности его философской мысли, но они тѣмъ не менѣе вносили тягостное раздвоеніе въ его бытіе. Ничто не могло омрачить въ немъ сознанія правды. Немерцающій свѣточъ ума и совѣсти постоянно разоблачалъ предъ нимъ всю тьму противорѣчій между признаваемымъ, сочувственнымъ его душѣ, нравственнымъ идеаломъ и жизнью; между возвышенными запросами и отвѣтомъ.

О, вѣщая душа моя,  
О, сердце полное тревоги,  
О, какъ ты бьешься на порогъ  
Какъ-бы двойнаго бытія!...

Этотъ крикъ сердечной боли, какъ бы невольно вырвавшийся изъ груди поэта, разрѣшается, чрезъ нѣсколько строкъ,

воплемъ скорби и вѣрующаго смиренія въ слѣдующихъ стихахъ:

Пустой страдальческую грудь  
Волнуютъ страсти роковыя—  
Душа готова, какъ Марія,  
Къ ногамъ Христа навѣкъ прильнуть...

Самая способность смиренія, этой силы очищающей, уже служить залогомъ высшихъ свойствъ его природы. Біографу Тютчева нѣтъ затѣмъ никакой надобности входить въ подробности этой стороны его существованія болѣе чѣмъ сколько нужно для разумѣнія его нравственнаго облика и сокрытыхъ мотивовъ его поэзіи... Но не въ одной этой области томился онъ внутреннимъ раздвоеніемъ и душевными муками.

Умъ сильный и твердый — при слабодушіи, при безсиліи воли, доходившемъ до немощи; умъ зоркій и трезвый — при чувствительности нервовъ самой тонкой, почти женской, — при раздражительности, воспламенимости, однимъ словомъ, при творческомъ процессѣ души поэта, со всѣми ея мгновенно вспыхивающими призраками и самообманомъ; умъ дѣятельный, не знавшій ни отдыха, ни истомы — при совершенной неспособности къ дѣйствию, при усвоенныхъ съ дѣтства привычкахъ лѣни, при неодолимомъ отвращеніи къ вѣншему труду, къ какому бы то ни было принужденію; умъ постоянно голодный, пытливый, серьезный, сосредоточенно проникавшій во всѣ вопросы исторіи, философіи, знанія; душа ненасытно жаждущая наслажденій, волненій, разсѣянія, страстно отдававшаяся впечатлѣніямъ текущаго дня, такъ что къ нему можно было бы примѣнить его собственные стихи про творенія природы весною:

Ихъ жизнь, какъ океанъ безбрежный,  
Вся въ настоящемъ разлита...

Духъ мыслящій, неуклонно сознающій ограниченность человѣческаго ума, но въ которомъ сознаніе и чувство этой ограниченности недовольно восполнялись живительнымъ началомъ вѣры; вѣра, признаваемая умомъ, призываемая сердцемъ, но не владѣвшая ими всецѣло, не управлявшая волею, недостаточно освящавшая жизнь, а потому не вносившая въ

нее ни гармонія, ни единства.... Въ этой двойственности, въ этомъ противорѣчїи и заключался трагизмъ его существованія. Онъ не находилъ ни успокоенія своей мысли, ни мира своей душѣ. Онъ избѣгалъ оставаться наединѣ съ самимъ собою, не выдерживалъ одиночества, и какъ ни раздражался «безсмертной пошлостью людской», по его собственному выраженію, однако не въ силахъ былъ обойтись безъ людей, безъ общества, даже на короткое время.

Только поэтическое творчество было въ немъ цѣльно: мы это увидимъ при подробной характеристикѣ его какъ поэта. Но оно, вслѣдствіе именно этой сложности его духовной природы, не могло быть въ немъ продолжительно, и вслѣдъ за мгновеніемъ творческаго наслажденія, онъ уже стоялъ выше своихъ произведеній, онъ уже не могъ довольствоваться этими неполными, и потому не совсѣмъ вѣрными, по его сознанію, отголосками его думъ и ощущеній; не могъ признавать ихъ за *дѣланіе* достаточно важное и цѣнное, достойно отвѣчающее требованіямъ его ума и таланта. А что требованія эти бывали велики, тревожили иногда его собственную душу съ настойчивостью и властью, что пламень таланта порою жегъ его самого и стремился вырваться на волю; что эти высокіе призывы, остававшіеся неудовлетворенными, наводили на него припадки меланхоліи и унынія, особенно въ тридцатыхъ годахъ его жизни, во время пребыванія за границей, гдѣ впервые, вдали отъ отечества, зашевелились и заговорили въ немъ всѣ силы его дарованій, гдѣ не могъ онъ порою не тяготиться своимъ одиночествомъ,—обо всемъ этомъ мы узнаемъ, отчасти, изъ сохранившихся писемъ его первой жены. Именно ради разсѣянія и отпросился онъ въ плаваніе, съ дипломатическими депешами, къ Іоническимъ островамъ. Объ этомъ свидѣлствуютъ также написанныя около того же времени слѣдующія два стихотворенія, представляющія, кромѣ своего высокаго достоинства, психологическій и біографическій интересъ. Первое изъ нихъ то самое *Silentium*, которое, напечатанное въ 1835 году въ Молвѣ, не обратило на себя никакого вниманія и въ которомъ такъ хорошо выражена вся эта немощъ поэта—передать точными словами, логическою формулою рѣчи, внутреннюю жизнь души въ ея полнотѣ и правдѣ:

Молчи, скрывайся и таи  
И чувства, и мечты свои!  
Пуškai въ душевной глубинѣ  
И всходить и зайдутъ онѣ,  
Какъ звѣзды ясныя въ ночи:  
Любуйся ими и молчи.

Какъ сердцу высказать себя?  
Другому какъ понять тебя?  
Пойметъ ли онъ, чѣмъ ты живешь?  
Мысль изреченная есть ложь;  
Взрывая—возмутитъ ключи:  
Питайся ими и молчи.

Лишь жить въ самомъ себѣ умѣй!  
Есть цѣлый міръ въ душѣ твоей  
Таинственно-волшебныхъ думъ:  
Ихъ заглушить наружный шумъ,  
Дневные ослѣплять лучи,—  
Внимай ихъ пѣню—и молчи

Въ другомъ превосходномъ стихотвореніи эта тоска доходитъ уже до своего высшаго выраженія \*):

Какъ надъ горячею золой  
Дымится свитокъ и сгараеть,  
И огонь сокрытый и глухой  
Слова и строки пожираеть,—

Такъ грустно тлится жизнь моя  
И съ каждымъ днемъ уходитъ дымомъ;  
Такъ постепенно гасну я  
Въ однообразьи нестерпимомъ.

О Небо! еслибы хотъ разъ  
Сей пламень развился по волѣ,  
И не томясь, не мучась долѣ,  
Я просіялъ бы — и погасъ!

Но и потомъ, гораздо позднѣе, нерѣдко вслѣдъ за игривымъ, шутливымъ словомъ, можно было подслушать какъ бы

---

\*) Оно напечатано въ Современникѣ въ 1836 году.

невольные стоны, исторгавшіеся изъ его груди. Его умъ сверкалъ ироніей,—его душа ныла.... А между тѣмъ не было, по-видимому, человѣка пріятнѣе и любезнѣе. Его присутствіемъ оживлялась всякая бесѣда; неистощимо сыпались блестящіе его чарующаго остроумія; жадно подхватывались окружающими его мѣткія изрѣченія, изъ которыхъ каждое было въ своемъ родѣ артистическимъ издѣліемъ самой тонкой, узорчатой, художественной чеканки; онъ плѣнялъ и утѣшалъ все внимлющее ему общество. Но вотъ, внезапно, неожиданно скрывшись, онъ—на обратномъ пути домой; или вотъ онъ, съ накинутымъ на спину пледомъ, бродитъ долгіе часы по улицамъ Петербурга, не замѣчая и удивляя прохожихъ.... Тотъ ли онъ самый?...

Стройнаго, худощаваго сложенія, небольшого роста, съ рѣдкими, рано посѣдѣвшими волосами, небрежно осѣнявшими высокій, обнаженный, необыкновенной красоты лобъ, всегда оттѣненный глубокою думою; съ разсѣяніемъ во взорѣ, съ легкимъ намекомъ ироніи на устахъ,—хилый, немощный и по наружному виду, онъ казался влачившимъ тяжелое бремя собственныхъ дарованій, страдавшимъ отъ нестерпимаго блеска своей собственной, неугомонной мысли. Понятно теперь, что въ этомъ блескѣ тонули для него, какъ звѣзды въ сіяніи дня, его собственные поэтическія творенія. Понятны его пренебреженіе къ нимъ и такъ-называемая авторская скромность.

Таковъ былъ этотъ своеобразный, высокодаровитый, смѣлый и смиренный мыслитель и поэтъ; таковъ былъ этотъ замѣчательный человѣкъ, неотразимо привлекательный изяществомъ всѣхъ проявленій своего духа,—самымъ сочетаніемъ силы и слабости.

### III.

Двадцати-двух-лѣтнее пребываніе Тютчева за границею; частое посѣщеніе всѣхъ центровъ умственной дѣятельности; постоянное вращеніе въ высшемъ иностранномъ обществѣ; знакомство и бесѣды со всѣми современными свѣтилами науки и искусства—все это не могло не дать и дѣйствительно дало Тютчеву тотъ особый яркій отпечатокъ общеевропейской образованности, которымъ поражался всякій при первой съ нимъ

встрѣчѣ. Но быть «человѣкомъ Европейскимъ» еще не значить быть Русскимъ. Напротивъ: самое двадцати-двух-лѣтнее пребываніе Тютчева въ Западной Европѣ позволяло предполагать, что изъ него выйдетъ не только «Европеецъ,» но и «Европеистъ,» т. е. приверженецъ и проповѣдникъ теорій Европеизма — иначе поглощенія Русской народности западною, «общечеловѣческою» цивилизаціей. Если сообразить всю обстановку Тютчева во время его житія за границею, то кажется судьба какъ-бы умышленно подвергала его испытанію. Нельзя было придумать, ни сосредоточить въ такомъ множествѣ, болѣе благоприятныхъ условій для совращенія Русскаго юноши, если не въ Нѣмца или Француза, то *въ иностранца вообще*, безъ народности и отечества. Въ самомъ дѣлѣ, вспомнимъ, какъ сильно было обаяніе западнаго просвѣщенія на умы въ самой Россіи пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ, когда Тютчевъ въ первый разъ переселился изъ Москвы въ Мюнхенъ. Вспомнимъ, что съ 18-лѣтнаго возраста ему пришлось воспитываться и вырабатываться совершенно одному, безъ всякой поддержки изъ Россіи, со всѣхъ сторонъ объятому чужеземною стихіей, подъ ежечаснымъ, непосредственнымъ, могучимъ воздѣйствіемъ Европейской гражданственности. Мы уже выразились выше, что переѣздъ Тютчева за границу равнялся совершенному разрыву съ отечествомъ. И точно: въ теченіи 22-хъ лѣтъ своего пребыванія въ чужихъ краяхъ онъ только четыре раза побывалъ въ Россіи, большею частью на короткій срокъ, и всѣ его личныя заочныя съ нею сношенія едвали не ограничивались перепискою съ своими родными, при томъ неисправною и вовсе не литературнаго свойства. Стихотворные вклады въ Русскіе альманахи и журналы не радовали его успѣхомъ; а въ тѣ длинные промежутки, когда прерывалось печатаніе его стихотвореній, прекращалась и эта слабая его связь съ отечествомъ: подъ конецъ имя его почти забывается; онъ какъ бы перестаетъ существовать для Россіи. Самое дипломатическое поприще, на которое онъ вступилъ, менѣе всего было способно воспитать въ немъ Русскаго человѣка. «Национальность въ политикѣ» не была еще тогда тѣмъ моднымъ, хотя подчасъ и мнимымъ девизомъ дипломатіи, какъ въ наше время; политическіе интересы понимались большею частью съ ихъ

внѣшней, нерѣдко случайной стороны; ихъ представителями и защитниками отъ имени Русскаго государства бывали нерѣдко иностранцы, или же такіе Русскіе, которые не много болѣе иностранцевъ были знакомы съ Русскою землею и Русскимъ языкомъ, и изъ которыхъ иные, служа лѣтъ по 30 за границую, уже и вовсе не способны были разумѣть двинувшуюся впередъ Россію. Вообще, такъ-называемый дипломатическій кругъ, при каждомъ дворѣ, представлялъ въ то время (можетъ быть, представляетъ и теперь) такую общественную международную почву, на которой, при содѣйствіи общаго условнаго языка и общихъ условныхъ формъ, всего легче стиралось въ людяхъ клеймо народности, особенно въ Русскихъ чиновникахъ, почти всегда зараженныхъ суевѣрнымъ поклоненіемъ кумиру западной цивилизаціи. Въ такой-то общественный кругъ попалъ Тютчевъ съ самаго ранняго возраста, и обращался въ немъ безъ перерыва почти цѣлую четверть вѣка... Вспомнимъ наконецъ, что тамъ, за границею, онъ женился, сталъ отцемъ семейства, овдовѣлъ, снова женился, оба раза на иностранкахъ; тамъ, на чужбинѣ, прошла лучшая пора его жизни, со всѣмъ, чѣмъ дорога человѣку его молодость, какъ онъ самъ о томъ свидѣтельствуешь въ слѣдующихъ стихахъ, написанныхъ имъ уже въ 1846 году, когда, послѣ смерти отца, онъ посѣтилъ свое родное село Овстугъ, гдѣ родился и провелъ дѣтскіе годы:

И такъ опять увидѣлся я съ вами,  
Мѣста немилыя, хоть и родныя,  
Гдѣ мыслилъ я и чувствовалъ впервые,  
И гдѣ теперь туманными очами,  
При свѣтѣ вечерѣющаго дня,  
Мой дѣтскій возрастъ смотритъ на меня.

О, бѣдный призракъ, немощный и смутный,  
Забытаго, загадочнаго счастья!  
О, какъ теперь, безъ вѣры и участя,  
Гляжу я на тебя, мой гость минутный!  
Куда какъ чуждъ ты сталъ въ моихъ глазахъ,  
Какъ братъ меньшей, умершій въ пеленахъ.

Ахъ нѣтъ! не здѣсь, не этотъ край безлюдный  
Былъ для души моей родимымъ краемъ;

Не здѣсь прошелъ, не здѣсь былъ величаемъ  
Великій праздникъ молодости чудной!..

Ахъ, и не въ эту землю я сложилъ  
То, чѣмъ я жилъ и чѣмъ я дорожилъ!

Припомнимъ, наконецъ, что въ эти 22 года онъ почти не слышитъ Русской рѣчи, а по отъѣздѣ Хлопова и совсѣмъ лишается того немногаго, хотя и благотворнаго соприкосновенія съ Русскою бытовою жизнью, которое доставляло ему присутствіе его дядьки въ Мюнхенѣ. Его первая жена ни слова не знала по-русски, также какъ и вторая, выучившаяся Русскому языку уже по переселеніи въ Россію (и собственно для того, чтобъ понимать стихи своего мужа): слѣдовательно самый языкъ его домашнего быта былъ чуждый. Съ Русскими путешественниками бесѣда происходила, по тогдашнему обычаю, всегда по-французски; по-французски же, исключительно, велась и дипломатическая корреспонденція, и его переписка съ родными.

Какимъ-же непостижимымъ откровеніемъ внутренняго духа далась ему та чистая, Русская, сладковзвучная, мѣрная рѣчь, которою мы наслаждаемся въ его поэзіи? Какимъ образомъ тамъ, въ иноземной средѣ, могъ создаться въ немъ Русскій поэтъ — одно изъ лучшихъ украшеній Русской словесности?.. Конечно, языкъ — стихія природная, и Тютчевъ уже передъ отъѣздомъ за границу владѣлъ вполне основательнымъ знаніемъ родной рѣчи. Но для того, чтобы не только сохранить это знаніе, а стать хозяиномъ и творцомъ въ языкѣ, хотя и родномъ, однако изъятomъ изъ ежедневнаго употребленія; чтобы возвести свое поэтическое, Русское слово до такой степени красоты и силы, при чужезычной двадцати-двухлѣтней обстановкѣ, когда поэту даже некому было и повѣдать своихъ твореній... для этого нужна была такая самобытность духовной природы, которой нельзя не дивиться.

Но еще поразительнѣе, чѣмъ въ Тютчевѣ-поэтѣ, сказывается намъ эта самобытность духовной природы въ Тютчевѣ какъ мыслителѣ. Невольно недоумѣваешь, какимъ чудомъ, при извѣстныхъ намъ внѣшнихъ условіяхъ его судьбы, не только не угасло въ немъ Русское чувство, а разгорѣлось въ широкій, упорный пламень, — но еще кромѣ того, сло-

жился и выработался цѣлый твердый философскій строй національныхъ воззрѣній. Мы высоко цѣнимъ значеніе непосредственныхъ бытовыхъ вліяній и уже указывали на ихъ присутствіе въ жизни Тютчева; но нельзя же въ самомъ дѣлѣ умильной заботливости Николая Аванасьевича и благочестивымъ народнымъ обычаямъ Екатерины Львовны присвоивать слишкомъ сильную нравственную власть надъ умственнымъ развитіемъ такого «Европейскаго человѣка», какимъ считался и былъ нашъ покойный писатель. Къ тому же эти бытовые вліянія у насъ, въ Россіи, одинаково существовали для всѣхъ, т. е. въ равной мѣрѣ и для людей, которые въ послѣдствіи отнеслись къ нимъ съ презрѣніемъ, назвались «западниками» и рѣшительно отвергли у Русской народности всякое право на самостоятельность. Преданія дѣтства и домашнего быта могли, конечно, согрѣвать душу и питать въ Тютчевѣ природное Русское чувство, — но по видимому и только. Еще сильнѣе способны были заронить въ немъ неугасимую искру *патріотизма* воспоминанія о 1812 годѣ и слава, вѣнчавшая Россію по умирненіи Европы. Но любовь къ отечеству, сама по себѣ, также не болѣе какъ чувство, и притомъ присущее каждому человѣческому естеству въ каждомъ народѣ, — чувство не разсуждающее, не нуждающееся ни въ какихъ отвлеченныхъ основаніяхъ. Непосредственная любовь къ *родинѣ* сталкивалась къ тому же у Тютчева, какъ мы видѣли изъ приведенныхъ выше стиховъ, съ другими, еще болѣе сильными влеченіями: то былъ «милый сердцу край», въ которомъ праздновалъ онъ праздникъ молодости и любви, гдѣ протекли самые золотые годы его жизни, совершенно заслонившіе для него годы дѣтства. Здѣсь слѣдуетъ замѣтить кстати, что 22 года, проведенные среди не поддѣльной, а *истой* Европейской гражданственности, наложили неизгладимую печать на всю, такъ сказать, внѣшнюю сторону его существа: по своимъ привычкамъ и вкусамъ онъ былъ вполне «Европеецъ», и Европеецъ самой высшей пробы, со всѣми духовными потребностями, воспитываемыми западною цивилизаціей. Удобства и средства, доставляемые заграничнымъ бытомъ для удовлетворенія этихъ потребностей, были ему, разумѣется, дороги. Его не переставала также манить къ себѣ, по возвращеніи

въ Россію, роскошная природа Южной Германіи и Италіи, среди которой онъ прожилъ съ 18-ти до 40 лѣтнаго возраста. Такъ, пріѣхавъ въ 1844 году въ Петербургъ на окончательное водвореніе, онъ въ Ноябрь же мѣсяцъ того года, рисуя въ стихахъ картину Невы зимнею ночью, прибавляетъ къ этой картинѣ слѣдующія строфы:

Я вспомнилъ, грустно молчаливъ,  
Какъ въ тѣхъ странахъ, гдѣ солнце грѣетъ,  
Теперь на солнцѣ пламенѣтъ  
Роскошный Генуи заливъ...  
О Сѣверъ, Сѣверъ-чародѣй,  
Иль я тобою очарованъ,  
Иль въ самомъ дѣлѣ я прикованъ  
Къ гранитной полосѣ твоей?  
О еслибъ мимолетный духъ,  
Во мглѣ вечерней тихо вѣя,  
Меня унесъ скорѣй, скорѣе  
Туда, туда, на теплый Югъ!..

Та же мысль выражена и во многихъ другихъ стихотвореніяхъ, напримѣръ:

Давно-ль, давно-ль, о Югъ блаженный,  
Я зрѣлъ тебя лицомъ къ лицу,  
И какъ Эдемъ ты растворенный  
Доступенъ былъ мнѣ пришлецу?  
Давно-ль,—хотя безъ восхищенья,  
Но новыхъ чувствъ не даромъ полнъ,—  
Я тамъ заслушивался пѣнья  
Великихъ средиземныхъ волнъ?

И пѣснь ихъ, какъ во время оно,  
Полна гармоніи была,  
Когда изъ ихъ роднаго лона  
Киприда свѣтлая всплыла.  
Онѣ все тѣ же и понынѣ,  
Все также блещутъ и звучать;  
По ихъ лазоревой равнинѣ  
Родные призраки скользятъ.

Но я... я съ вами распростился,  
Я вновь на Сѣверъ увлеченъ;  
Вновь надо мною опустился  
Его свинцовый небосклонъ.  
Здѣсь воздухъ колетъ: снѣгъ обильный  
На высотахъ и въ глубинѣ,  
И холодъ, чародѣй всеильный,  
Одинъ господствуетъ вполнѣ...

Или вотъ еще отрывокъ:

Вновь твои я вижу очи,  
И одинъ твой нѣжный взглядъ  
Биммерійской грустной ночи  
Вдругъ развѣялъ сонный хладъ.  
Воскресаетъ предо мною  
Край иной—р о д и м ы й край,  
Словно прадѣдовъ виномъ  
Для сыновъ погибшій рай...  
Сновидѣнемъ безобразнымъ  
Скрылся Сѣверъ роковой;  
Сводомъ легкимъ и прекраснымъ  
Свѣтитъ небо надо мной.  
Снова жадными очами  
Свѣтъ живительный я пью  
И подъ чистыми лучами  
Край волшебный узнаю.

Напротивъ того, Русская природа, Русская деревня не обладали для него живою притягательною силою, хотя онъ понималъ и высоко цѣнилъ — ихъ, такъ сказать, внутреннюю, духовную красоту. Онъ даже въ теченіи двухъ недѣль не въ состояніи былъ переносить пребыванія въ Русской деревенской глуши, на примѣръ въ своемъ родовомъ помѣстьѣ Брянскаго уѣзда, куда почти каждое лѣто переѣзжала на житье его супруга съ дѣтьми. Не получать каждое утро новыхъ газетъ и новыхъ книгъ, не имѣть ежедневнаго общенія съ образованнымъ кругомъ людей, не слышать около себя шумной общественной жизни — было для него невыносимо. Хозяйственные интересы, какъ легко можно повѣрить,

для него вовсе не существовали. Вѣдая свою «непрактичность», онъ и не заглядывалъ въ управленіе имѣніемъ. Даже мудроно себѣ и вообразить Тютчева въ Русскомъ селѣ, между Русскими крестьянами, въ сношеніяхъ и бесѣдахъ съ мужикомъ. Такъ, казалось, мало было между ними общаго...

А между тѣмъ Тютчевъ положительно пламенѣлъ любовью къ Россіи: какъ ни высокопарно кажется это выраженіе, но оно вѣрно... И вотъ опять новое внутреннее противорѣчіе — въ дополненіе къ тому множеству противорѣчій, которымъ, какъ мы видѣли, осложнялось все его бытіе!

Но если подѣ «любовью къ Россіи,» понимать то же, что обыкновенно разумѣется подѣ словомъ «патріотизмъ,», то здѣсь почти нѣтъ и мѣста противорѣчію. Потому что «патріотизмъ,» въ которомъ никогда въ Россіи не было недостатка, именно-то въ Россіи вовсе и не означалъ ни уваженія, ни даже простаго сочувствія къ Русской народности. Отстаивая съ безпримѣрнымъ мужествомъ политическое существованіе Русскаго государства, патріотизмъ не выдерживалъ столкновенія съ нравственнымъ натискомъ. Западной Европы и, охраняя цѣлость внѣшнихъ предѣловъ, трусливо *пасовалъ* и поступался Русскою національностью въ области бытовой и духовной... Что могъ, — казалось, — кромѣ *чувства* любви къ отечеству, противопоставить молодой Тютчевъ, переѣхавъ въ чужіе края, враждебному къ Русской народности, авторитету Европейской цивилизаціи, всѣмъ этимъ непріязненнымъ умственнымъ силамъ, во всеоружіи науки, знанія, крѣпкихъ системъ? Что способна была ему дать, чѣмъ напутствовать его, въ ѳны годы, Россія?

Не кстати ли будетъ здѣсь обновить нѣсколько въ памяти тотъ двадцати-двух-лѣтній періодъ Русской исторической жизни и общественнаго самосложенія, который совершился внѣ всякаго участія и вдали отъ Тютчева — и въ то же время безъ всякаго съ своей стороны воздѣйствія на развитіе самаго поэта?

Періодъ съ 1822 по 1844 годъ былъ важною эпохою во внутренней исторіи нашего отечества. Въ 1822 году воспоминанія 12-го года и послѣдовавшихъ за нимъ славныхъ для Россіи событій были еще во всей своей животрепещущей силѣ. Высокій жребій умиротворенія Европы, выпавшій на

долю Александра I-го, превозмогъ въ немъ власть народныхъ инстинктовъ. Верховнаго вождя Русскаго народа перевѣшивалъ безкорыстный Европеецъ, устроитель Европейскихъ судебъ, непричастный національному эгоизму... Въ обществѣ, возбужденное войною патріотическое чувство, защитившее внѣшнюю независимость Русской земли, еще не доросло до притязаній на ея духовную независимость. Русская мысль еще не вчинала подвига народнаго самосознанія. Вслѣдъ за отраженнымъ нами «нашествіемъ двудесяти языкъ», сильнѣе чѣмъ когда-либо повторилось на Россію нашествіе съ Запада: идей, теорій, доктринъ — политическихъ, философскихъ и нравственныхъ. Живое сближеніе съ Европой въ лицѣ образованнаго слоя нашей побѣдоносной арміи дало въ свою очередь побѣду надъ Русскими умами обаятельнымъ формамъ Европейской гражданственности. Въ то время, какъ наша внѣшняя государственная политика приносила въ жертву интересамъ Европейскаго равновѣсія и покоя политическіе интересы Россіи, отказывая въ поддержкѣ Грекамъ и Сербамъ, — Русское общество, расколыхавшись какъ море отъ разразившейся надъ Россіею великой исторической бури, представляло зрѣлище необычайнаго умственного броженія. Смутно чувствуя ложь своего историческаго пути и всего общественнаго строя, оно не умѣло еще додуматься до настоящей причины этой лжи, и обходя или не вѣдая про свой народъ и свою народность, искало разрѣшенія томившимъ его задачамъ въ чужой исторической жизни. Подъ вліяніемъ иностранныхъ образцовъ, это броженіе принимало формы то тугендбундовъ, то иныхъ подобныхъ союзовъ, пока наконецъ не превратилось въ политическій заговоръ. Событіе 14-го Декабря снесло съ Русской земли цвѣтъ высшаго образованнаго общества. Началось новое царствованіе и съ нимъ новый періодъ внутренняго развитія. Русский кабинетъ по прежнему пекся объ Европѣ, но уже безъ «галантерейнаго обращенія» Александровской эпохи: новый царь держалъ имя Россіи грозно. Мятежъ Декабристовъ обличилъ историческую несостоятельность политическихъ иностранныхъ идеаловъ, насильственно переносимыхъ на Русскую почву; фальшивые призраки будущаго переустройства Россіи на Европейскій фасонъ, — которыми тѣшилось не-

зрѣлое, порвавшее съ народными преданіями Русское общество, были разбиты. Давленіе сверху, стѣсняя всякую виѣшнюю общественную дѣятельность, вогнало Русскую мысль внутрь...

Дѣйствительно, мы видимъ, что Русская словесность, — въ которой, при отѣздѣ Тютчева за границу, еще господствовали Французскіе литературные авторитеты, вмѣстѣ съ самыми жалкими и дѣтскими эстетическими теоріями, — мало по малу пробуетъ освобождаться и наконецъ освобождается совсѣмъ изъ оковъ псевдо-классицизма и подражательности. Геній Пушкина ищетъ содержанія въ народной жизни. Настаетъ Гоголь: неумолимо разоблачена духовная скудость и нравственная пошлость нашего общественного строя; все живо-важное, ходульное, напыщенное въ литературномъ изображеніи и разумнѣи нашей Русской дѣйствительности исчезаетъ, какъ снѣгъ весною, отъ одного явленія этого громаднаго таланта. Въ художественномъ воспроизведеніи жизни водворяется требованіе простоты и правды (переходящее впослѣдствіи у большинства писателей въ голое обличеніе и отрицаніе). Критика въ лицѣ Бѣлинскаго (въ лучшую пору его дѣятельности) окончательно сокрушаетъ фальшивые литературные кумиры и остатки старыхъ эстетическихъ теорій.

Въ 1826 году выходитъ послѣдній томъ «Исторіи Государства Россійскаго» Карамзина. Его монументальный, хотя и не оконченный трудъ, при всемъ своемъ несовершенствѣ, пролагаетъ путь къ ближайшему знакомству съ историческимъ ростомъ Россіи, къ внимательнѣйшему изслѣдованію ея прошлыхъ судебъ. Обнародованіе актовъ, грамотъ, лѣтописей и другихъ памятниковъ древней Русской письменности, вообще изданія Археографической Комиссіи создаютъ новую эпоху въ изученіи Русской исторіи и самымъ могущественнымъ образомъ движутъ впередъ наше историческое сознаніе. Въ области отвлеченнаго умственнаго движенія, совершавшагося преимущественно въ Москвѣ, вліяніе Французскихъ мыслителей и вообще философіи XVIII вѣка смѣняется болѣе благотворнымъ, хотя иногда и очень поверхностнымъ, воздѣйствіемъ на Русскіе умы Германской науки и философіи. Русская мысль трезвѣетъ и крѣпнетъ въ строгой школѣ приѣмъ Нѣмецкаго мышленія и также пытается стать въ со-

знательное, философское отношеніе къ Русской народности. Съ одной стороны вырабатывается цѣлая стройная доктрина, какъ продуктъ высшихъ просвѣщенныхъ соображеній,—что спасеніе для Россіи заключается въ полнѣйшемъ отреченіи отъ всѣхъ народныхъ, историческихъ, бытовыхъ и религиозныхъ преданій; во главѣ этого направленія стоитъ Чаадаевъ. Съ другой, сначала одиноко и большею частью еще въ стихахъ, раздается протестъ Хомякова; къ нему примыкаетъ постепенно цѣлая дружина молодыхъ людей—изъ послѣдователей Гегелевой философіи, а потомъ и нѣсколько самостоятельныхъ мыслителей, какъ Кирѣевскіе и другіе. Общество распадается на два стана: «западниковъ» и «восточниковъ»; за послѣдними утверждается прозвище «Славянофиловъ», данное имъ въ насмѣшку Петербургскою журналистикою. Завязывается сильная, запальчивая борьба въ печати, въ рукописи, въ устныхъ бесѣдахъ, въ частныхъ домахъ, на общественныхъ сборищахъ и университетскихъ каѳедрахъ. Славянофилы устремляются къ изученію Русской народности во всѣхъ ея проявленіяхъ, къ раскрытію ея внутренняго содержанія, къ изслѣдованію ея коренныхъ духовныхъ и гражданскихъ стихій. Они, по выраженію Хомякова, «допрашиваютъ духа жизни,» сокрытаго въ нашемъ *быломъ* и хранящагося еще въ настоящемъ — т. е. въ простомъ Русскомъ народѣ. Они усматриваютъ въ немъ, въ этомъ «духѣ жизни» и въ православномъ вѣроисповѣданіи новыя просвѣтительныя начала для человѣчества, указываютъ на новыя своеобразныя основанія для соціальнаго и политическаго строя. Протестуя противъ деспотизма Петровскаго переворота и противъ всяческаго насилія надъ народною жизнью, они требуютъ для Русской земли свободы органическаго развитія, признанія правъ самой жизни, уваженія къ Русской народности и къ народу (не къ народу *вообще*, чѣмъ пробавлялись многіе наши демократы, отворачиваясь отъ Русскаго мужика или стараясь обманомъ и силою уподобить его заграничнымъ демократическимъ образцамъ, а именно къ Русскому народу и его бытовымъ основамъ). Вмѣстѣ съ тѣмъ, обвиняя Русское образованное общество въ разрывѣ съ историческими народными преданіями, въ нравственной измѣнѣ своей странѣ; обличая скудость и непроизводительность перенятаго имъ, въ

духъ рабства и подражанія, западнаго просвѣщенія, — Славянофилы проповѣдуютъ необходимость, право и обязанность для Русской народности самостоятельнаго труда и вклада въ общечеловѣческую науку, искусство и знаніе. Съ увлеченіемъ превозносятъ они историческое и духовное призваніе Россіи, какъ представительницы православнаго Востока и Славянскаго племени, и предвѣщаютъ ей великое міровое будущее. Между тѣмъ западничество, найдя себѣ опору въ Бѣлинскомъ, переселившемся въ Петербургъ, господствуетъ въ журналистикѣ, и, какъ теорія, раздѣляетъ потомъ судьбу самой Германской философіи, переходящей постепенно, въ дальнѣйшемъ своемъ развитіи, изъ идеализма въ матеріализмъ, позитивизмъ и въ другія системы нефилософскаго свойства и преимущественно Французскаго происхожденія. Въ первой половинѣ сороковыхъ годовъ, т. е. ко времени возвращенія Тютчева въ Петербургъ, борьба между обоими лагерями была въ самомъ разгарѣ.

Мы распространились о Славянофильствѣ нѣсколько подробнѣе потому, что собственное міросозерцаніе Тютчева находится съ нимъ, если не въ прямой связи, то въ соотношеніи. Замѣтимъ еще, что лично Славянофилы, какъ въ сороковыхъ годахъ, такъ и впослѣдствіи, никогда не пользовались большимъ успѣхомъ и стояли въ обществѣ особнякомъ, малымъ отрядомъ. Объ нихъ много шумѣли и кричали, издѣвались надъ ними въ стихахъ и прозѣ, выставляли ихъ на сценѣ, обвиняли въ обскурантизмѣ, взводили умышленно и неумышленно разныя небылицы, — но никто никогда не могъ отрицать ихъ гражданской независимости, откровенности ихъ рѣчей и дѣйствій, высоко-нравственнаго характера ихъ ученія. Самое это ученіе, въ своемъ цѣломъ объемѣ, какъ ученіе, никогда не было популярнымъ, да и не было вполне сформулировано или выражено въ видѣ точнаго кодекса; Славянофильскія изданія расходились вообще въ маломъ количествѣ; ихъ журналы имѣли, сравнительно, очень немного подписчиковъ; непосредственнаго дѣйствія на массы читающаго люда они не оказывали, — но дѣйствіе ихъ на своихъ противниковъ, на такъ-называемую интеллигенцію, было неотразимо, — хотя и не быстро. Противники наконецъ догадались, что почва у нихъ изъ-подъ ногъ постепенно

уходить, враждебныя газеты и журналы стали сдаваться и принимать одно за другимъ разныя Славянофильскія положенія, — правда, видоизмѣняя, «очищая» ихъ по своему и выдавая за собственныя измышленія, но все-таки сходясь съ Славянофильствомъ хоть въ нѣкоторыхъ существенныхъ основаніяхъ. Не какъ ученіе, воспринимаемое въ полномъ объемѣ послушными адептами, а какъ направленіе, освобождающее Русскую мысль изъ духовнаго рабства предъ Западомъ и призывающее Русскую народность стать на степень самостоятельнаго просвѣтительнаго органа въ человѣчествѣ, славянофильство, можно сказать, уже одержало побѣду, т. е. заставило даже и враговъ своихъ признать себя весьма важнымъ моментомъ въ ходѣ Русской общественной мысли. Мы съ своей стороны думаемъ, что оно не только историческій моментъ уже отжитый, но и пребываетъ и пребудетъ въ исторіи нашего дальнѣйшаго умственнаго развитія — какъ предъявленный неумолкающій запросъ, какъ постоянный двигатель и указатель. Самое прозвище «славянофильство» можетъ быть покинуто и забыто; можетъ потеряться изъ виду преемственная духовная связь между первыми дѣятелями и новѣйшими; многое, совершающееся подъ общимъ воздѣйствіемъ Славянофильскихъ мнѣній, но совершающееся въ данную, извѣстную пору, при извѣстныхъ, историческихъ условіяхъ, будетъ даже уклоняться, повидимому, отъ чистоты и строгости нѣкоторыхъ Славянофильскихъ идеаловъ. Безъ сомнѣнія отжиты также тѣ крайнія увлеченія, которыя органически, такъ сказать, были связаны съ личнымъ характеромъ первыхъ проповѣдниковъ, или вызывались страстностью борьбы; нѣкоторыя, слишкомъ поспѣшно опредѣленныя формулы, въ которыхъ представлялось инымъ Славянофиламъ будущее историческое осуществленіе ихъ любимыхъ мыслей и надеждъ, оказались или окажутся ошибочными, и исторія осуществить, можетъ быть, тѣ же начала, но совсѣмъ въ иныхъ формахъ и совсѣмъ иными, неисповѣдимыми своими путями... Но тѣмъ не менѣе разъ возбужденное народное самосознаніе уже не можетъ ни исчезнуть, ни прервать начатой работы, и оправдаетъ, конечно, со временемъ многія высказанныя Славянофильствомъ положенія, кажушіяся теперь

мечтательными. — Сдѣлавъ это небольшое, но необходимое, впрочемъ, отступленіе, возвращаемся къ нашему очерку.

Россія 1822 и Россія 1844 года — какой длинный путь пройденъ Русскою мыслью! какое полное видоизмѣненіе въ умственномъ строѣ Русскаго общества! Во всемъ этомъ движеніи, этой борьбѣ, Тютчевъ не имѣлъ ни заслуги, ни участія. Онъ оставался совершенно въ сторонѣ, и къ сожалѣнію, у насъ нѣтъ ни малѣйшихъ данныхъ, которыя бы позволили судить, какъ отзывались въ немъ и внѣшнія событія, напри- мѣръ 14-ое Декабря, и т. п., и явленія духовной обще- ственной жизни, отголосокъ которыхъ все же могъ иногда доходить и до Мюнхена. Уѣхавъ изъ Россіи, когда еще не завершилось изданіе исторіи Карамзина, только что раздались звуки поэзіи Пушкина, обаяніе Франціи было еще всецѣльно, и о духовныхъ правахъ Русской народности почти не было и рѣчи, — Тютчевъ возвращается въ Россію, когда замолекъ и Пушкинъ, и другіе его спутники-поэты, когда Гоголь уже издалъ «Мертвыя Души,» когда нравственное владычество Франціи было почти совсѣмъ свергнуто, благодаря Нѣмцамъ, и толки о народности, борьба не однихъ литературныхъ, но и жизненныхъ общественныхъ направленій, занимала всѣ умы... Чтò же выработалъ за границей его умъ, такъ долго и одиноко созрѣвавшій въ Германской средѣ? Явится ли онъ «отсталымъ» для Россіи, но передовымъ представителемъ Европейской мысли? Какое послѣднее слово западнаго про- свѣщенія принесетъ онъ съ собою?

Онъ и дѣйствительно явился представителемъ Европейскаго просвѣщенія. Но велико же было удивленіе Русскаго обще- ства, и особенно тогдашнихъ нашихъ западниковъ, когда оказалось, что результатомъ этого просвѣщенія, такъ полно усвоеннаго Тютчевымъ, было не только утвержденіе въ немъ естественной любви къ своему отечеству, но и высшее ра- зумное ея оправданіе; не только вѣрованіе въ великое по- литическое будущее Россіи, но и убѣжденіе въ высшемъ міровомъ призваніи Русскаго народа и вообще духовныхъ стихій Русской народности. Тютчевъ какъ бы перескочилъ чрезъ всѣ стадіи Русскаго общественнаго двадцати-двух- лѣтняго движенія, и возвратясь изъ-за границы съ зрѣлою, самостоятельно-выношенною имъ на чужбинѣ думою, очутился

въ Россіи какъ разъ на той ступени, на которой стояли тогда передовые Славянофилы съ Хомяковымъ во главѣ. А между тѣмъ Тютчевъ вовсе не зналъ ихъ прежде, да и потомъ никогда не былъ съ ними въ особенно тѣсныхъ сношеніяхъ. Правда, онъ всегда говаривалъ, что ни съ кѣмъ встрѣча не была такъ плодотворна для его мысли, какъ именно съ Хомяковымъ и его друзьями,—и это понятно: онъ нашелъ то, чего не ожидалъ,—почти полное подтвержденіе его собственныхъ, одиноко выработанныхъ воззрѣній,—почти тождественную съ его мнѣніями систему, опиравшуюся на ближайшемъ изученіи Русской исторіи и народнаго быта,—а этого изученія ему именно и недоставало. Силою собственнаго труда, идя путемъ совершенно самостоятельнымъ, своеобразнымъ и независимымъ, безъ сочувствія и поддержки, безъ помощи тѣхъ непосредственныхъ откровеній, которыя каждый, невѣдомо для себя, почерпаетъ у себя дома, въ отечествѣ, изъ окружающихъ его стихій Церкви и быта,—напротивъ: наперекоръ окружавшей его средѣ и могучимъ вліаніямъ, — Тютчевъ не только пришелъ къ выводамъ, совершенно сходнымъ съ основными Славянофильскими положеніями, но и къ ихъ чаяніямъ и гаданіямъ,—а въ нѣкоторыхъ политическихъ своихъ соображеніяхъ явился еще болѣе *крайнимъ*. Мы не имѣемъ возможности сослѣдить постепенный ходъ его мысли за границей, но можемъ отмѣтить, даже въ началѣ его заграничнаго пребыванія, замѣчательную самобытность его ума въ отношеніи къ авторитетамъ западной науки. Такъ, мы уже указывали на свидѣтельство барона Пфефеля о томъ, что Тютчевъ еще въ тридцатыхъ годахъ нашего столѣтія постоянно спорилъ съ Шеллингомъ, котораго уже тогда занимала мысль о возможности захватить религію, въ область философіи и подчинить христіанское Откровеніе философскому толкованію и опредѣленію: Тютчевъ, какъ рассказываетъ баронъ Пфеффель, доказывалъ въ его присутствіи Шеллингу несостоятельность такой попытки и логическую необходимость признать не какую-нибудь истину Вѣры, а непременно ту, которая содержится во вселенскомъ церковномъ преданіи, равно какъ и самую идею и догматъ о церкви. Это тѣмъ болѣе замѣчательно, что Тютчевъ, при своей заграничной долгой жизни въ мѣстахъ, гдѣ не было

ни одного Русскаго храма, былъ совершенно чуждъ, въ своемъ домашнемъ быту, не только православно-церковныхъ обычаевъ и привычекъ, но даже и прямыхъ отношеній къ церковно-русской стихіи.—Вообще Тютчевъ, какъ можно заключать по нѣкоторымъ даннымъ, хотя и жадно воспринималъ въ себя сокровища западнаго знанія, но не только безъ благоговѣнія и подобострастія, а съ полною свободою и независимостью. Онъ съ самаго начала какъ бы *судилъ* Западу. Тотъ же иностранецъ приводитъ слова Тютчева по поводу борьбы Карла X-го съ народнымъ представительствомъ во Франціи, разразившейся Іюльской революціей... Тютчевъ даже и тогда проводилъ различіе между революціей какъ отпоромъ незаконной власти и революціей какъ теоріей, революціей возведенной въ право, въ принципъ. Онъ обличалъ въ этой революціи присутствіе цѣлаго новаго культа, цѣлаго революціознаго вѣроисповѣданія, которое, по мнѣнію Тютчева, связывалось съ общимъ историческимъ ходомъ философской и религіозной мысли на Западѣ. Потому Тютчевъ еще въ 1830 году предсказывалъ послѣдовательный рядъ революцій,—неминуемое наступленіе для Европы революціонной эры. Такой взглядъ въ молодомъ человѣкѣ и въ ту именно пору, когда событія Іюльскихъ дней кружили голову всей молодежи и привѣтствовались ею съ энтузіазмомъ, а учрежденіе Іюльской конституціонной монархіи во Франціи казалось, даже и болѣе зрѣлымъ головамъ, чуть не разрѣшеніемъ всѣхъ политическихъ задачъ, прочнымъ залогомъ народнаго благоденствія, высшею нормою общественнаго бытія и пр., такой взглядъ, конечно, обнаруживалъ рѣдкую самостоятельность.

Не менѣе поразительнымъ является и написанное имъ въ 1841 году посланіе къ Ганкѣ. Въ Россіи, собственно говоря въ Москвѣ, въ то время только-что начинали завязываться непосредственныя сношенія съ Славянскими племенами Австріи и Турціи; вѣрнѣе сказать, эти сношенія съ передовыми людьми Славянства существовали и раньше, но только у очень немногихъ Русскихъ ученыхъ, филологовъ, археологовъ и историковъ; починъ въ этомъ дѣлѣ принадлежалъ М. П. Погодину. Только въ началѣ сороковыхъ годовъ это стремленіе къ тѣснѣйшему сближенію съ Славянскимъ міромъ стало принимать у насъ характеръ общественный, и значе-

ніе духовной и племенной связи Россіи съ Славянами начало постепенно входить въ наше историческое самосознаніе. Но носителемъ и представителемъ такого самосознанія былъ еще очень небольшой кружокъ, тогда еще и не прозванный «Славянофильскимъ». Это Московское движеніе оставалось въ то время еще совершенно чуждымъ и едвали даже вѣдомымъ Тютчеву, и хотя идея панславизма уже бродила тогда между Западными Славянами, однакоже мало была извѣстна Нѣмцамъ, среди которыхъ жилъ Тютчевъ. Такимъ образомъ то отношеніе, въ которое Тютчевъ, мыслью и сердцемъ, сталъ къ Славянскому вопросу въ 1841 году, было его личнымъ дѣломъ; его посланіе къ Ганкѣ написано не съ чужаго голоса, а есть самостоятельный голосъ. Онъ лично посѣтилъ Прагу. Вотъ нѣсколько строкъ изъ этого посланія:

Вѣковать ли намъ въ разлукѣ?

Не пора-ль очнуться намъ

И подать другъ-другу руки,

Нашимъ братьямъ и друзьямъ?

Вѣки мы слѣпцами были,

И какъ жалкіе слѣпцы,

Мы блуждали, мы бродили.

Разбредлись во всѣ концы...

И вражды безумной сѣмя

Плодъ сторичный принесло:

Не одно погибло племя

Иль въ чужбину отошло.

Иновѣрецъ, иноземецъ

Насъ раздвинулъ, разомилъ:

Тѣхъ обезьязычилъ Нѣмецъ,

Этихъ Турокъ оскрамилъ...

Вотъ среди сей ночи темной

Здѣсь, на Пражскихъ высотахъ,

Доблій мужъ рукою скромной

Засвѣтилъ маякъ въ потьмахъ.

О, какими вдругъ лучами

Освѣтились всѣ края!..

Обличилась передъ нами

Вся Славянская земля!

Разсвѣтаетъ надъ Варшавой,  
Кіевъ очи отворилъ,  
И съ Москвой золотоглавой  
Вышеградъ заговорилъ.  
И нарѣчій братскихъ звуки  
Вновь понятны стали намъ,—  
Наяву увидать внуки  
То что снилось отцамъ!

М. П. Погодинъ, въ своей статьѣ по поводу кончины Тютчева, также свидѣтельствуетъ, что когда онъ, послѣ 20 лѣтъ разлуки съ Тютчевымъ, «увидался съ нимъ и услышалъ его въ первый разъ, послѣ всѣхъ странствій, заговорившаго о Славянскомъ вопросѣ, то не вѣрилъ ушамъ своимъ», хотя—прибавляетъ Погодинъ—«этотъ вопросъ давно уже былъ предметомъ моихъ занятій и коротко мнѣ знакомъ».

Въ томъ же 1841 году написано Тютчевымъ въ Мюнхенѣ стихотвореніе по случаю перенесенія праха Наполеона съ острова Св. Елены въ Парижъ. Это событіе вдохновило и въ Россіи многихъ нашихъ поэтовъ, въ томъ числѣ и Хомякова въ Москвѣ. Но замѣчательно то, что стихотворенія, какъ Мюнхенскаго старожила и дипломата, такъ и Москвича-славянофила, сходны между собою въ основныхъ, существенныхъ мотивахъ, которыхъ не затронули другіе поэты. И Тютчева и Хомякова воспоминаніе о Наполеонѣ приводитъ къ мысли, что сила этого гордаго генія сокрушилась не о вещественную мощь Россіи, а о нравственную силу Русскаго народа,—его смиреніе и вѣру. Наконецъ оба, по поводу завершенія, такъ сказать, Наполеонова эпоса, обращаютъ свои взоры къ пробуждающемуся Востоку.

Вотъ отрывки изъ стихотворенія Тютчева о Наполеонѣ:

Два демона ему служили,  
Двѣ силы чудно въ немъ слились:  
Въ его главѣ орлы парили,  
Въ его груди змѣи вились...  
Но освящающая сила  
Непостижимая уму,  
Его души не озарила  
И не приблизилась къ нему.

Онъ былъ земной, не Божій пламень,  
Онъ гордо плылъ, смиритель волнъ;  
Но о подводный вѣры камень  
Въ щепы разбился утлый челинъ.

И ты стоялъ—передъ тобой Россія!  
И вѣщій волхвъ, въ предчувствіи борьбы,  
Ты самъ слова промолвилъ роковыя:

«Да сбудутся ея судьбы!»...

Года прошли, и вотъ изъ ссылки тѣсной  
На родину вернувшійся мертвецъ,  
На берегахъ рѣки тебѣ любезной,  
Тревожный духъ, почилъ ты наконецъ.  
Но чутокъ сонъ и, по ночамъ тоскуя,  
Порою вставъ, ты смотришь на Востокъ...

У Хомякова:

И въ тѣ дни своей гордыни  
Онъ пришелъ къ Москвѣ святой,  
Но спалилъ огонь святыни —  
Силу гордости земной...

И потомъ:

Скатилась звѣзда съ омраченныхъ небесъ,  
Величье земное во прахъ!..  
Скажите, не утро-ль съ Востока встаетъ?  
Не новая-ль жатва надъ прахомъ растетъ? и проч.

Въ статьѣ «Россія и Германія,» написанной и напечатанной имъ за границей въ 1844 году, уже намѣчаются авторомъ, еще слегка и неполно, черты его политической и исторической думы, которой полное выраженіе мы находимъ въ его позднѣйшихъ статьяхъ, стихахъ и письмахъ. Въ этомъ письмѣ своемъ къ другу Кольбу, онъ прямо противопоставляетъ Западной Европѣ—«Европу Восточную,» т. е. Россію; онъ называетъ Россію «цѣлымъ міромъ, единымъ въ своемъ основномъ духовномъ началѣ,» «болѣе искренно-христіанскимъ, чѣмъ Западъ,» «имперією Востока, для которой первая имперія Византійскихъ кесарей служила лишь слабымъ и неполнымъ предначертаніемъ и которой остается лишь окон-

чательно сложиться, — что неминуемо, въ чемъ и заключается такъ-называемый Восточный вопросъ». Не подлежитъ сомнѣнію, что подобное политическое вѣроисповѣданіе не было въ то время еще никѣмъ заявлено въ Русской литературѣ, особенно такъ прямо и положительно, и нельзя не удивляться спокойной смѣлости, съ которою Тютчевъ рѣшился высказать его предъ лицомъ Европы. Конечно, какъ мы и выразились, мысль его въ этой статьѣ очерчена только слегка, но этотъ очеркъ какъ бы уже намекаетъ на цѣлый строй вполне выработанныхъ, проверенныхъ и усвоенныхъ себѣ авторомъ политическихъ убѣжденій.

Мы съ намѣреніемъ перечислили здѣсь всѣ документальныя данныя, свидѣтельствующія о томъ, что еще за границею, вполне самостоятельно и своеобразно, сложилось у Тютчева то Русское міросозерцаніе, которое одновременно вырабатывалось и проповѣдывалось въ Москвѣ Хомяковымъ и его друзьями, — которое навлекло на нихъ столько насмѣшекъ и прозвищъ (между прочимъ «Славянофиловъ», и «квасныхъ патріотовъ»), столько упрековъ и обвиненій (между прочимъ въ ретроградности и въ обскурантизмѣ) и приводило въ такое негодованіе нашихъ Русскихъ поклонниковъ западноевропейской цивилизаціи. Ко всему этому слѣдуетъ присоединить воспоминаніе Ю. О. Самарина о томъ, что въ началѣ сороковыхъ годовъ, еще до переселенія Тютчева въ Россію, на одномъ изъ тѣхъ Московскихъ вечеровъ, гдѣ по тогдашнему обыкновенію происходили жаркія препирательства между «Западомъ» и «Востокомъ», присутствовалъ недавно пріѣхавшій изъ Мюнхена князь Иванъ Гагаринъ и, слушая Хомякова, невольно воскликнулъ: *Je crois entendre parler Tutcheff! Le malheureux, comme il va donner là dedans!* \*) Почти никто изъ присутствовавшихъ не зналъ имени Тютчева, и это восклицаніе не обратило тогда на себя никакого вниманія. Наконецъ Тютчевъ — въ Россіи, знакомится съ Петербургскимъ и Московскимъ обществомъ, и не обинуясь, на чистѣйшемъ Французскомъ діалектѣ, не надѣвая ни мурмолки, ни святошавки, а являясь вполне Европейцемъ и свѣтскимъ человѣ-

---

\*) «Кажется, я слышу Тютчева! Несчастный, какъ онъ влѣпится во все это!»

комъ, проповѣдуетъ, на основаніи своей собственной аргументаціи, ученіе почти одинаково *дихое*, какъ и ученіе Хомякова, К. С. Аксакова и имъ подобныхъ. Рассказываютъ, что особенно забавно бывало видѣть Чаадаева и Тютчева вмѣстѣ и слушать ихъ споры. Чаадаевъ не могъ не цѣнить ума и дарованій Тютчева, не могъ не любить его, не могъ не признавать въ Тютчевѣ человѣка вполне Европейскаго, болѣе Европейскаго, чѣмъ онъ самъ, Чаадаевъ; предъ нимъ былъ уже не послѣдователь, не поклонникъ западной цивилизаціи, а сама эта цивилизація, самъ Западъ въ лицѣ Тютчева, который къ тому же и во Французскомъ языкѣ былъ такимъ хозяиномъ, какъ никто въ Россіи, и рѣдкіе изъ Французовъ.... Чаадаевъ глубоко огорчался и даже раздражался такимъ неприличнымъ, непостижимымъ именно въ Тютчевѣ заблужденіемъ, *абerrаціею*, руссоманіею ума, просвѣтившагося знаніемъ и наукою у самаго источника свѣта, непосредственно отъ самой Европы. Чаадаевъ утверждалъ, что Русскіе въ Европѣ какъ бы незаконнорожденные (*une nation bâtarde*); Тютчевъ доказывалъ, что Россія особый міръ, съ высшимъ политическимъ и духовнымъ призваніемъ, предъ которымъ долженъ со временемъ преклониться Западъ. Чаадаевъ настаивалъ на томъ историческомъ вредѣ, который нанесло будто бы Россіи принятіе ею Христіанства отъ Византіи и отдѣленіе отъ церковнаго единства съ Римомъ; Тютчевъ напротивъ именно въ Православіи видѣлъ высшее просвѣтительное начало, залогъ будущности для Россіи и всего Славянскаго міра, и полагалъ, что духовное обновленіе возможно для Запада только въ возвращеніи къ древнему вселенскому преданію и древнему церковному единству. Эту мысль свою онъ исповѣдуетъ гласно, предъ воѣмъ міромъ, въ статьѣ, напечатанной въ Парижскомъ журналѣ (*la Patrie et la Question Romaine, Revue des Deux Mondes* 1850 г.) и если не убѣдившей, то поразившей Европейскую публику необычною, даже для нея, талантливостію, глубиною, смѣлостію мысли и мастерствомъ изложенія. Чаадаевъ и его друзья «западники» признавали западно-европейскую цивилизацію единственнымъ идеаломъ для Россіи, и прогрессъ этой цивилизаціи—высшею цѣлью высшихъ стремленій человѣческаго духа; Тютчевъ обличалъ въ этой цивилизаціи оску-

дѣіе духовнаго начала и пророчилъ, что, уклонясь отъ основаній Вѣры, обызвичившись и проникнувшись принципомъ матеріализма, она дойдетъ до самоотрицанія и до самозакланія. «Западникамъ,» наконецъ, будущее Западной Европы представлялось въ самомъ розовомъ цвѣтѣ, и въ ея революціонныхъ сотрясеніяхъ они усматривали поступательное движеніе впередъ, сулили въ грядущемъ благо всему человѣчеству; Тютчевъ объявлялъ начало революціонной эры въ Европѣ началомъ ея паденія, принципомъ разрушительнымъ, а не созидательнымъ, основаннымъ на насиліи, на отрицаніи, на самообожаніи человѣческаго разума, и высказывалъ свои воззрѣнія во всеуслышаніе всей Европѣ, въ статьѣ: «La Russie et la Révolution,» напечатанной въ Парижѣ, статьѣ, которая произвела за границею сильное впечатлѣніе, которая въ извлеченіяхъ была два раза перепечатываема (съ промежуткомъ шести лѣтъ) въ *Revue des Mondes*, — не забыта даже и теперь. «Западники,» даже и демократы, съ презрѣніемъ и глумленіемъ относились къ Русскому простому народу; а Тютчевъ, — самъ, несомнѣнно, питомецъ гордаго и красиваго Запада, вотъ что способенъ былъ говорить про этотъ Русский народъ;

Эти бѣдныя селенья,  
Эта скудная природа—  
Край родной долготерпѣнья,  
Край ты Русскаго народа.

Не пойметъ и не замѣтитъ  
Гордый взоръ иноплеменный,  
Что сквозитъ и тайно свѣтитъ  
Въ наготѣ твоей смиренной

Удрученный ношей крестной  
Всю тебя, земля родная,  
Въ рабскомъ видѣ Царь Небесный  
Исходилъ благословляя...

И вотъ чего чаялъ онъ въ будущемъ этому краю смиренія и долготерпѣнія, вотъ съ какими стихами обращался поэтъ къ Россіи, во время послѣдней Восточной войны, когда почти вся христіанская Западная Европа, въ союзѣ съ Мусульма-

нами и во имя цивилизаціи, домогалась нашего уничиженія и гибели:

. . . Ложь воплотилась въ булатъ,—  
Какимъ-то Божьимъ попущеньемъ,  
Не цѣлый міръ, но цѣлый адъ  
Тебѣ грозитъ ниспроверженьемъ.

Всѣ богохульные умы,  
Всѣ богомерзкіе народы  
Со дна воздвиглись царства тьмы—  
Во имя свѣта и свободы!

Тебѣ они готовятъ плѣнь,  
Тебѣ пророчатъ посрамленіе,  
Ты—лучшихъ будущихъ временъ  
Глаголь, и жизнь, и просвѣщеніе!

Россія — глаголь, просвѣщеніе, жизнь человѣчества лучшихъ будущихъ временъ... Такъ вотъ къ какому чаюнію привело Тютчева двадцати-двух-лѣтнее воспитаніе въ Европейской умственной школѣ! Такъ вотъ на что послужили ему всѣ дары западнаго просвѣщенія!.. Только на удобреніе почвы для возвращенія Русской самостоятельной мысли, только на оправданіе и укрѣпленіе врожденнаго чувства любви къ Россіи!.. Здѣсь опять нельзя не поразиться совпаденіемъ стиховъ Тютчева, въ основныхъ тонахъ, съ стихами Хомякова — двухъ поэтовъ такъ мало сходныхъ своею личною судьбою. Припомнимъ стихи Хомякова:

И другой странѣ смиренной,  
Полной вѣры и чудесъ,  
Богъ отдастъ судьбу вселенной,  
Мечъ земли и громъ небесъ!

Или:

И вотъ за то, что ты смиренна,  
Что въ чувствѣ дѣтской простоты,  
Въ молчаньи сердца сокровенна  
Глаголь Творца пріяла ты,  
Тебѣ Онъ далъ свое призваніе  
Тебѣ Онъ свѣтлый далъ удѣлъ.

Далѣе:

Твое все то, чѣмъ духъ святится,  
Въ чемъ сердцу слышенъ гласъ небесъ,  
Въ чемъ жизнь грядущихъ дней таится,  
Начало славы и чудесъ!  
О, вспомни свой удѣлъ высокій,  
Былое въ сердцахъ воскреси,  
И въ немъ сокрытаго глубоко  
Ты духа жизни допроси.  
Внимай ему—и всѣ народы  
Обнявъ любовію своей,  
Скажи имъ таинство свободы,  
Сіянье Вѣры имъ пролей.  
И станешь въ славѣ ты чудесной  
Превыше всѣхъ земныхъ сыновъ,  
Какъ этотъ синій сводъ небесный,  
Прозрачный Вышняго покровъ!

Но если въ Хомяковѣ, человѣкѣ *жившемъ въ Церкви*, по выраженію Ю. О. Самарина (въ его предисловіи къ богословскимъ сочиненіямъ Хомякова), такое отношеніе къ христіанскимъ свойствамъ Русскаго народа и къ хранимой народомъ истинѣ Вѣры вполне понятно, то тѣмъ труднѣе объяснить подобное явленіе въ Тютчевѣ, жившемъ, повидимому, совершенно внѣ Церкви, во всякомъ случаѣ внѣ церковной бытовой Русской стихіи, развившемся умственно и нравственно въ чуждой, враждебной Россіи, Европейской средѣ. Особенно страннымъ кажется это теплое сочувствіе къ той нравственной сторонѣ Русской народности, которая менѣ всего цѣнится, и особенно мало цѣнилась въ то время, людьми западно-европейскаго образованія, склонными чествовать красивую гордость и нарядный героизмъ, но уже никакъ не «смирненіе»... Но въ Тютчевѣ оно объясняется отчасти психологически: мы уже постарались выше охарактеризовать его внутренній душевный строй и указали на присутствіе въ немъ самомъ смиренія и скромности, не какъ сознательно усвоенной добродѣтели, а какъ личнаго, врожденнаго, и какъ общаго *народнаго* свойства. Мы видѣли также, что поклоненіе своему я было ему ненавистно, а *поклоненіе чело-*

ческому я вообще представлялось ему обоготвореніемъ ограниченности человѣческаго разума, добровольнымъ отреченіемъ отъ высшей, недостигаемой уму, абсолютной истины, отъ высшихъ надземныхъ стремленій, — возведеніемъ человѣческой личности на степень кумира, началомъ матеріалистическимъ, гибельнымъ для судьбы человѣческихъ обществъ, воспринявшихъ это начало въ жизнь и въ душу. Этотъ взглядъ проведенъ имъ, какъ философское убѣжденіе, во всѣхъ его блестящихъ Французскихъ статьяхъ, о которыхъ мы упомянули выше, — и онъ же, какъ нравственный мотивъ, какъ Grundton, звучитъ и во всей его поэзіи. Вотъ эта-то психическая особенность Тютчева, признанная и оправданная его глубокимъ умомъ, наукою, знаніемъ, она-то и оградила его духовную самобытность, и не только сохранила въ немъ Русскаго человѣка, но еще дала ему возможность уразумѣть Русскіе народныя нравственные идеалы, вынести и пронести ихъ въ себѣ, на чужбинѣ, безъ всякаго непосредственнаго на него воздѣйствія Русскаго быта, изъ самаго котла Европейской цивилизаціи, сквозъ всѣ оболъщенія западной жизни, сквозъ всю одуряющую суету свѣтской среды, сквозъ всѣ блужданія личнаго нравственнаго бытія... Онъ не измѣнилъ имъ ни мыслью, ни сердцемъ въ теченіи всей остальной половины своего существованія. Вся его умственная дѣятельность въ Россіи была только дальнѣйшимъ развитіемъ и исповѣданіемъ тѣхъ началъ и взглядовъ, которые мы очертили и которые въ главныхъ своихъ основаніяхъ выработались у него за границею. Ничто не раздражало его въ такой мѣрѣ какъ скудость національнаго пониманія въ высшихъ сферахъ, правительственныхъ и общественныхъ, какъ высоко-мѣрное, невѣжественное пренебреженіе къ правамъ и интересамъ Русской народности. Его иронія, обыкновенно необидная, становилась ѣдкою; онъ сыпалъ сарказмами въ рѣчахъ и стихахъ:

Напрасный трудъ! Нѣтъ, ихъ не вразумишь!

такъ гласила одна его напечатанная импровизація:

Чѣмъ либеральнѣй, тѣмъ они пошлѣе!

Цивилизація—для нихъ фетишъ,

Но недоступна имъ ея идея.

Какъ передъ ней ни гниетъ, госнода,  
Вамъ не снискаетъ признанья отъ Европы:  
Въ ея глазахъ вы будете всегда  
Не слуги просвѣщенья, а холопы!

И сколько такихъ импровизцій ненапечатанныхъ и неудобопечатныхъ!..

Мы не станемъ излагать въ подробности всей его, довольно тщательно разработанной, философско-исторической системы: ниже, въ особомъ отдѣлѣ, читатели найдутъ полный разборъ его статей напечатанныхъ и рукописныхъ. Намъ только было нужно, здѣсь же, въ дополненіе къ нравственной характеристикѣ Тютчева, характеризовать его сразу и какъ Русскаго человѣка, выяснитъ самостоятельность его духовной природы, указать размахъ его Русской мысли и чувства, а вмѣстѣ съ тѣмъ новый видъ того раздвоенія и противорѣчія, которымъ удручила его судьба...

Въ самомъ дѣлѣ, не странно ли, что при всей рѣзкости народнаго направленія мысли въ Тютчевѣ, нашъ высшій свѣтъ, high-life, не только не отвергалъ Тютчева и не подвергалъ равному съ Славянофилами осмѣянію и гоненію, но всегда признавалъ его своимъ, — по крайней мѣрѣ интеллигентный слой этого свѣта. Конечно, этому причиною было то обаяніе всесторонней культуры, которое у Тютчева было такъ нераздѣльно съ его существомъ и влекло къ нему всѣхъ, даже несогласныхъ съ его политическими убѣжденіями. Эти убѣжденія признавались достойными сожалѣнія крайностями, оригинальностью, капризомъ, парадоксальностью сильнаго ума и охотно прощались Тютчеву ради его блестящаго остроумія, общительности, привѣтливости, ради утонченно-изящнаго европеизма всей его внѣшности. Къ тому же всѣ «національныя идеи» Тютчева представлялись обществу чѣмъ-то *отвлеченнымъ* (чѣмъ, повидимому, онѣ въ немъ и были отчасти), дѣломъ *мысли* (une opinion contre une autre!), а не дѣломъ жизни. Дѣйствительно, онѣ не вносили въ отношенія Тютчева къ людямъ ни исключительности, ни нетерпимости; онѣ не принадлежали ни къ какому литературному лагерю и были въ общеніи съ людьми всѣхъ круговъ и становъ; онѣ не видоизмѣняли его привычекъ, не

пересоздавали его частнаго быта, не налагали на него никакого клейма ни партіи, ни національности... Но точно ли весь этотъ Русскій элементъ въ Тютчевѣ былъ только отвлеченною мыслью, только дѣломъ одного мнѣнія? Нѣтъ: любовь къ Россіи, вѣра въ ея будущее, убѣжденіе въ ея верховномъ историческомъ призваніи, владѣли Тютчевымъ могущественно, упорно, безраздѣльно, съ самыхъ раннихъ лѣтъ и до послѣдняго издыханія. Они жили въ немъ на степени какой-то стихійной силы, болѣе властительной, чѣмъ всякое иное, личное чувство. Россія была для него высшимъ интересомъ жизни: къ ней устремлялись его мысли на смертномъ одрѣ... А между тѣмъ, странно въ самомъ дѣлѣ подумать, что стихотвореніе по случаю посѣщенія Русской деревни (*ахъ нѣтъ, не здѣсь, не этотъ край безлюдный былъ для души моей родимымъ краемъ*) и стихотвореніе: «Эти бѣдныя селенья, эта скудная природа», написаны однимъ и тѣмъ же поэтомъ; что эта любовь къ Русскому народу не выносила жизни съ нимъ лицомъ къ лицу и уживалась только съ Петербургскою, высшею общественною, почти Европейскою средою? Но такое противорѣчіе создано было Тютчеву самою судьбою. Что же дѣлать, если всю молодость, лучшіе 22 года, онъ провелъ за границею; если онъ былъ связанъ съ чуждою землею всѣми дорогими воспоминаніями сердца, долготѣтними привычками быта, самымъ воспитаніемъ своего ума? Подобно тому, какъ за границею, въ его Германскомъ или Итальянскомъ далѣкѣ, Россія представлялась ему не въ подробностяхъ и частностяхъ, а въ своемъ цѣломъ объемѣ, въ своемъ общемъ значеніи, — не съ точки зрѣнія нынѣшняго дня, а съ точки зрѣнія міровой исторіи: подобно тому продолжалъ онъ смотрѣть на Россію и въ Россіи, не смущаясь злобою дня, не нуждаясь въ болѣе тѣсномъ соприкосновеніи съ Русскою дѣйствительностью. Не слѣдуетъ забывать, что онъ былъ поэтъ, а поэтическія представленія довольствуютъ поэта болѣе, чѣмъ грубая реальность. Но тѣмъ не менѣе, въ области этого идеальнаго представленія, и убѣжденіе, и чувство его были сильны, страстны, истинны и не отвлеченны, а реальны.

Нѣтъ сомнѣнія, что явленіе подобное Тютчеву должно казаться аномаліей, но такими аномаліями полна исторія на-

шего Русскаго общественнаго роста. На Французскомъ языкѣ пришлось и Хомякову высказать свои завѣтнѣйшія убѣжденія о Православіи—это драгоцѣннѣйшее твореніе Русской мысли, Русскаго вѣрующаго дѣха; на Французскомъ языкѣ выражаетъ и Тютчевъ Русское историческое самосознаніе... Читая его, зная всѣ обстоятельства его жизни, только удивишься силѣ, упругости Русскаго чувства и Русскаго генія, и еще болѣе вѣришь въ великое міровое предназначеніе Россіи.

Обратимся теперь къ Тютчеву—какъ стихотворцу и какъ публицисту.

#### IV.

Тютчевъ принадлежалъ безспорно къ такъ-называемой Пушкинской плеадѣ поэтовъ. Не потому только, что онъ былъ имъ всѣмъ почти сверстникъ по лѣтамъ, но особенно потому, что на его стихахъ лежитъ тотъ же историческій признакъ, которымъ отличается и опредѣляется поэзія этой эпохи. Онъ родился, какъ мы уже сказали, въ 1803 году, слѣдовательно въ одинъ годъ съ поэтомъ Языковымъ, за нѣсколько мѣсяцевъ до Хомякова, за два года до Веневитинова, пять лѣтъ спустя послѣ Дельвига, четыре года послѣ Пушкина, три послѣ Баратынскаго, — однимъ словомъ въ той замѣчательной на Руси полосѣ времени, которая была такъ обильна поэтами. Нельзя же конечно полагать, что такой періодъ поэтическаго творчества насталъ совершенно случайно. Мы съ своей стороны видимъ въ немъ необходимую историческую ступень въ прогрессивномъ ходѣ Русскаго просвѣщенія. Извѣстно, что вообще, въ исторіи человѣческихъ обществъ, художественное откровеніе предваряетъ медленный ростъ сознательной мысли; творческая дѣятельность искусствъ, требуя еще не раздробленной цѣльности духа, предшествуетъ аналитической работѣ ума. Нѣчто подобное видимъ мы и въ поэзіи, и особенно у насъ, — разумѣя здѣсь поэзію не какъ психическое начало, нераздѣльное съ человѣческою душою и не какъ поэзію на степени народной пѣсни, а какъ особый, высшій видъ искусства — искусство въ словѣ, выражающееся въ мѣрной рѣчи или

стихотворной формѣ. По особымъ условіямъ нашей исторической судьбы за послѣдніе полтора вѣка, на долю литературной поэзіи, при слабомъ воздѣйствіи у насъ науки, досталось высокое призваніе "быть почти единственною воспитательницею Русскаго общества въ теченіи довольно долгой поры. Сдвинутое реформою Петра съ своихъ историческихъ духовныхъ основъ въ водоворотъ чуждой духовной жизни, Русское общество, какъ и понятно, утратило равновѣсіе духа, «заторопилось жить и чувствовать» (по выраженію князя Вяземскаго), не выжидая, пока обучится, и рвалось обогнать тугой, по необходимости, ростъ своего просвѣщенія. Можно сказать, что пламя поэзіи вспыхнуло у насъ отъ самыхъ первыхъ, слабыхъ искръ Европейскаго знанія, пользуясь готовою чужою стихотворною формою, и что даже первый свѣтъ сознательной дѣятельности въ области науки возжегся намъ рукою поэта: ибо поэтическое вдохновеніе окрылило въ Ломоносовѣ труды ученаго. Затѣмъ ходъ самостоятельнаго нашего познаванія замедляется, но поэтический духъ продолжаетъ свою творческую работу въ одинокомъ лицѣ Державина. Однако и послѣ него поэзія была только еще въ началѣ своего поприща; еще не былъ даже покоренъ искусству самый его матеріалъ—слово. Раздались звуки поэзіи Жуковскаго, Батюшкова и нѣкоторыхъ другихъ, но не они были призваны къ тому могучему и плодотворному властительству надъ умами, которое было суждено Русской поэзіи. Ей предстояло, силою высшихъ художественныхъ наслажденій, совершить въ Русскомъ обществѣ тотъ духовный подъемъ, который былъ еще не подъ силу нашей школьной несамостоятельной наукѣ, и ускорить процессъ нашего народнаго самосознанія. Ей, наконецъ, выпала историческая задача проявить, въ данной стихотворной формѣ, все разнообразіе, всю силу и красоту Русскаго языка, воздѣлать его до гибкости и прозрачности, способной выражать наитончайшіе оттѣнки мысли и чувства. Разработка слова въ стихотворной формѣ имѣла несомнѣнно свою великую важность. Въ этомъ отношеніи труды даже второстепенныхъ, мелкихъ нашихъ стихотворцевъ не лишены историческаго значенія и заслуги. Можно возразить, что то же дѣлали и прозаики... Конечно такъ, но особенность поэзіи и преимущество ея

надъ прозою въ томъ именно и состоятъ, что ей раскрывается тайна гармоніи языка, что только поэзія властна изъ самыхъ вѣдръ его извлечь тотъ музыкальный элементъ (необходимо присущій каждому языку), который досказываетъ, дополняетъ внѣшній смыслъ выраженій, передаетъ неуловимое рѣчью, то чтò лишь чувствуется и ощущается, и то же въ словѣ, чтò запахъ въ цвѣтахъ.

Такимъ образомъ стихотворческой дѣятельности въ Россіи надлежало достигнуть до крайняго своего напряженія, развиться до апогея. Для этого необходимымъ былъ высшій поэтический гѣній и цѣлый сонмъ поэтическихъ дарованій. Станнымъ можетъ показаться, почему складывать рѣчь извѣстнымъ размѣромъ и замыкать ее созвучіями—становится, въ данную эпоху, у нѣкоторыхъ лицъ неудержимымъ влеченіемъ съ самаго дѣтства. Отвѣтъ на это даетъ, по аналогіи, исторія всѣхъ искусствъ. Когда, вообще, въ духовномъ организмѣ народа наступаетъ потребность въ проявленіи какой-либо специальной силы, тогда, для служенія ей, неисповѣдимыми путями порождаются на свѣтъ Божій люди съ однимъ общимъ призваніемъ, однакожъ со всѣмъ разнообразіемъ человѣческой личности, съ сохраненіемъ ея свободы и всей видимой, внѣшней случайности бытія. Поэтическому творчеству въ новой у насъ мѣрной рѣчи суждено было стать въ Россіи на историческую чреду,—и вотъ, въ урочный часъ, словно таинственною рукою, раскидываются по воздуху сѣмена нужнаго таланта, и падаютъ они, какъ придется, то на Молчановкѣ въ Москвѣ, на голову сына гвардія капитанъ-поручика Пушкина, который ужъ такъ и родится съ неестественною, повидимому, склонностью къ приемамъ, хорезамъ и ямбама,—то въ Тамбовскомъ селѣ Марѣ на голову какого-нибудь Баратынскаго, то въ Брянскомъ захолаустѣ на Тютчева, котораго отецъ и мать никогда и не пробовали улаживать своего слуха звуками Русской поэзіи.

Очевидно, что въ этихъ, равно и въ другихъ имъ современныхъ, поэтахъ стихотворчество, безсознательно для нихъ самихъ, было исполненіемъ не только *ихъ личнаго*, но и *историческаго* призванія эпохи. Въ самыхъ мелкихъ своихъ проявленіяхъ оно уже имѣетъ у нихъ видъ какого-то священнодѣйствія. Вотъ почему оно и отличается отъ поэтиче-

ской дѣятельности позднѣйшаго періода совершенно особымъ характеромъ поэзіи, — какъ самостоятельнаго явленія духа, поэзіи *безкорыстной*, самой для себя, свободной, чистой, не обращенной въ средство для достиженія посторонней цѣли, — поэзіи не знающей тенденцій. Ихъ стихотворная форма дышетъ такою свѣжестью, которой уже нѣтъ и быть не можетъ въ стихотвореніяхъ позднѣйшей поры; на ней еще лежитъ недавній слѣдъ побѣды, одержанной надъ матеріаломъ слова; слышится торжество и радость художественнаго обладанія. Ихъ поэзія и самое ихъ отношеніе къ ней запечатлѣны *искренностью*, — такою искренностью, которой лишена поэзія нашего времени: это какъ бы еще *впра* въ искусство, хотя бы и несознанная. Такой періодъ искренности, по нашему крайнему разумѣнію, повториться едва ли можетъ. Вотъ уже триста пятьдесятъ лѣтъ сряду сотни художниковъ чуть не ежедневно изучаютъ «манеру» Рафаэля; краски усовершенствованы, техническіе приемы облегчены; но, несмотря на даровитость и горячее усердіе этихъ художниковъ, всѣ ихъ усилія перенять его манеру тщетны и пребудутъ тщетны: невозможно имъ усвоить себѣ ту искренность, то *простодушіе* творчества, которыми вѣетъ отъ созданій Рафаэля, подобно тому, какъ невозможно человѣку XIX вѣка стать человѣкомъ XVI-го... Это не значитъ, чтобъ мы отвергали всякую будущность для искусства. Безконечное развитіе человѣческаго духа можетъ явить еще новыя, невѣдомыя его стороны; можетъ возникнуть новое, высшее единство духа, обрѣтется новая цѣльность, аналитическій процессъ мысли разрѣшится, быть можетъ, въ синтезъ; наконецъ, новые народы принесутъ съ собою новыя виды художествъ. Всего этого мы, конечно, не отрицаемъ; но мы разумѣемъ здѣсь извѣстное *историческое* проявленіе искусства, и никто не станетъ спорить, что, напримѣръ, Греческое искусство, оставаясь, по своему значенію, безсмертнымъ мировымъ двигателемъ въ исторіи человѣческаго просвѣщенія, тѣмъ не менѣе отжило свой вѣкъ, какъ отжила его и сама Эллада. Но возвратимся къ судьбѣ Русской поэзіи.

Стихотворная форма, сдѣлавшись въ послѣдствіи общимъ состояніемъ, явилась и богаче и разнообразнѣе въ техническомъ отношеніи. Можно привести тысячи новѣйшихъ стиховъ не-

сравненно сильнѣе и звучнѣе напริมѣръ стиховъ «Евгенія Онѣгина»; но преимущество прелести,—прелести неувимой никакимъ анализомъ, независимой отъ содержанія, — вѣчно пребудетъ за любыми стихами Пушкина и другихъ нѣкоторыхъ поэтовъ этого поэтическаго періода: отъ нихъ никогда не отыщется свѣжестъ формы и искренность творчества, какъ ихъ историческая печать. Пушкинъ имѣлъ полное право сказать, въ слѣдующихъ прекрасныхъ стихахъ, столько осмѣянныхъ новѣйшею Петербургскою критикою *позитивистской* школы:

Не для житейскаго волненья,  
Не для корысти, не для битвъ:  
Мы рождены для вдохновенья,  
Для звуковъ сладкихъ и молитвъ.

Эти «сладкіе звуки» были нужны, были серьезнымъ, *необходимымъ, историческимъ*, а потому въ высшей степени полезнымъ дѣломъ. Вотъ чего, въ своей близорукости, и не понимаетъ эта критика, неспособная стать на историческую точку зрѣнія, прилагающая къ нашимъ великимъ поэтамъ прошлой эпохи мѣрило злобы нынѣшняго дня и осуждающая ихъ именно за то, что они были только поэты, художники, а не политическіе и социальныя дѣятели въ духъ новѣйшихъ, быстро мѣняющихся, доктринъ и теорій.

На рубежѣ этого періода искренности нашей поэзіи стоитъ Лермонтовъ. По непосредственной силѣ таланта онъ примыкаетъ ко всему этому блестящему созвѣздію поэтовъ, однакоже стоитъ особнякомъ. Его поэзія рѣзко отдѣляется отъ нихъ отрицательнымъ характеромъ содержанія. Нѣчто похожее (хотя мы и не думаемъ ихъ сравнивать) видимъ мы въ Гейне, замкнувшемъ собою циклъ поэтовъ Германіи. Отъ отрицательнаго направленія до тенденціознаго, гдѣ поэзія обращается въ средство и отодвигается на задній планъ, одинъ только шагъ. Едва ли онъ уже не пройденъ. На стихотвореніяхъ нашего времени уже не лежитъ, кажется намъ, печати этой *исторической необходимости* и искренности, потому что самая историческая миссія стихотворчества, какъ мы думаемъ, завершилась. Они могутъ быть, они и дѣйствительно болѣе или менѣе талантливы, но или звучать какъ

отголоски знакомаго прошлаго, уже лишенные прежняго обаянія, или же преисполнены внѣшнихъ, чуждыхъ искусству, тенденцій.

Впрочемъ, при ненормальномъ ходѣ Русскаго общественнаго развитія, въ виду того, что наше просвѣщеніе далеко не выражаетъ жизни нашего народнаго духа, что не всѣ струны народной души прозвучали, что самая стихотворная наша форма была и есть заемная,—можетъ быть, для Русской поэзіи еще настанетъ періодъ возрожденія въ новой, невѣдомой доселѣ, своеобразной, болѣе народной формѣ. *Можетъ быть*: это не несомнѣнная надежда, а только гаданіе.

Стихи Тютчева представляютъ тотъ же характеръ внутренней искренности и необходимости, въ которомъ мы видимъ историческій признакъ прежней поэтической эпохи. Вотъ почему онъ и долженъ быть причисленъ къ Пушкинскому періоду, хотя, по особенной случайности, его стихи проникли въ Русскую печать уже тогда, когда почти отзвучали пѣсни Пушкина и прочихъ нашихъ поэтовъ, когда время влательства поэзіи надъ умами уже миновало. Десятками лѣтъ пережилъ Тютчевъ и Пушкина, и весь его поэтический періодъ, но оставался вѣренъ себѣ и своему таланту. Не переставая быть «современнѣйшимъ изъ современниковъ» по своему горячему сочувствію къ совершающейся кругомъ его жизни, онъ, среди диссонансовъ новѣйшей поэзіи, продолжалъ дарить насъ гармоніей стариннаго, но никогда не старѣющаго, поэтическаго строя. Онъ былъ среди насъ подобно мастеру какой-либо старой живописной школы, еще живущей и творящей въ его лицѣ, но не допускающей ни повторенія, ни подражанія.

Отмѣтивъ эту общую историческую черту его поэзіи, перейдемъ теперь къ особенностямъ его таланта.

Стихи Тютчева отличаются такою *непосредственностью творчества*, которая, въ равной степени по крайней мѣрѣ, едвали встрѣчается у кого-либо изъ поэтовъ. Поэзія не была для него сознательною спеціальностью, своего рода литературнымъ *Fach*, какъ выражаются Нѣмцы, общественнымъ, официальнымъ положеніемъ или же такою обязанностью, которую и самъ поэтъ невольно признаетъ за собой, признаютъ и другіе за нимъ; напротивъ, до 1836 года, какъ уже было ска-

зано, никто въ немъ и не признаетъ поэта, т. е. до той поры, какъ служившій въ Мюнхенѣ князь Иванъ Гагаринъ, собравъ цѣлую тетрадь его стихотвореній, привезъ ее къ Пушкину, и Пушкинъ далъ имъ мѣсто въ своемъ Современникѣ, хотя и безъ подписи полного имени Тютчева. Съ 1840 года его стихи снова перестаютъ появляться въ печати, и такое воздержаніе отъ печатной гласности продолжается четырнадцать лѣтъ, въ теченіи которыхъ Тютчевъ не напечаталъ ни строчки, хотя и не переставалъ писать. Но какъ писать? На вопросъ: надъ чѣмъ вы теперь работаете, онъ не могъ бы отвѣчать, подобно другимъ: «пишу стихи: вчера кончилъ стихотвореніе къ Аглаѣ, сегодня додѣлаю Огнедышащую Гору; имѣю намѣреніе обработать въ стихахъ такой-то сюжетъ». Онъ былъ поэтъ по призванію, которое было могущественнѣе его самого, но не по *профессіи*. Онъ священнодѣйствовалъ, какъ поэтъ, но не замѣчая, не сознавая самъ своего священнодѣйствія, не облакаясь въ жреческую хламиду, не исполняясь нѣкотораго благоговѣнія къ себѣ и своему жречеству. Его умъ и его сердце были, видимо, постоянно заняты: умъ виталъ въ области отвлеченныхъ, философскихъ или историческихъ помысловъ; сердце искало живыхъ ощущеній и тревоженій; но прежде всего и во всемъ онъ былъ поэтъ, хотя собственно стиховъ онъ оставилъ по себѣ, сравнительно, и не очень много. Стихи у него не были плодомъ *труда*, хотя бы и вдохновеннаго, но все же труда, подчасъ даже усидчиваго у иныхъ поэтовъ. Когда онъ ихъ писалъ, то писалъ невольно, удовлетворяя настоятельной, неотвязчивой потребности, потому что онъ не могъ ихъ не написать: вѣрнѣе сказать, онъ ихъ не писалъ, а только *записывалъ*. Они не *сочинялись*, а *творились*. Они сами собой складывались въ его головѣ, и онъ только *ронялъ* ихъ на бумагу, на первый попавшійся лоскутокъ. Если же некому было припрятать къ мѣсту обретенное, подобрать эти лоскутки, то они нерѣдко и пропадали. Эти-то лоскутки и постарался подобрать князь И. Гагаринъ, когда вздумалъ показать стихи Тютчева Пушкину; но очень можетъ быть, что многое пропало и истребилось безвозвратно. Къ Тютчеву именно примѣняются слова Гётевскаго пѣвца:

Ich singe wie der Vogel singt,  
Der in den Zweigen wohnt;  
Das Lied, das aus der Kehle dringt,  
Ist Lohn, der reichlich lohnet \*).

Въ самомъ дѣлѣ, въ чемъ же состояла награда, Lohn, пѣвца-Тютчева, во время его 22-хъ лѣтняго пребыванія за границу, какъ не въ самой спѣтой пѣснѣ, никѣмъ кромѣ его не слышимой? Условіемъ всякаго преуспѣянія таланта считается сочувственная среда, живой обмѣнъ впечатлѣній. А Тютчеву четверть вѣка приходилось пѣть какъ-бы въ безвоздушномъ пространствѣ. Когда читаешь, напримѣръ, его стихи, писанные къ первой женѣ и къ другимъ иностранкамъ, ни слова не знавшимъ по русски, да едвали и подозрѣвавшимъ въ немъ поэта, невольно спрашиваешь себя: для чего же и для кого онъ писалъ? Уже гораздо позднѣе, въ Россіи, когда подросли его дочери и вторая его супруга выучилась по-русски, стали тщательно наблюдать за нимъ и подбирать лоскутки съ его стихами, а иногда и записывать стихи прямо подъ его диктовку. Такъ однажды, въ осенній дождливый вечеръ, возвратясь домой на извожничьихъ дрожкахъ, почти весь промокшій, онъ сказалъ встрѣтившей его дочери: j'ai fait quelques rimes, и пока его раздѣвали, продиктовалъ ей слѣдующее прелестное стихотвореніе:

Слезы людскія, о слезы людскія,  
Льетесь вы ранней и поздней порой,  
Льетесь безвѣстныя, льетесь незримыя,  
Неистощимыя, неисчислимыя,  
Льетесь какъ льются струи дождевыя,  
Въ осень глухую, порою ночной...

Здѣсь почти наглядень для насъ тотъ истинно-поэтический процессъ, которымъ внѣшнее ощущеніе капель частаго осен-

---

\*) Въ русскомъ переводѣ К. С. Аксакова:

Пою, какъ птица воленъ, я,  
Что по вѣтвямъ летаетъ,  
И пѣснь свободная моя  
Богато награждаетъ.

ного дождя, лившаго на поэта, пройдя сквозь его душу, превращается въ ощущение слезъ и облекается въ звуки, которые, сколько словами, столько же самую музыкальностью своею, воспроизводятъ въ насъ и впечатлѣніе дождливой осени, и образъ плачущаго людскаго горя... И все это въ шести строчкахъ!

Еще болѣе объяснится намъ характеръ его поэтическаго творчества, когда мы припомнимъ, что этотъ человѣкъ, по его собственному признанію, тверже выражалъ свою мысль по-французски, нежели по-русски, свои письма и статьи писалъ исключительно на Французскомъ языкѣ и конечно на девять десятыхъ болѣе говорилъ въ своей жизни по-французски, чѣмъ по-русски. А между тѣмъ стихи у Тютчева творились *только по-русски*. Значитъ, изъ глубочайшей глубины его духа была ключомъ у него поэзія, изъ глубины недостигаемой даже для его собственной воли; изъ тѣхъ тайниковъ, гдѣ живетъ наша первообразная природная стихія, гдѣ обитаетъ самая правда человѣка... Здѣсь кстати привести то, что самъ Тютчевъ высказалъ уже въ 1861 году, въ стихахъ на юбилей князя Вяземскаго, по поводу «музы» этого замѣчательнаго въ своемъ родѣ поэта:

Давайте-жъ, князь, поднимаемъ въ честь богинѣ  
Вашъ полный пѣнистый фіалъ,  
Богинѣ въ честь, хранившей благородно  
Залогъ всего, что свято для души,  
Родную рѣчь...

Тютчевъ могъ еще съ болѣшимъ основаніемъ обратиться это воззваніе къ своей собственной музы.

Само собою разумѣется, что при подобномъ процессѣ творчества, Тютчевъ не способенъ былъ ничего творить въ обширномъ размѣрѣ. Поэтому самыя лучшія его стихотворенія — короткія; они цѣльны, словно отлиты изъ одного куска чистаго золота. Въ его талантѣ, какъ уже и замѣчено было нашими критиками, нѣтъ никакихъ эпическихъ или драматическихъ началъ. Его поэзія, какъ выразились бы Нѣмецкіе эстетики, вполне *субъективна*; ея поводъ — всегда въ личномъ ощущеніи, впечатлѣніи и мысли; она неспособна отрѣшиться отъ личности поэта и гостить въ области вымысла,

въ мірѣ внѣшнемъ, отвлеченномъ, чуждомъ его личной жизни. Онъ ничего не выдумывалъ, а только *выражался*. Онъ не былъ тѣмъ *maestro*, тѣмъ художникомъ-*хозяйномъ* въ поэзіи, какимъ, напримѣръ, является Пушкинъ, этотъ повластный распорядитель звуковъ и формъ, разнообразно направлявшій силы своего генія, по указанію своей свободной поэтической воли, умѣвшій творить не однимъ мгновеннымъ наитіемъ вдохновенія, но и медленнымъ вдохновеннымъ трудомъ. Да и у всѣхъ поэтовъ, рядомъ съ непосредственнымъ творчествомъ, слышится *дѣланіе*, обработка. У Тютчева дѣланнаго нѣтъ ничего: все творится. Оттого нерѣдко въ его стихахъ видна какая то внѣшняя небрежность: попадаютъ слова устарѣлыя, вышедшія изъ употребленія, встрѣчаются неправильныя рѣзны, которыя, при малѣйшей наружной отдѣлкѣ, легко могли бы быть замѣнены другими.

Этимъ опредѣляется и отчасти ограничивается его значеніе какъ поэта. Но это же придаетъ его поэзіи какую-то особенную прелесть задумчивости и личной искренности. Хомяковъ—самъ лирическій стихотворецъ—говорилъ, и по нашему мнѣнію, справедливо, что не знаетъ другихъ стиховъ, кромѣ Тютчевскихъ, которые бы служили лучшимъ образцомъ *чистѣйшей* поэзіи, которые бы въ такой мѣрѣ, *насквозь*, *durch und durch*, были проникнуты поэзіей \*).

Мы разумѣемъ здѣсь, конечно, лучшія произведенія Тютчева, тѣ, которыми характеризуется его стихотворчество, а не тѣ, которыя, уже въ позднѣйшее время, онъ иногда за-

---

\*) Вотъ, между прочимъ, что писалъ Хомяковъ изъ Москвы въ Петербургъ, Александру Николаевичу Попову, въ 1850 году: „Видите ли Ѳ. И. Тютчева? Разумѣется видите. Скажите ему мой поклонъ и досаду многихъ за его стихи. Всѣ въ восторгѣ отъ нихъ и въ негодованіи на него. Не стыдно ли молчать, когда Богъ далъ такой голосъ? Если онъ вздумаетъ оправдываться и ссылаться, пожалуй, на меня, скажите ему, что это не дѣло. Безъ притворнаго смиренія, я знаю про себя, что мои стихи, когда хороши, держатся мыслью, т. е. прозаторъ вездѣ проглядываетъ и слѣдовательно долженъ наконецъ задушить стихотворца. Онъ же *насквозь* поэтъ (*durch und durch*), у него не можетъ изсякнуть источникъ поэтическій. Въ немъ, какъ въ Пушкинѣ, какъ въ Языковѣ, натура античная въ отношеніи къ художеству“...

ставлялъ писать себя на извѣстные случаи вслѣдствіе обращенныхъ къ нему требованій и ожиданій. Замѣчательно, что въ стихотвореніяхъ его самой ранней молодости нѣтъ почти вовсе той свободы творчества, которою мы такъ любимся въ его поэзіи. Это особенно видно въ тѣхъ пьесахъ, которыя хотя и были напечатаны въ двадцатыхъ годахъ, однакоже не включены въ полное собраніе его стихотвореній. Въ нихъ встрѣчаются условные приемы, обороты и выраженія тогдашней псевдо-классической школы, напримѣръ:

И мнѣ-ль, друзья, сей гимнъ веселый .

Мнѣ-ль пѣть на лирѣ онѣмѣлой? и т. д.

однимъ словомъ—что-то тяжелое, принужденное, совершенно чуждое позднѣйшимъ свойствамъ его поэзіи. Вѣроятно, Тютчевъ еще находился тогда подъ нѣкоторымъ вліяніемъ или подражалъ приемамъ своихъ недавнихъ учителей, Раича и Мерзлякова. Но чрезъ нѣсколько лѣтъ по переѣздѣ за границу, онъ какъ будто страхнулъ съ себя путы Русской эстетики того времени и сбросилъ навязанное ему званіе «пѣвца.» Онъ перестаетъ сочинять и печатать, отказывается отъ притязаній на авторство, но тутъ-то и является, внезапно, поэтому: его творчество обрѣло свободу, онъ сталъ самимъ собою.

Стихи Тютчева не выдаются особенною бойкостью, наружною красотой, силою и звучностью; но въ замѣнъ этихъ качествъ, они отличаются совершенно своеобразною фактурою; ихъ мелодичность не похожа на музыкальный строй, если не одинаковый, то довольно общій у прочихъ нашихъ поэтовъ. Что особенно плѣняетъ въ поэзіи Тютчева, это ея необыкновенная грація, не только внѣшняя, но еще болѣе внутренняя. Все жесткое, рѣзкое и яркое чуждо его стихамъ; на всемъ художественная мѣра; все извнѣ и изнутри, такъ сказать, обвѣяно изяществомъ. Самое вещество слово какъ-бы теряетъ свою вещественность, — которою именно такъ любятъ играть и щеголять нѣкоторые поэты, которая составляетъ своего рода специальную красоту въ стихахъ, напримѣръ, Языкова. Вещество слова у Тютчева какъ-то одухотворяется, становится прозрачнымъ. Мыслью и чувствомъ трепещетъ вся его поэзія. Его музыкальность не

въ одномъ внѣшнемъ гармоническомъ сочетаніи звуковъ и приемъ, но еще болѣе въ гармоническомъ соотвѣтствіи формы и содержанія.

Почти всѣ стихотворенія Тютчева равно граціозны и музыкальны, но приведемъ теперь для примѣра хоть нѣкоторыя изъ нихъ, гдѣ это свойство его поэзіи, при относительной незначительности содержанія, выступаетъ, такъ сказать, на первый планъ.

Вотъ, наприимѣръ; одно изъ самыхъ молодыхъ стихотвореній, уже упомянутое нами, написанное, можетъ быть, лѣтъ 45 тому назадъ и внушенное ему 16-ти-лѣтнею красавицею за границею:

Я помню время золотое,  
Я помню сердцу милый край.  
День вечерѣлъ, мы были двое;  
Внизу, въ тѣни, шумѣлъ Дунай.

И на холму, тамъ, гдѣ бѣлѣя  
Руина замка вдаль глядитъ,  
Стояла ты, младая фея,  
На мшистый опершись гранитъ.

Ногой младенческой касаясь  
Обломковъ груды вѣковой...  
И солнце медлило, прощаясь  
Съ холмомъ, и съ замкомъ, и съ тобой.

Ты беззаботно вдаль глядѣла.  
Край неба дымно гасъ въ лучахъ.  
День догоралъ; звучиѣ пѣла  
Рѣка въ померкшихъ берегахъ.

И ты съ веселостью безпечной  
Счастливый провожала день,  
И сладко жизни быстротечной  
Надъ нами пролетала тѣнь.

Какъ граціозна эта картина лѣтняго вечера и молодой дѣвушки у развалинъ стараго замка, озаренной догорающими лучами солнца, — какая мягкость тоновъ и нѣжность колорита! Съ трудомъ вѣрится, что это стихотвореніе, — напи-

санное, если не ошибаемся, въ ранней молодости,—принадлежить поэту, который еще не задолго предъ тѣмъ, подъ вліяніемъ образцовъ такъ-называемой Русской классической поэзіи, считалъ себя обязаннымъ пѣть въ важномъ и напыщенномъ тонѣ и добровольно сковывалъ свое творчество, пока не махнулъ рукой на «сочинительство», на печать и на всякую авторскую славу. А вотъ другое, изъ позднѣйшей поры, написанное уже въ шестидесятыхъ годахъ; вотъ въ какомъ легкомъ и изящномъ образѣ выражено имъ нравственное изнеможеніе:

О, этотъ Югъ, о, эта Ницца,  
О, какъ ихъ блескъ меня тревожитъ!  
Мысль, какъ подстрѣленная птица,  
Подняться хочетъ и не можетъ;  
Нѣтъ ни полета, ни размаху,  
Висятъ подломанные крылья,  
И вся дрожитъ, прижавшись къ праху,  
Въ сознаньи грустнаго безсилья...

Впрочемъ трудно выбрать стихотвореніе, которое служило бы примѣромъ только одной граціозности. Это свойство его поэзіи неразлучно съ каждымъ проявленіемъ его поэтического творчества, какъ увидить далѣе и самъ читатель.

Но гдѣ Тютчевъ является совершеннымъ мастеромъ, мало имѣющимъ себѣ подобныхъ, это въ изображеніи картинъ природы. Нѣтъ, конечно, *сюжета* болѣе изобитаго стихотворцами всего міра. Къ счастью самъ сюжетъ, т. е. сама природа, отъ этого нисколько не опошливается, и ея дѣйствіе на духъ человѣческій не менѣе неотразимо. Сколько бы тысячъ писателей ни пыталось передать намъ ея языкъ, — всегда и вѣчно онъ будетъ звучать свѣжо и ново, какъ только душа поэта станетъ въ прямое общеніе съ душою природы. Оттого и картины Тютчева исполнены такой же безсмертной красоты, какъ безсмертна красота самой природы. — Вообще, вѣрность изображенія не только того, что зовется «природой», но и всякаго предмета, явленія и даже ощущенія, заключается вовсе не въ обиліи подробностей, вовсе не въ *аккуратной* передачѣ всякой, даже самой мелкой черты, вовсе не въ той фотографической точности, которую

такъ хвалятся *художники-реалисты* позднѣйшаго времени. Многіе изъ нашихъ новѣйшихъ писателей любятъ кокетничать наблюдательностью, и, думая изобразить чью-либо фizioномію, перечисляютъ углы и изгибы рта, губъ, носа, чуть не каждую бородавку на лицѣ; если же рисуютъ быть, то съ неумолимою отчетливостью передаютъ каждую ничтожную частности, иногда совершенно случайную, зыбкую, вовсе не типичную... Они только утомляютъ читателя и нисколько не удовлетворяютъ внутренней правды. Истинный художникъ, напротивъ того, изъ всѣхъ подробностей выберетъ одну, но самую характерную; его взоръ тотчасъ угадываетъ черты, которыми опредѣляется весь внѣшній и внутренній смыслъ предмета, и опредѣляется такъ полно, что остальные черты и подробности сами уже собой досказываются въ воображеніи читателя. Воспринимая впечатлѣніе отъ наружности ли человеческой, отъ иныхъ ли внѣшнихъ явленій, мы прежде всего воспринимаемъ это впечатлѣніе непосредственно, еще безъ анализа, еще не успѣвая, да иногда и не задаваясь трудомъ: изучить и разобрать всѣ соотношенія линій и всю игру мускуловъ въ фizioноміи, или же всѣ формы и движенія частей, составляющихъ, напримѣръ, картину природы. Слѣдовательно, художественная задача—не въ томъ, чтобъ сдѣлать рабскій снимокъ съ натуры (что даже и невозможно), а въ *воспроизведеніи того же именно впечатлѣнія*, какое произвела бы на насъ сама живая натура. Это умѣнье передавать нѣсколькими чертами всю цѣлость впечатлѣнія, всю реальность образа, требуетъ художественнаго таланта высшей пробы, и принадлежитъ Тютчеву вполнѣ, особенно въ изображеніяхъ природы. Кромѣ Пушкина, мы даже не можемъ и указать кого-либо изъ прочихъ нашихъ поэтовъ, который бы владѣлъ этою способностью въ *равной мѣрѣ* съ Тютчевымъ. Описанія природы у Жуковского, Баратынскаго, Хомякова, Языкова иногда прекрасны, звучны и даже вѣрны,—но это именно *описаніе*, а не *воспроизведеніе*. У нѣкоторыхъ, впрочемъ, позднѣйшихъ поэтовъ, у Фета и у Полонскаго, мѣстами попадаются истинно художественныя черты въ картинахъ природы, но только мѣстами. Вообще же, въ своихъ описаніяхъ, большая часть стихотворцевъ ходитъ *возлѣ* да *около*; рѣдко - рѣдко удается имъ схватить самый существенный

признакъ явленій.—Приведемъ въ доказательство слѣдующее стихотвореніе Тютчева:

Есть въ осени первоначальной  
Короткая, но дивная пора:  
Весь день стоитъ какъ бы хрустальный  
И лучезарны вечера.  
Гдѣ бодрый серпъ ходилъ и падалъ колось,  
Теперь ужъ пусто все; просторъ вездѣ,—  
Лишь паутины тонкій волосъ  
Блеститъ на празднои бороздѣ.  
Пустьбѣтъ воздухъ, птицъ не слышно болѣ,  
Но далеко еще до первыхъ зимнихъ бурь,  
И льется чистая и тихая лазурь  
На отдыхающее поле.

Здѣсь нельзя уже ничего прибавить; всякая новая черта была бы излишняя. Достаточно одного этого «тонкаго волоса паутины,» чтобъ однимъ этимъ признакомъ воскресить въ памяти читателя бывшее ощущеніе подобныхъ осеннихъ дней, во всей его полнотѣ.

Или вотъ это стихотвореніе,—другая сторона осени.

Есть въ свѣтлости осеннихъ вечеровъ  
Умильная, таинственная прелесть:  
Зловѣщій блескъ и пестрота деревь,  
Багряныхъ листьевъ томный, легкій шелестъ,  
Туманная и тихая лазурь  
Надъ грустно-сиротѣющей землею,  
И какъ предчувствіе осеннихъ бурь,  
Порывистый, холодный вѣтръ норою.  
Ущербъ, изнеможенъ, и на всемъ  
Та кроткая улыбка увяданья,  
Что въ существѣ разумомъ мы зовемъ  
Возвышенной стыдливостью страданья...

Не говоря уже о прекрасномъ граціозномъ образѣ «стыдливаго страданья,» — образѣ, въ который претворилось у Тютчева ощущеніе осенняго вечера, самый этотъ вечеръ воспроизведенъ такими точными, хоть и немногими чертами,

что будто самъ ощущаешь и переживаешь всю его жуткую прелесть.

Этотъ мотивъ повторенъ Тютчевымъ и въ другой піесѣ, но образъ осени умильнѣе, нѣжнѣе и сочувственнѣе:

Обвѣявъ вѣщею дремотой,  
Полураздѣтый лѣсъ грустить;  
Изъ лѣтнихъ листьевъ развѣ сотый,  
Блестя осенней позолотой,  
Еще на вѣткѣ шелестить.  
Гляжу съ участіемъ умиленнымъ,  
Когда пробившись изъ-за тучъ,  
Вдругъ по деревьямъ испещреннымъ  
Молніевидный брызнетъ лучъ...

Какъ увядающее мило,  
Какая прелесть въ немъ для насъ,  
Когда чтò такъ цвѣло и жило,  
Теперь такъ немощно и хило  
Въ послѣдній улыбнется разъ.

Намъ особенно нравятся первые пять стиховъ, нравятся именно своею простотою («изъ лѣтнихъ листьевъ развѣ сотый») и правдою.

Такая же истина и въ этой картинѣ осени:

.....  
Такъ иногда осеннею порой,  
Когда поля ужъ пусты, рощи голы,  
Блѣднѣе небо, пасмурнѣе долы,—  
Вдругъ вѣтръ подуетъ, теплый и сырой,  
Опавшій листь погонитъ предъ собою  
И душу вамъ обдастъ какъ бы весною...

Именно *теплымъ* и *сырымъ* вѣтеръ. Это именно то, что *нужно*. Кажется, какія незатѣйливыя слова, но въ этомъ-то и достоинство, въ этомъ-то и прелесть: они просты, какъ сама правда.

Здѣсь кстати замѣтить, что точность и мѣткость качественныхъ выраженій или эпитетовъ — важное, необходимое условіе художественной красоты въ поэзіи. Пушкинъ, какъ истинный художникъ, выше всего цѣнилъ эту точность, и

не успокоивался, пока не найдетъ выраженія самаго соотвѣтственнаго, и потому самаго простаго. Въ этомъ отношеніи нѣтъ ему равныхъ. Въ письмахъ Пушкина къ князю Вяземскому (въ Русскомъ Архивѣ 1874 года) есть его разборъ стихотворенія князя, «Водопадъ.» Этотъ разборъ можетъ служить образцомъ художнической требовательности Пушкина. На вопросъ: чтѣ думаетъ онъ о «Думахъ» и поемахъ, вообще обо всемъ множествѣ стиховъ Рылѣева, Пушкинъ, еще въ началѣ двадцатыхъ годовъ, отвѣчаетъ только: «тамъ есть у него палачъ съ засушенными руками, за котораго я бы дорого далъ.» Ему понравилась мѣткость этой характеристичной подробности и живописная простота выраженія. Умѣнье уловить самую существенную черту явленія или предмета, — о чемъ мы говорили выше, — тѣсно связывается, конечно, съ умѣньемъ выбрать, изъ массы качественныхъ словъ въ языкѣ, самое опредѣлительное, быющее прямо въ цѣль, сразу овладѣвающее предметомъ, захватывающее его *живьемъ*. Чѣмъ эпитеты точнѣе, тѣмъ они проще. Казалось бы, это и не такъ трудно, — а между тѣмъ для этого потребна и особенная художественная зоркость, и особенная чуткость въ отношеніи къ языку. Кромѣ Пушкина, — какъ мы уже сказали, — только поэзія Тютчева и отчасти Лермонтова обладаетъ этимъ даромъ точныхъ эпитетовъ въ высокой степени; у другихъ нашихъ поэтовъ онъ замѣчается лишь мѣстами, довольно рѣдко. Ихъ эпитеты болѣе описательнаго, чѣмъ опредѣлительнаго свойства; или слишкомъ фигурны, вычурны и нарядны, или же являются какимъ-то внѣшнимъ щегольствомъ языка, радующимъ самого автора, а не простою, необходимою, спокойною принадлежностью самого предмета (\*). Къ тому же у Тютчева эта мѣткость качественныхъ опредѣленій простирается не на одни предметы внѣшняго міра, какъ и увидимъ ниже.

Вотъ еще нѣсколько примѣровъ изображенія природы у Тютчева; мы поставили курсивомъ тѣ именно выраженія, которыя намъ кажутся художественно-точными и простыми:

---

\*) О тѣхъ же стихотворцахъ, которые ради точности прибѣгаютъ чуть не къ технической терминологіи (напр. Бенедиктовъ въ описаніи Кавказскихъ горъ) мы не считаемъ здѣсь нужнымъ и упоминать.

### П о л д е н ь.

Лѣниво дышетъ полдень мгlistый,  
Лѣниво катится рѣка,  
И въ тверди пламенной и чистой  
Лѣниво таютъ облака.  
И всю природу, какъ туманъ,  
Дремота жаркая объемлетъ,  
И самъ теперь великій Панъ  
Въ чертогѣ Нимфъ спокойно дремлетъ.

Здѣсь это одно «лѣниво таютъ» стоить всякаго длиннаго, подробнаго описанія.

Или вотъ это выраженіе:

Неостывшая отъ зною  
Ночь іюльская блистала...

Одинъ изъ критиковъ поэзіи Тютчева, поэтъ Некрасовъ, въ статьѣ, напечатанной еще въ 1850 г., любуясь простотой и краткостью слѣдующаго стихотворенія, сравниваетъ его съ однороднымъ стихотвореніемъ Лермонтова. Вотъ стихи Тютчева:

Песокъ сыпучій по колѣни;  
Мы ѣдемъ; поздно; меркнетъ день,  
И сосенъ по дорогѣ тѣни  
Уже въ одну слилися тѣнь.  
  
Черный и чаще лѣсъ глубокий...  
Какія грустныя мѣста!  
Ночь хмурая, какъ звѣрь стоикій,  
Глядитъ изъ cadaго куста.

У Лермонтова:

И миллиономъ темныхъ глазъ  
Смотрѣла ночи темнота  
Сквозь вѣтви cadaго куста.

«Кто не согласится,—говоритъ г. Некрасовъ, и мы съ нимъ совершенно согласны,—что эти похожія строки Лермонтова

значительно теряютъ въ своей оригинальности и выразительности.»

Вотъ картина лѣтней бури:

Какъ веселъ грохотъ лѣтнихъ бурь,  
Когда, взметая прахъ летучій,  
Гроза нахлынувшая тучей  
Смутить небесную лазурь,  
И опрометливо-безумно  
Вдругъ на дубраву набѣжить,  
И вся дубрава задрожитъ  
Широколиственно и шумно.

.....

И сквозь внезапную тревогу  
Немолчно слышенъ птицій свистъ,  
И кой-гдѣ первый желтый листъ,  
Крутятся, слетаетъ на дорогу.

Ради простоты и точности очертаній приведемъ еще два отрывка.

**Дорога изъ Кенигсберга въ Петербургъ.**

Родной ландшафтъ подъ дымчатымъ навѣсомъ

Огромной тучи снѣговой;

Синѣть далъ съ ея угрюмымъ лѣсомъ,

Окутаннымъ осенней мглой.

Все голо такъ, и пусто, необъятно

Въ однообразіи нѣмомъ;

Мѣстами лишь просвѣчиваютъ пятна

Стоячихъ водъ, покрытыхъ первымъ льдомъ...

Ни звуковъ здѣсь, ни красокъ, ни движенія,

Жизнь отошла, и, покорясь судьбѣ,

Въ какомъ-то забытѣ изнеможенія,

Здѣсь человѣкъ лишь снится самъ себѣ...

Здѣсь не только внѣшняя вѣрность образа, но и вся полнота внутреннего ощущенія.

### Р а д у г а.

Какъ неожиданно и ярко  
По влажной неба синевѣ  
Воздушная воздвиглась арка  
Въ своемъ минутномъ торжествѣ.  
Одинъ конецъ въ лѣса вонзила,  
Другимъ за облака ушла;  
Она полнеба обхватила  
И въ высотѣ изнемогла...

*Изнемогла!* Выраженіе не только глубоко - вѣрное, но и смѣлое. Едвали не впервые употреблено оно въ нашей литературѣ въ такомъ именно смыслѣ. А между тѣмъ нельзя лучше выразить этотъ внѣшній процессъ постепеннаго таянія, ослабленія, исчезновенія радуги. Еще г. Тургеневъ замѣтилъ, что «языкъ Тютчева часто поражаетъ смѣлостью и красотою своихъ оборотовъ.» Намъ кажется, что независимо отъ таланта, эта смѣлость можетъ быть объяснена отчасти и обстоятельствомъ его личной жизни. Русская рѣчь служила Тютчеву, какъ мы уже упомянули, только для стиховъ, никогда для прозы, рѣдко для разговоровъ, такъ что самый матеріалъ искусства—Русскій языкъ—сохранился для него въ болѣе цѣлостномъ видѣ, не искаженномъ чрезъ частое употребленіе. Многое, что могло-бъ другимъ показаться смѣлымъ, ему самому казалось только простымъ и естественнымъ. Конечно, отъ такого отношенія къ Русской рѣчи случались подчасъ синтаксическія неправильности, вставлялись выраженія уже успѣвшія выдти изъ употребленія; но за то, иногда, силою именно поэтической чуткости, добывалъ онъ изъ затаенной въ немъ сокровищницы роднаго языка совершенно новый, неожиданный, но вполне удачный и вѣрный оборотъ, или же открывалъ въ словѣ новый, еще не подмѣченный оттѣнокъ смысла.

Трудно разстаться съ картинами природы въ поэзіи Тютчева, не выписавъ еще нѣсколько примѣровъ. Вотъ его «Весеннія воды,» — но сначала для сравненія приведемъ «Весну» Баратынскаго, въ которой встрѣчаются стихи очень схожіе. Баратынскій:

Весна, весна! Какъ воздухъ чистъ,  
Какъ ясенъ небосклонъ;  
Своей лазурію живой  
Слѣпить мнѣ очи онъ.

Весна, весна! какъ высоко  
На крыльяхъ вѣтерка,  
Ласкаясь къ солнечнымъ лучамъ,  
Летаютъ облака.

Шумятъ ручьи! блестятъ ручьи!  
Взревѣвъ, рѣка несетъ  
На торжествующемъ хребтѣ  
Поднятый ею ледъ!

Подъ солнце самое взвился  
И въ яркой вышинѣ  
Незримый жавронокъ поетъ  
Заздравный гимнъ веснѣ.

Что съ нею, что съ моею душой?  
Съ ручьемъ она ручей,  
И съ птичкой птичка! Съ нимъ журчитъ,  
Летаетъ въ небѣ съ ней.

Далѣе слѣдуютъ еще двѣ строфы совершенно отвлеченнаго  
содержанія—о душѣ, и стихи довольно тяжелые.

Тютчевъ:

Еще въ поляхъ бѣлѣтъ снѣгъ,  
А воды ужъ весной шумятъ,  
Бѣгутъ и будятъ сонный берегъ,  
Бѣгутъ, и блещутъ и гласятъ,—

Онъ гласятъ во всѣ концы:  
„Весна идетъ! Весна идетъ!  
„Мы молодой весны гонцы,  
„Она насъ выслаала впередъ!“

Весна идетъ, весна идетъ!  
И тихихъ, теплыхъ майскихъ дней  
Румяный, свѣтлый хороводъ  
Толпится весело за ней...

Эти стихи такъ и обдають чувствомъ весны, молодымъ, добрымъ, веселымъ. Они и короче, и живѣе стиховъ Баратынскаго (\*). Вотъ отрывокъ изъ другаго стихотворенія, которое можно бы назвать: «Предъ Грозою.»

Въ душномъ воздухѣ молчанье,  
Какъ предчувствіе грозы;  
Жарче розъ благоуханье,  
Звонче голосъ стрекозы.

Чу! за бѣлой душной тучей  
Прокатился глухо громъ,  
Небо молніей летучей  
Опоясалось кругомъ.

Жизни нѣкій избытокъ  
Въ знойномъ воздухѣ разлитъ,  
Какъ божественный напитокъ  
Въ жилахъ мѣтеть и дрожить!..

Заключимъ этотъ отдѣлъ поэзіи Тютчева однимъ изъ самыхъ молодыхъ его стихотвореній: «Весенняя Гроза.»

Люблю грозу въ началѣ мая,  
Когда весенній, первый громъ,  
Какъ бы рѣзвяся и играя,  
Грохочетъ въ небѣ голубомъ.

Гремятъ раскаты молодые,  
Вотъ дождикъ брызнулъ, пыль летитъ:  
Повисли перлы дождевые,  
И солнце нити золотитъ.

---

\*) Г. Некрасовъ въ своей статьѣ (Современникъ 1850 года) приводитъ, для сравненія съ этимъ стихотвореніемъ Тютчева, „Весну“ г. Фета:

Ужь верба вся пушистая и проч.,—

и приводитъ именно съ тѣмъ, чтобъ показать степень различія въ мастерствѣ изображенія. У г. Фета указываетъ онъ много прекрасныхъ стиховъ, но рядомъ съ ними, какъ и у Баратынскаго, много фигурнаго, отвлеченнаго, или ненужнаго разсужденія. Вообще стихотвореніе очень длинно.

Съ горы бѣжитъ потокъ проворный,  
Въ лѣсу не молкнетъ птицй гамъ,  
И гамъ лѣсной, и шумъ нагорный,  
Все вторитъ весело громамъ.

Ты скажешь: вѣтреная Геба,  
Борня Зевесова орла,  
Громокипящй кубокъ съ неба,  
Смѣясь, на землю пролила.

Такъ и видится молодая, смѣющаяся вверху Геба, а кругомъ влажный блескъ, веселье природы и вся эта майская грозовая потѣха. Это стихотвореніе было напечатано въ Галатеѣ еще въ 1829 году, но такова странная судьба поэзіи Тютчева, что оно не обратило тогда на себя ни малѣйшаго вниманія.

Въ отвѣтныхъ своихъ стихахъ къ извѣстному нашему поэту, г. Фету, Тютчевъ говоритъ:

Инымъ достался отъ природы  
Инстинктъ пророчески-слѣпой:  
Они имъ чуютъ, слышать воды  
И въ темной глубинѣ земной...

Великой матерью любимый,  
Стократь завиднѣй твой удѣлъ:  
Не разъ подъ оболочкой зримой  
Ты самоё её узрѣлъ.

Этотъ послѣдній стихъ справедливѣе отнести къ самому Тютчеву; про него именно можно сказать, что ему было дано не разъ видѣть природу не во внѣшней только оболочкѣ, но её самоё, обнаженною, безъ покрововъ.

Если бы — предположимъ — кто-нибудь, умѣющій живо и тонко чувствовать художественныя красоты въ поэзіи, сталъ читать въ первый разъ творенія, — конечно не Пушкина и даже не Лермонтова, а прочихъ нашихъ поэтовъ, даже не зная ихъ именъ, — онъ, безъ сомнѣнія, усладился бы вполне «плѣнительною сладостью» Жуковского; онъ хоть на мигъ, можетъ быть, воспламенился бы духомъ къ высокимъ нравственнымъ подвигамъ, благодаря мужественному лиризму сти-

ховъ Хомякова; ему бы доставили, конечно, утѣху бодрья, звучныя пѣсни Языкова, гдѣ столько праздника, столько молодости, шири и удали; его душу проняла бы, вѣроятно, и страждущая тоска поэтическихъ думъ Баратынскаго; онъ нашелъ бы себѣ отраду и во многихъ другихъ нашихъ поэтахъ... Но если бы онъ, перелистывая эту сотню-другую тысячъ стиховъ, вдругъ случайно попалъ на любое изъ вышеприведенныхъ стихотвореній, въ родѣ «Осени первоначальной» съ ея «тонкимъ волосомъ паутины,» или «Весеннихъ водъ,» или хотъ «Радуги *изнемогшей* въ небѣ,» — онъ невольно бы остановился; онъ по одному этому выраженію, по одной этой мелкой повидимому чертѣ, опозналъ бы тотчасъ настоящаго *художника* и сказалъ бы вмѣстѣ съ Хомяковымъ: «чистѣйшая поэзія—вотъ гдѣ.» Такого рода художественной красоты, простоты и правды нельзя достигнуть ни умомъ, ни восторженностью духа, ни опытомъ, ни искусствомъ: здѣсь уже явное, такъ-сказать голое поэтическое откровеніе, непосредственное творчество таланта.

Обратимся теперь къ другой особенноти стихотвореній Тютчева: мы разумѣемъ самое содержаніе поэзіи, внутренній поэтический строй. Но здѣсь намъ приходится сдѣлать небольшое отступленіе.

Воспитаніе почти всѣхъ нашихъ поэтовъ, особенно поэтовъ Пушкинской плеяды, къ несчастію, характеризуется совершенно вѣрно собственными стихами Пушкина:

Мы всѣ учились по немногу,  
Чему-нибудь и какъ-нибудь.

. Всѣ они (кромѣ Хомякова, конечно, который совершенно выдѣляется изъ этого сонма поэтовъ), при поверхностномъ образованіи, возросли подъ сильнымъ умственнымъ и нравственнымъ воздѣйствіемъ Французской литературы и философіи XVIII вѣка. Но ошибочно было бы думать, что эта философія въ самомъ дѣлѣ породила у насъ философовъ и вообще серьезныхъ мыслителей; господствовала не сама философія, какъ свободно пытливая работа ума, а просто quasi-философское «вольнодумство», въ самомъ обиходномъ и пошломъ смыслѣ этого слова; не философія, какъ наука, а ея такъ называемый *духъ*, т. е. самое легкомысленное отрица-

ніе релігійнихъ вѣрованій и идеаловъ, самое вѣтреное обращеніе съ важнѣйшими вопросами жизни, упраздненіе не только строгости, но даже всякой серьезности въ сферѣ нравственныхъ отношеній и понятій. Конечно, уже тогда начинало группироваться небольшое число очень молодыхъ людей (напр., Кирѣевскіе и другіе) съ иными запросами духа, съ потребностью основательнаго знанія; но ихъ значеніе сказалось гораздо позднѣе. Мы уже отчасти характеризовали выше эпоху двадцатыхъ годовъ, но почти не коснулись стороны общественнаго воспитанія. Мы и теперь не намѣрены разсматривать ее подробно,—тѣмъ болѣе, что школа, чрезъ которую первоначально проходили наши поэты Пушкинскаго періода, относится не къ двадцатымъ годамъ, а къ началу и первымъ двумъ десяткамъ лѣтъ нашего столѣтія. Но такъ какъ многія черты у обѣихъ эпохъ одинаковы, то читателю не трудно представить себѣ, какова была эта школа, если онъ постарается припомнить все рассказанное нами выше о времени отъѣзда Тютчева за границу. Считаемо нужнымъ только добавить, что хотя Французское вліяніе вторглось къ намъ еще при Екатеринѣ, во второй половинѣ ея царствованія, однако же на литературѣ, равно и на умственномъ движеніи ея времени лежитъ печать все-таки большей серьезности и важности, чѣмъ въ позднѣйшую пору; люди Екатерининскихъ временъ были грубѣе, но крѣпче, строже, ближе къ Русской народности; самый ихъ развратъ былъ крупнѣе, но довольно одностороненъ и внѣшенъ,—менѣе легкомысленъ, менѣе растлѣвающаго свойства. Съ царствованіемъ Александра I-го начинается болѣе полное отчужденіе отъ народа и болѣе полное господство иностранной моды—и уже не въ нарядахъ только, но въ мысляхъ и воззрѣніяхъ. Все становится изящнѣе, деликатнѣе, галантерейнѣе и какъ-то пошлѣе, если позволено будетъ такъ выразиться. Печать оригинальности на произведеніяхъ умственнаго творчества исчезаетъ. Событія 12 года встрясли нѣсколько общественный духъ, но и послѣ 12 года, и гораздо позднѣе, состояніе мысли философско-отвлеченной, направленіе литературное и эстетическія воззрѣнія представляются въ видѣ истинно-жалкомъ. Еще въ 1819 году можно было въ торжественныхъ рѣчахъ на торжественныхъ литературныхъ собраніяхъ, изъ устъ

ученныхъ, авторитетовъ, слышать такіа разсужденія: «Почтенные мужи! Пусть на цвѣтущемъ полѣ нашей словесности рѣзвятся, въ разнovidныхъ группахъ, Амуры, Зефиры и *Фавны*... Птичка, свивающая гнѣздо на ближнемъ деревѣ, научила человѣка строить скромныя сѣни изъ вѣтвей, она-жъ научила его радоваться и воспѣвать свою радость. Отсюда происхожденіе—Музыки и Поэзіи.» \*) Правда, въ то время уже началась реакція и, «господинъ Боало, честный Лафонтенъ, геній Корнеля и Сиды, сіи вѣчные образцы искусства» \*\*) какъ выражались еще тогда съ каеэдры ученые наши авторитеты, однимъ словомъ вся эта псевдо-классическая теорія поэзіи не тяготѣла болѣе надъ умами нашихъ юныхъ поэтовъ, которые всѣ были пылкими приверженцами такъ-называемой «романтической школы.» Но взаимнъ господина Боало съ компаніей, образцами для молодыхъ пѣвцовъ служили все же Французскіе писатели: отчасти только Шенье, но предпочтительно Парни, пресловутый Парни, и другіе представители эротической поэзіи. Впослѣдствіи Парни уступилъ было мѣсто Байрону, но Байронъ былъ понятъ только съ внѣшней своей стороны; да и мудрено было этому своеобразному историческому продукту Англійской нравственной, общественной почвы акклиматизироваться на Русской. Нельзя не скорбѣть душою при мысли, какова была та духовно-нравственная атмосфера, въ которой приходилось распускаться и творить нашимъ поэтическимъ дарованіямъ. Стоить только заглянуть въ новѣйшіе біографическіе труды и изслѣдованія о дѣтствѣ и молодости Пушкина.... Можно было бы, кажется, задохнуться въ этой гнилой атмосферѣ, еслибъ ее нѣсколько не освѣжали своимъ присутствіемъ: Карамзинъ — этотъ «цѣломудренно-свободный духъ» по выраженію Тютчева, и Жуковский съ «голубиной чистотой» своей поэзіи. Какіе-то нанесенные вѣтромъ обрывки чужихъ, преимущественно Французскихъ доктринъ, вкусовъ и нравовъ, при недостаткѣ сколько-нибудь строгой науки, при отсутствіи воспитательнаго начала гражданской общественной жизни, при разрывѣ съ своими

\*) См. «Труды Общества Люб. Рос. Слов.» 1819 г. Рѣчь на торжественномъ публичномъ засѣданіи Мерзлякова.

\*\*) Тамъ-же, статья одного изъ членовъ.

собственными народными и бытовыми преданіями: ни убѣжденій твердыхъ, ни крѣпкихъ нравственныхъ основъ—вотъ чѣмъ была, по крайней мѣрѣ въ значительной части, Русская общественная среда. Велика заслуга нашихъ поэтовъ уже въ томъ, что они не только не погибли въ этой растлѣвающей обстановкѣ, но еще умѣли и сами вознестись надъ нею,—даровать и обществу силу подѣма, и орудіе воспитанія въ художественной красотѣ своихъ произведеній. Конечно, при этомъ не мало было растрчено даромъ богатства души, свѣжести чувствъ, времени... Не легко было изъ «питомцевъ Эпикура», «пѣвцовъ пировъ и сладострастья» — какъ они сами себя величали, — выбраться цѣлымъ на путь высшаго поэтическаго творчества: для этого надобно было родиться Пушкинымъ. Приходится, по истинѣ, изумляться упругости и мощи этого генія, который—не благодаря, а вопреки всѣмъ внѣшнимъ условіямъ,—успѣлъ въ короткій срокъ своего поприща дойти до той художественной трезвости и полноты, какую явилъ онъ въ позднѣйшихъ своихъ твореніяхъ. Но то ли еще способенъ былъ дать намъ этотъ великій художникъ, еслибъ его воспитаніе было иное, еслибъ сама окружающая жизнь могла сообщить его духу иное содержаніе?—Какъ бы то ни было, но чтò вообще неприятно поражаетъ въ поѣтахъ этой плеяды, рядомъ съ яркою красотою формъ, звуковъ и образовъ, особенно въ первой половинѣ ихъ поэтической дѣятельности (у иныхъ и во второй)—это не только напускной цинизмъ и хвастовство разгульною праздною, не только нравственное легкомысліе, суетность, фривольность (*frivolité*), но нѣкоторая, притомъ очевидная, скудость образованія и бѣдность мысли, однимъ словомъ пустота содержанія.

Судьба Тютчева, какъ мы уже знаемъ, была иная. Благодаря 22-лѣтнему пребыванію въ Германіи, онъ не испыталъ вліянія ни Французскаго философскаго матеріализма, ни Русской тлетворной общественной среды. Впрочемъ въ немъ не видать было и Нѣмца, а видна была лишь печать глубокой всесторонней образованности и замѣчательной воздѣланности ума и вкуса. Та же печать лежитъ и на его стихотвореніяхъ,—чѣмъ и выдѣляются они изъ произведеній другихъ Русскихъ поэтовъ.

Прежде всего что бросается въ глаза въ поэзіи Тютчева и рѣзко отличаетъ ее отъ поэзіи ея современниковъ въ Россіи — это совершенное отсутствіе грубаго эротическаго содержанія. Она не знаетъ ихъ «разымчиваго хмѣля,» не воспѣваетъ ни «Цыганокъ» или «наложницъ,» ни ночныхъ оргій, ни чувственныхъ восторговъ, ни даже нагихъ женскихъ прелестей; въ сравненіи съ другими поэтами одного съ нимъ цикла, его муза можетъ назваться не только скромною, но какъ бы стыдливою. И это не потому, чтобы психическій элементъ — «любовь» — не давалъ никакого содержанія его поэзіи. Напротивъ. Мы уже знаемъ, какое важное значеніе въ его судьбѣ, параллельно съ жизнью ума и высшими призывами души, должно быть отведено внутренней жизни сердца, — и эта жизнь не могла не отразиться въ его стихахъ. Но она отразилась въ нихъ только тою стороною, которая одна и имѣла для него цѣну, — стороною чувства, всегда искренняго, со всѣми своими послѣдствіями: заблужденіемъ, борьбой, скорбью, раскаяніемъ, душевною мукою. Ни тѣни циническаго ликованія, нескромнаго торжества, вѣтренной радости: что-то глубоко-задушевное, тоскливо-немощное звучитъ въ этомъ отдѣлѣ его поэзіи. Мы уже довольно говорили объ этомъ выше, очерчивая его личный нравственный образъ, и привели нѣсколько его стиховъ. Чтобы еще точнѣе опредѣлить мотивъ любви въ его поэзіи, приведемъ еще нѣкоторые наиболѣе характеристическія піесы, хоть въ отрывкахъ. Вотъ напримѣръ:

Не вѣрь, не вѣрь поэту, дѣва;

Его своимъ ты не зови,

И пуще пламеннаго гнѣва

Страшись поэтовой любви.

Его ты сердца не усвоишь

Своей младенческой душой,

Огня палящаго не скроешь

Подъ легкой дѣвственной фатой.

Поэтъ вселенъ какъ стихія,

Не властенъ лишь въ себѣ самомъ...

Невольно кудри молоды

Онъ обожжетъ своимъ вѣнцомъ.

Вотще поносить или хвалить  
Поэта суетный народъ:  
Онъ не стрѣлю сердце жалить,  
А какъ пчела его сосетъ.

Твоей святыни не нарушить  
Поэта чистая рука,  
Но мимоходомъ жизнь задушить  
Иль унести за облака.

Въ другомъ стихотвореніи онъ говоритъ:

О, какъ убійственно мы любимъ,  
Какъ въ буйной слѣпотѣ страстей  
Мы то всего вѣрнѣе губимъ,  
Что сердцу нашему милѣй!

Давно-ль гордись своей побѣдой,  
Ты говорилъ: она моя...  
Годъ не прошелъ, спроси и свѣдай,  
Что уцѣлѣло отъ нея?..

И что-жъ отъ долгаго мученья  
Какъ пеня съберечь ей удалось?  
Боль, злую боль ожесточенья,  
Боль безъ отрады и безъ слезъ!  
О, какъ убійственно мы любимъ, и пр.

Или вотъ слѣдующее стихотвореніе:

Любовь, любовь,—гласить преданье,  
Союзъ души съ душой родной,  
Ихъ соединенье, сочетанье,  
И роковое ихъ сліянье,  
И поединокъ роковой.  
И чѣмъ одно изъ нихъ нѣжитъ  
Въ борьбѣ неравной двухъ сердець,  
Тѣмъ неизбѣжнѣй и вѣрнѣе,  
Любя, страдая, грустно мѣя,  
Оно изнаешь наконецъ...

Укажемъ еще на пьесы: «Съ какою нѣгою, съ какой то-  
ской влюбленной», «Послѣдняя любовь», «Я очи зналъ, о

эти очи», «О не тревожь меня укорой справедливой», и т. д. Если мы вспомним затѣмъ слѣдующіе стихи, которыми, будто заключительнымъ аккордомъ, завершается весь этотъ отдѣлъ стихотвореній «не властнаго въ себѣ самомъ» поэта, именно:

Пускай страдальческую грудь  
Волнуютъ страсти роковыя;  
Душа готова, какъ Марія,  
Къ ногамъ Христа на вѣкъ прильнуть,—

то мы будемъ имѣть полное понятіе объ этомъ мотивѣ его поэзіи.

Но самое важное отличіе и преимущество Тютчева, это всегда неразлучный съ его поэзіей элементъ мысли. Мыслью, какъ тончайшимъ эфиромъ, обвѣяно и проникнуто почти каждое его стихотвореніе. Большею частью мысль и образъ у него нераздѣльны. Мыслительный процессъ этого сильнаго ума, свободно проникавшаго во всѣ глубины знанія и философскихъ соображеній, въ высшей степени замѣчательнъ. Онъ, такъ сказать, *мыслилъ образами*. Это доказывается не только его поэзіей, но даже его статьями, а также и его изрѣченіями, или такъ-называемыми *mots* или *bons mots*, которыми онъ прославился въ свѣтѣ едва ли не болѣе чѣмъ стихами. Всѣ эти *mots* были не иное что, какъ ироническая, тонкая, нерѣдко глубокая мысль, отлившаяся въ соотвѣтственномъ художественномъ образѣ.—Мысль въ его стихотвореніяхъ вовсе не то, что у Хомякова или у Баратынскаго. Поэтическія произведенія Хомякова — это какъ бы отрывки цѣлой, глубоко-обдуманной, исторически-философской или нравственно-богословской системы. Искренность убѣжденія, возвышенность духовнаго строя, жаръ одушевленія придаютъ многимъ его стихотвореніямъ силу увлекательную. Но если мысль его способна восходить до лиризма, все же она, втиснутая въ риѣмы и размѣръ, въ рамки стихотворенія, не вмѣщается въ нихъ, перевѣшиваетъ художественную форму въ ущербъ себѣ и ей; художественная форма ее тѣснитъ и сама насилуется. Читая его стихи, вы забываете о художникѣ и имѣете въ виду высоко-нравственнаго мыслителя и проповѣдника. Впрочемъ это признавалъ и самъ Хомяковъ,

какъ мы видѣли изъ вышеприведеннаго его письма къ А. Н. Попову о Тютчевѣ. Что же касается до Баратынскаго, этого замѣчательнаго, оригинальнаго таланта, то его стихи безспорно умны, но,—такъ намъ кажется, по крайней мѣрѣ,—это умъ — *остуживающій* поэзію. Въ немъ немало граціи, но холодной. Его стихи согрѣваются только искренностью тоски и разочарованія. Пушкинъ не даромъ назвалъ его Гамлетомъ; у Баратынскаго чувство всегда мыслить и разсуждаетъ. Тамъ-же гдѣ мысль является отдѣльно какъ мысль, она, именно по недостатку цѣльности чувства, по недостатку жара въ творческомъ горнилѣ поэта, рѣдко сплавляется въ цѣльный поэтический образъ. Онъ трудно ладитъ съ внѣшней художественной формой; мысль иногда торчитъ сквозь нее голая, и рядомъ съ прекрасными стихами попадаютъ стихи нестерпимо тяжелые и прозаическіе (напримѣръ его «Смерть»). Исключеніе составляютъ три-четыре истинно превосходныхъ стихотворенія.

У Тютчева, наоборотъ, поэзія была тою психическою средою, сквозь которую преломлялись сами собой лучи его мысли и проникали на свѣтъ Божій уже въ видѣ поэтическаго представленія. У него не то что *мыслящая* поэзія,—а поэтическая мысль; не чувство разсуждающее, мыслящее,—а мысль чувствующая и живая. Отъ этого внѣшняя художественная форма не является у него надѣтою на мысль, какъ перчатка на руку, а срослась съ нею, какъ покровъ кожи съ тѣломъ, сотворена вмѣстѣ и одновременно, однимъ процессомъ: это сама плоть мысли. Мы уже отчасти объясняли этотъ процессъ, приводя выше стихотвореніе «Слезы». Вотъ еще примѣръ:

Пошли, Господь, свою отраду  
Тому, кто въ лѣтній жаръ и зной,  
Какъ бѣдный нищій мимо саду,  
Бредетъ по жаркой мостовой.

Кто смотритъ вскользь черезъ ограду  
На тѣнь деревьевъ, злѣкъ долинъ,  
На недоступную прохладу  
Роскошныхъ, свѣтлыхъ луговинъ.

Не для него гостепріимной  
Деревья сѣнью разрослись;  
Не для него, какъ облакъ дымный,  
Фонтанъ на воздухъ повисъ.

Лазурный гротъ, какъ изъ тумана,  
Напрасно взоръ его манить,  
И пыль росистая фонтана  
Его главы не освѣжить.

Пошли, Господь, свою отраду  
Тому, кто жизненной тропой,  
Какъ бѣдный нищій мимо саду,  
Бредетъ по знойной мостовой.

Здѣсь мысль стихотворенія вся въ аналогіи этого образа нищаго, смотрящаго въ жаркій лѣтній день сквозь рѣшетку роскошнаго прохладнаго сада, — съ жизненнымъ жребіемъ людей-тружениковъ. Но эта аналогія почти не высказана, обозначена слегка, намекомъ, въ двухъ словахъ въ послѣдней строфѣ, почти не замѣчаемыхъ: *жизненной тропой*, а между тѣмъ она чувствуется съ перваго стиха. — Образъ нищаго, вѣроятно въ самомъ дѣлѣ встрѣченнаго Тютчевымъ, мгновенно осянулъ поэта сочувствіемъ и — мыслью объ этомъ сходствѣ. Мысль, вмѣстѣ съ чувствомъ, проняла насквозь самый образъ нищаго, такъ что поэту достаточно было только воспроизвести въ словахъ одинъ этотъ внѣшній образъ: онъ явился уже весь озаренный тѣмъ внутреннимъ значеніемъ, которое ему дала душа поэта, и творить на читателя то же дѣйствіе, которое испыталъ самъ авторъ. — Но если мысль здѣсь только чувствуется, а въ нѣкоторыхъ стихотвореніяхъ какъ-бы нѣсколько заслоняется выдающеюся художественностью формы и самостоятельной красотой внѣшняго образа, то можно указать на другія стихотворенія, гдѣ мысль не теряетъ своего самостоятельнаго значенія и высказывается и въ художественной формѣ, и какъ мысль. Начнемъ опять съ картинъ природы:

Святая ночь на небосклонъ взошла  
И день отрадный, день любезный,  
Какъ золотой коверъ она свила,

Коверъ, накинутый надъ бездною.  
И какъ видѣнье, вѣщій міръ ушелъ,  
И человѣкъ, какъ сирота бездомный,  
Стоитъ теперь и сумраченъ и голъ,  
Лицомъ къ лицу предъ этой бездною темной.  
И чудится давно-минувшимъ сномъ  
Теперь ему все свѣтлое живое,  
И въ чуждомъ, неразгаданномъ ночномъ  
Онъ узнаетъ наслѣдье роковое.

Нельзя лучше передать и осмыслить ощущение, производимое ночью тьмою. Та же мысль выразилась и въ другомъ стихотвореніи:

На міръ таинственный духовъ,  
Надъ этой бездною безымянной,  
Покровъ наброшенъ златотканый  
Высокой волею боговъ.  
День—сей блистательный покровъ,  
День—земнородныхъ оживленье,  
Души болящей исцѣленье,  
Другъ человѣковъ и боговъ!

Но меркнетъ день; настала ночь,  
Пришла—и съ міра роковаго  
Ткань благодатную покрыва  
Собравъ, отбрасываетъ прочь.  
И бездна намъ обнажена  
Съ своими страхами и мглами,  
И нѣтъ преградъ межъ ей и нами:  
Вотъ отчего намъ ночь страшна.

Но намъ особенно нравятся слѣдующіе стихи:

О чемъ ты воешь, вѣтръ ночной?  
О чемъ такъ сѣтуешь безумно?  
Что значить странный голосъ твой,  
То глухо-жалобный, то шумный?  
Понятнымъ сердцу языкомъ  
Твердишь о непонятной мукъ,  
И ноешь, и взрываешь въ немъ  
Порой неистовые звуки!

О, страшныхъ пѣсенъ сихъ не пой  
Про древній хаосъ, про родимый!  
Какъ жадно міръ души ночной  
Внимаетъ повѣсти любимой!  
Изъ смертной рвется онъ груди  
И съ безпредѣльнымъ жаждетъ слиться...  
О, бурь уснувшихъ не буди:  
Подъ ними хаосъ шевелится!

Кажется,—прочитавъ однажды это стихотвореніе, трудно  
будетъ не припомнить его всякой разъ, какъ услышишь за-  
ыванье ночнаго вѣтра.

Сколько глубокой мысли въ его «Веснѣ»!.. Выпишемъ нѣ-  
сколько строфъ:

Весна—она о васъ не знаетъ,  
О васъ, о горѣ и о злѣ.  
Безсмертьемъ взоръ ея сіяетъ  
И ни морщины на челѣ!  
Своимъ законамъ лишь послушна,  
Въ условный часъ слетаетъ къ намъ  
Свѣтла, блаженно-равнодушна,  
Какъ подобаетъ божествамъ!

.....  
Не о быломъ вздыхаютъ розы,  
И соловей въ тѣни поетъ,—  
Благоухающія слезы  
Не о быломъ Аврора льетъ,  
И страхъ кончины неизбежный  
Не свѣетъ съ древа ни листа:  
Ихъ жизнь, какъ океанъ безбрежный,  
Вся въ настоящемъ разлита.

Игра и жертва жизни частной,  
Приди-жъ, отвергни чувствъ обманъ  
И ринься бодрый, самовластный,  
Въ сей животворный океанъ.  
Приди—струей его эфирной  
Омой страдальческую грудь  
И жизни божески-всемірной  
Хотя на мигъ причастенъ будь!

Приведемъ еще стихотвореніе: «Сонъ на морѣ» — замѣчательное красотою формы и смѣлостью образовъ, которые могли быть созданы фантазіей только мыслителя-художника.

И море и бури качали нашъ челичъ;  
Я сонный былъ преданъ всей прихоти волнъ,  
И двѣ безпредѣльности были во мнѣ,  
И мной своенравно играла онѣ.  
Кругомъ, какъ кимвалы, звучали скалы,  
И вѣтры свистѣли, и пѣли валы.  
Я въ хаосѣ звуковъ леталъ оглушенъ,  
Надъ хаосомъ звуковъ носился мой сонъ;  
Болѣзненно-яркій, волшебнo-нѣмой,  
Онъ вѣялъ легко надъ гремящею тьмой.  
Въ лучахъ огненицы развилъ онъ свой міръ:  
Земля зеленѣла, свѣтился эфиръ,  
Сады, лабиринты, чертоги, столпы,  
И чудился шорохъ несмѣтной толпы.  
Я много узналъ мнѣ невѣдомыхъ лицъ,  
Зрѣлъ тварей волшебныхъ, таинственныхъ птицъ,  
По высямъ творенья я гордо шагаль,  
И міръ подо мною недвижно сіялъ.  
Сквозь слезы, какъ дикій волшебника вой,  
Лишь слышался грохотъ пучины морской,  
И въ тихую область видѣній и сновъ  
Врывалася пѣна ревущихъ валовъ.

Таинственный міръ сновъ часто приковываетъ къ себѣ мысль поэта. Вотъ строфы, гдѣ самая стихія сна воплощается въ образъ почти также неопредѣленный какъ она сама, но сильно охватывающій душу:

Какъ океанъ объемлетъ шаръ земной,  
Земная жизнь кругомъ объята снами;  
Настанетъ ночь, и звучными волнами  
Стихія бьетъ о берегъ свой.

То гласъ ея: онъ нудитъ насъ и просить.  
Ужъ въ пристани волшебный ожилъ челичъ...  
Приливъ растетъ и быстро насъ уноситъ  
Въ неизмѣримость темныхъ волнъ.

Небесный сводъ, горящій славой звѣздной,  
Таинственно глядитъ изъ глубины,  
И мы плывемъ—пылающей бездной  
Со всѣхъ сторонъ окружены.

Но мы должны остановиться, — выписывать пришлось бы слишкомъ много. Перейдемъ теперь къ стихотвореніямъ, гдѣ раскрывается для насъ нравственно-философское созерцаніе поэта. Припомнимъ сказанное нами выше, что его мыслящій духъ никогда не отрѣшался отъ сознанія своей человѣческой ограниченности, но всегда отвергалъ самообожаніе человѣческаго я. Вотъ какъ это сознаніе выразилось въ слѣдующихъ двухъ стихотвореніяхъ:

#### Ф о н т а н ь.

Смотри, какъ облакомъ живымъ  
Фонтанъ сіяющій клубится,  
Какъ пламенѣть, какъ дробится  
Его на солнцѣ влажный дымъ.  
Лучемъ поднявшись къ небу, онъ  
Коснулся высоты завѣтной,  
И снова пылью огнецвѣтной  
Ниспастъ на землю осужденъ.

О, нашей мысли водомѣтъ,  
О, водомѣтъ неистощимый,  
Какой законъ непостижимый  
Тебя стремить, тебя мятеть?  
Какъ жадно къ небу рвешься ты!  
Но длань незримо-роковая,  
Твой лучъ упорный преломляя,  
Свергаетъ въ брызгахъ съ высоты!

А вотъ и другое:

Смотри, какъ на рѣчномъ просторѣ,  
По склону вновь ожившихъ водъ,  
Во всеобъемлющее море  
За льдиной льдина вслѣдъ плыветъ.

На солнцѣ ль радужно блистая,  
Иль ночью, въ поздней темнотѣ,  
Но всѣ, неудержимо тая,  
Онѣ плывутъ къ одной метѣ.

Всѣ вмѣстѣ, малыя, большія,  
Утративъ прежній образъ свой,  
- Всѣ, безразличны какъ стихія,  
Сольются съ бездной роковой.

О, нашей мысли обольщенье,  
Ты, человеческое я,  
Не таково ль твое значенье.  
Не такова ль судьба твоя?

Нельзя не подивиться поэтическому процессу, умѣющему воплощать въ такіе реальные, художественные образы мысли самаго отвлеченнаго свойства.

Въ приведенныхъ нами сейчасъ стихотвореніяхъ Тютчева, какъ и во всѣхъ, гдѣ выражается его внутренняя дума, не слышно торжественныхъ, укрѣпляющихъ душу звуковъ. Напротивъ, въ нихъ слышится ноющая тоска, какая-то скорбная иронія. Но эта тоска, хотя и подбитая скорбною ироніей, вовсе не походила ни на хандру Евгенія Онѣгина, отставнаго, пресыщеннаго удовольствіями «повѣсы», какъ называетъ его самъ Пушкинъ; ни на Байроновское *отрицаніе* идеаловъ; ни на *разочарованіе* человѣка обманутаго жизнью, какъ у Баратынскаго; ни на доходившее до трагизма *безочарованіе* Лермонтова (по прекрасному выраженію Гоголя): поэзія Лермонтова—это тоска души болѣющей отъ своей неспособности къ очарованію, отъ своей собственной пустоты, вслѣдствіе безвѣрія и отсутствія идеаловъ. Напротивъ, тоска у Тютчева происходила именно отъ присутствія этихъ идеаловъ въ его душѣ — при разладѣ съ ними всей окружающей его дѣйствительности и при собственной личной немощи возвыситься до гармоническаго примиренія воли съ мыслью и до освященія разума вѣрою: его иронія вызывается сознаніемъ собственнаго своего и вообще человѣческаго безсилія, — несостоятельности горделивыхъ попытокъ человѣческаго разума... Но отъ этихъ стихотвореній, все же

отрицательнаго характера, перейдемъ къ тѣмъ, гдѣ задушевныя нравственныя убѣжденія поэта высказываются въ положительной формѣ, гдѣ открываются намъ его положительные духовные идеалы. Такъ въ его стихахъ «На смерть Жуковскаго» мы видимъ, какъ высоко цѣнить поэтъ цѣльный, гармоническій строй вѣрующей души, побѣждающій внутреннее раздвоеніе:

### На смерть Жуковскаго.

Я видѣлъ вечеръ твой; онъ былъ прекрасенъ.  
Последній разъ прощаясь съ тобой,  
Я любовался имъ: и тихъ, и ясенъ,  
И весь насквозь проникнуть теплотой.  
О, какъ они и грѣли, и сіяли  
Твои, поэтъ, прощальные лучи!..  
А между тѣмъ замѣтно выступали  
Ужъ звѣзды первыя въ его ночи.

Въ немъ не было ни лжи, ни раздвоенья;  
Онъ все въ себѣ мирилъ и совмѣщалъ.  
Съ какимъ радушіемъ благоволенья  
Онъ были мнѣ Омировы читалъ,—  
Цвѣтушія и радужныя были  
Младенческихъ, первоначальныхъ лѣтъ!  
А звѣзды, между тѣмъ, на нихъ сводили  
Таинственный и сумрачный свой свѣтъ.

По истинѣ, какъ голубь чистъ и цѣлъ  
Онъ духомъ былъ;—хоть мудрости змѣиной  
Не презиралъ, понять ее умѣлъ,—  
Но вѣялъ въ немъ духъ чисто-голубиный.  
И этою духовной чистотою  
Онъ возмужалъ, окрѣпъ и просвѣтлѣлъ;  
Душа его возвысилась до строю:  
Онъ стройно жилъ, онъ стройно пѣлъ.

И этотъ-то души высокій строй,  
Создавшій жизнь его, проникшій лиру,  
Какъ лучшій плодъ, какъ лучшій подвигъ свой,  
Онъ завѣщалъ взволнованному міру.

Пойметъ ли міръ, оцѣнитъ ли его?  
Достойны ль мы священнаго залога?  
Иль не про насъ сказало Божество:  
«Лишь сердцемъ чистые—тѣ узрятъ Бога?»

Слѣдующее стихотвореніе есть уже истинный вопль души, разумѣющей болѣзнь и тоску вѣка,—оно въ то же время и исповѣдь самого поэта:

### Н а ш ъ в ѣ к ъ .

Не плоть, а духъ растлился въ наши дни,  
И человекъ отчаянно тоскуетъ.  
Онъ къ свѣту рвется изъ ночной тѣни—  
И, свѣтъ обрѣвши, рошцетъ и бунтуетъ.

Безвѣріемъ падали и изсушенъ,  
Невыносимое онъ днесь выносить...  
И сознаетъ свою погибель онъ,  
И жаждетъ вѣры... но о ней не проситъ.

Не скажетъ вѣкъ съ молитвой и слезой,  
Какъ ни скорбитъ предъ замкнутою дверью:  
«Впусти меня! Я вѣрю, Боже мой!  
«Приди на помощь моему безвѣрью!...»

Вотъ тѣ *основные* нравственные тоны, которые слышатся у Тютчева сквозь всѣ его философскія, историческія, политическія и поэтическія думы. Они не благопріобрѣтенное размышленіемъ, не нажитое горькимъ опытомъ достояніе; таись въ глубинѣ его духа, они не только пережили искусь долгаго заграничнаго пребыванія, но сильнѣе всего оградили независимость и самостоятельность его мышленія въ чужеземной средѣ, поддержали пламя безпредѣльной любви къ Россіи, сохранили духовную связь съ родною землею и, какъ мы уже видѣли, воспитали въ немъ способность сочувственнаго разумѣнія тѣхъ высокихъ нравственныхъ сторонъ Русской народности, которыя въ самой Россіи постигались и цѣнились очень немногими. Стихотворенія: «На смерть Жуковскаго» и «Нашъ Вѣкъ» объясняютъ намъ уже приведенныя прежде стихотворенія: «Эти бѣдныя селенія», «Тебѣ

они готовятъ плѣнъ», равно и нѣкоторыя другія,—и взаимно объясняются ими. Мы впрочемъ не станемъ здѣсь ни выписывать, ни разбирать тѣхъ его поэтическихъ произведеній, которыя посвящены Россіи или выражаютъ его политическія убѣжденія и мечтанія. Они отчасти уже нашли себѣ мѣсто въ предшествовавшемъ отдѣлѣ нашего очерка, гдѣ мы именно старались показать читателямъ ростъ и силу Русской народной стихіи въ Тютчевѣ-европейцѣ,—а нѣкоторыя будутъ помѣщены нами ниже, въ поясненіе его политическихъ статей. Хотя этихъ стихотвореній довольно много, и инныя изъ нихъ высокаго поэтическаго достоинства, однакоже не ими опредѣляется значеніе Тютчева какъ поэта, съ точки зрѣнія эстетической критики. Скажемъ здѣсь нѣсколько словъ только объ общемъ характерѣ этихъ патріотическихъ и политическихъ стихотвореній: въ нихъ (за исключеніемъ двухъ-трехъ) менѣе всего слышится его внутреннее, духовное раздвоеніе, его пронія обращенная на самого себя, его нравственная тоска,—а также и тотъ особенный личный процессъ поэтическаго творчества, который налагаетъ такую оригинальную печать на его поэзію и даетъ ей такую своеобразную прелесть. Его политическое міросозерцаніе, его убѣжденія относительно исторической будущности Русскаго народа были, какъ мы уже знаемъ, тверды, цѣльны—до односторонности, до страстности, — а потому только въ этомъ отдѣлѣ стихотвореній и доходитъ онъ до торжественныхъ, почти «героическихъ» звуковъ, столько вообще чуждыхъ его поэзіи. Для примѣра укажемъ на слѣдующія два стихотворенія: «Море и утесъ» и «Разсвѣтъ», которыя оба блещутъ поэтическими красотоми, особенно послѣднее, но красотоми нѣсколько инаго рода, выдѣляющими обѣ піесы изъ общаго строя его поэтическихъ твореній.

Піеса «Море и Утесъ» написана 1848 году, послѣ Февральской революціи, и очевидно изображаетъ Россію, ея твердыню, среди разъяренныхъ волнъ западно-европейскихъ народовъ, которые, вмѣстѣ съ всеобщимъ мятежомъ, были внезапно объаты и неистовою злобою на Россію. Ничто такъ не раздражало Тютчева, какъ угрозы и хулы на Русь со стороны иностранцевъ. Не знаемъ, обратили ли эти стихи вниманіе на себя въ свое время и были ли поняты въ смы-

слѣ нами объясненномъ (въ 1848 году Тютчевъ еще продолжалъ ничего не печатать); но трудно сомнѣваться въ ихъ настоящемъ значеніи, особенно въ виду статьи: «Россія и Революція».

И бунтуешь и клокочешь,  
Плещешь, свищешь и реветь,  
И до звѣздъ допрыгнуть хочешь,  
До незыблемыхъ высотъ!  
Ахъ ли, адская ли сила,  
Подъ клокочущимъ котломъ,  
Огнь геенскій разложила  
И пучину взворотила,  
И поставила вверхъ дномъ?

Волнъ неистовыхъ прибоемъ,  
Безпрерывно валъ морской  
Съ ревомъ, свистомъ, визгомъ, воемъ  
Бьетъ въ утесъ береговой.  
Но спокойный и надменный,  
Дурью волнъ не обуянъ,  
Неподвижный, неизмѣнный.  
Мірозданью современный,  
Ты стоишь, нашъ великанъ!

И озлобленная боемъ,  
Какъ на приступъ роковой,  
Снова волны лѣзутъ съ воемъ  
На гранитъ громадный твой.  
Но о камень неизмѣнный  
Бурный натискъ преломивъ,  
Валъ отбрызнулъ сокрушенный,  
И клубится мутной пѣной  
Обезсиленный порывъ.

Стой же ты, утесъ могучій,  
Обожди лишь часъ-другой;  
Надоѣстъ волнѣ гремячей  
Воевать съ твоей пятой!  
Утомясь потѣхой злою,  
Присмирѣть вновь она,

И безъ вою, и безъ бою,  
Подъ гигантскою пятою  
Вновь уляжется волна.

Относительно стремительности, силы, *красивости* стиха и богатства созвучій, у Тютчева нѣтъ другаго подобнаго стихотворенія. Оно превосходно, но не въ Тютчевскомъ родѣ. Оно свидѣтельствуетъ только, что Тютчевъ могъ бы, еслибы хотѣлъ, щеголять и такими красивыми произведеніями; но еслибы его книжка стиховъ ограничивалась только такими піесами, безпорно сильными и звучными, то Тютчевъ какъ поэтъ лишился бы оригинальности и не занялъ бы того особаго мѣста, которое создала ему въ нашей литературѣ менѣе громкая и торжественная его поэзія. Впрочемъ, даже самый выборъ того или другаго направленія въ поэзіи былъ для него невозможенъ, потому что онъ не гонялся за успѣхомъ, а писалъ стихи ради удовольствованія внутренней личной потребности, почти произвольно; тѣмъ не менѣе самый талантъ его былъ способенъ, какъ оказывается, къ разнообразному стихотворному строю.

Слѣдующее стихотвореніе «Разсвѣтъ» написано 18 лѣтъ спустя и, несмотря на свой аллегорическій характеръ, менѣе выдѣляется изъ поэзіи Тютчева, чѣмъ «Море и Утесъ», — отчего въ «Разсвѣтѣ» и болѣе истинной художественной красоты. Здѣсь подъ образомъ восходящаго солнца подразумевается пробужденіе Востока, — чего Тютчевъ именно чаялъ въ 1866 году, по случаю возстанія Кандіотовъ; однако образъ самъ по себѣ такъ самостоятельно хорошъ, что очевидно, если не перевѣсилъ аллегорію въ душѣ поэта, то и не подчинился ей, а вылился свободно и независимо. Тѣмъ не менѣе и это стихотвореніе отличается отъ всѣхъ прочихъ произведеній Тютчева своимъ положительно-торжественнымъ внутреннимъ строемъ:

Молчить сомнительно Востоку,  
Повсюду чуткое молчанье...  
Что это? Сонъ или ожиданье,  
И близокъ день или далёкъ?  
Чуть-чуть бѣлѣетъ темя горъ,  
Еще въ туманѣ лѣсъ и долы,

Спать города и дремлять сѣлы,  
Но къ небу подымите взоръ.

Смотрите: полоса видна,  
И словно скрытной страстью рдѣя,  
Она все ярче, все живѣе—  
Вся разгорается она.  
Еще минута—и во всей  
Неизмѣримости эфирной  
Раздастся благовѣсть всемірный  
Побѣдныхъ солнечныхъ лучей!

Сведемъ же всѣ указанныя нами черты поэзіи Тютчева, характеризующія его какъ поэта. Онъ отличается прежде всего особеннымъ процессомъ поэтического творчества, до такой степени непосредственнымъ и быстрымъ, что поэтическія его творенія являются на свѣтъ Божій еще не успѣвъ остыть, еще сохраняя на себѣ теплый слѣдъ рожденія, еще трепеща внутреннею жизнью души поэта. Отъ того эта особенная, какъ бы не вещественная, какъ бы не отвердѣвшая красота наружной формы, насквозь проникнутой мыслью и чувствомъ; отъ того эта искренность, эта неумышленная, но тѣмъ болѣе привлекательная грація. Художественная зоркость и воздержность въ изображеніяхъ—особенно природы; Пушкинская трезвость, точность и мѣткость эпитетовъ и вообще качественныхъ опредѣленій; соразмѣрность внѣшняго гармоническаго строя съ содержаніемъ стихотворенія; постоянная правда чувства и потому постоянная же нѣкая серьезность основнаго звучащаго тона; во всемъ и всюду дыханіе мысли, глубокой, тонкой, оригинальной, по существу своему нерѣдко отвлеченной, но всегда согрѣтой сердцемъ и поэтически воплощенной въ цѣльный, соотвѣтственный образъ; такая же тонкость оттѣнковъ и переливовъ въ области нравственныхъ ощущеній,—вообще тонкость рѣзбы, узорчатость чеканки—при совершенной простотѣ, естественности, свободѣ и такъ сказать произвольности поэтической работы. На всемъ печать изящнаго вкуса, многосторонней образованности, ума воздѣланнаго знаніемъ и размышленіемъ, — легкая, игривая иронія, какъ улыбка, рядомъ съ важностью думъ,—и при всемъ томъ что-то скромное, нѣжное, смиренно-человѣчное,

безъ малѣйшаго отвзвукѣ тщеславія, гордости, жестокости, суетности, щегольства; ничего на показъ, ничего для виду, ничего предвзятаго, заданнаго, дѣланнаго, сочиненнаго. Конечно, содержаніе его поэзіи дается только его личнымъ внутреннимъ міромъ, не выходитъ изъ завѣтнаго круга близкихъ, дорогихъ его сердцу вопросовъ, интересовъ, образовъ и впечатлѣній; онъ почти не имѣетъ власти надъ своимъ вдохновеніемъ, почти не способенъ искусственно устремлять силы своего таланта по произволу, на предметы чуждые его душѣ, — не способенъ къ художническому продолжительному труду, а потому не создалъ и не могъ создать ни поэмы, ни драмы; онъ не проповѣдникъ, онъ не учитъ, онъ лишь выражаетъ себя самого; его лиризмъ не укрѣпитъ и не вознесетъ духа... Но его стихи, хотя бы даже устарѣла ихъ внѣшняя форма, не перестанутъ чаровать нестарѣющею прелестью поэзіи и мысли; они плодотворно питаютъ умъ, захватываютъ всѣ струны сердца, будятъ и просвѣтляютъ Русское чувство. Они — неизсякаемый источникъ духовно-изысканныхъ наслажденій. Въ исторіи Русской словесности Тютчевъ останется всегда однимъ изъ самыхъ блестящихъ и своеобразныхъ проявленій Русскаго поэтическаго гениа; его значеніе не померкнетъ.

Заключимъ нашу характеристику слѣдующими прекрасными строками изъ статьи о Тютчевѣ И. С. Тургенева, напечатанной двадцать лѣтъ тому назадъ, но нисколько не утратившей достоинства современности:

«Талантъ Тютчева, по самому свойству своему, не обращенъ къ толпѣ и не отъ нея ждетъ отзыва и одобренія; для того, чтобы вполнѣ оцѣнить его, надо самому читателю быть одареннымъ нѣкоторою тонкостью пониманія, нѣкоторою гибкостью мысли, не остававшейся слишкомъ долго праздною. Фіалка своимъ запахомъ не разить на двадцать шаговъ кругомъ; надо приблизиться къ ней, чтобы почувствовать ея благовоніе. Мы не предсказываемъ популярности Тютчеву, но мы предсказываемъ ему глубокое и теплое сочувствіе всѣхъ тѣхъ, кому дорога Русская поэзія; а нѣкоторыя его стихотворенія пройдутъ изъ конца въ конецъ всю Россію и переживутъ многое въ современной литературѣ, что теперь кажется долговѣчнымъ и пользуется шумнымъ успѣхомъ. Тют-

чевъ можетъ (могъ бы!) сказать себѣ, что онъ, по выраженію одного поэта, создалъ рѣчи, которымъ не суждено умереть,— а для истиннаго художника выше подобнаго сознанія награды нѣтъ.»

Перейдемъ теперь къ Тютчеву какъ къ политическому писателю и Французскому прозаику.

## V.

Намъ извѣстны только три напечатанныя статьи Тютчева политическаго содержанія. Хотя онѣ и написаны по французски, однако составляютъ неотъемлемое достояніе Русской литературы, какъ произведеніе Русской мысли, выраженіе Русскаго историческаго самознанія; хотя онѣ писаны и давно, при иныхъ политическихъ обстоятельствахъ, однакоже не только не утратили, по нашему мнѣнію, значенія для нашего времени, но именно теперь, въ наши дни, только и получаютъ свое настоящее значеніе, только и могутъ быть оцѣнены по достоинству. Внѣшнія обстоятельства, конечно, измѣнились; но основные вопросы, поставленные Тютчевымъ, или вѣрнѣе, поставленные исторіею и имъ только указанные, пребываютъ все тѣ же, еще не рѣшенные, еще ожидающіе роковаго отвѣта; многое же, провидѣнное и предугаданное имъ 30 лѣтъ тому назадъ, сбылось позднѣе съ удивительною точностью. Замѣчателенъ также въ этихъ статьяхъ литературный пріемъ автора и общій тонъ его обращенія къ Западу. Это не запальчивый натискъ какъ-бы взбунтовавшагося Скиѳа, нѣкогда раболѣпно преклонявшагося предъ Европейскою цивилизаціей, а теперь злобно и радостно свергающаго съ себя оковы духовнаго плѣна; это вѣжливый и твердый языкъ человѣка вполне свободнаго, вполне равноправнаго, спокойно и безпристрастно *судящаго Западу*, какъ мы уже выразились однажды, и притомъ языкъ такого судьи, котораго компетентности не могутъ отрицать и сами иностранцы. Они и дѣйствительно чувствовали, какъ видно изъ всѣхъ ихъ отзывовъ, что этотъ Скиѳъ по происхожденію— въ то же время единый отъ нихъ по цивилизаціи; что ему, не менѣе чѣмъ и имъ, вѣдомы прошлыя и настоящія судь-

бы, силы и болѣзни Романо-Германской Европы,—и что съ своими противниками онъ борется ихъ же оружіемъ.

Первое, по времени, мѣсто изъ трехъ статей принадлежить той статьѣ, которая написана еще въ Мюнхенѣ въ 1844 году и озаглавлена въ Русской печати (Русскій Архивъ 1873 г. тетрадь 10-я): «Россія и Германія». Въ подлинникѣ (руки самого автора) она называется: *Lettre à M-r le D-r Gustave Kolb, rédacteur de la G. Universelle*. Мы уже выше указывали, что это письмо было напечатано въ Германіи, и что ему уже предшествовало письмо, вѣроятно небольшое и вѣроятно также напечатанное. Во всякомъ случаѣ статья «Россія и Германія» есть продолженіе переписки съ редакторомъ Всеобщей Аугсбургской газеты. Въ Русскомъ Архивѣ она начинается со словъ о книгѣ Кюстина, потому что опущено самое вступленіе въ статью, изъ котораго первыя строки уже приведены нами въ первомъ отдѣлѣ нашего очерка; вотъ еще нѣсколько словъ изъ этого вступленія:

«Я Русскій, м. г., какъ я уже имѣлъ честь вамъ объяснить, Русскій сердцемъ и душою, глубоко преданный своей землѣ, въ мирѣ съ своимъ правительствомъ и сверхъ того совершенно независимый по своему положенію \*). Стало-быть мнѣніе, которое я попытаюсь здѣсь высказать—мнѣніе Русское, но свободное и совершенно чуждое всякихъ расчетовъ... И не опасайтесь, чтобы, въ качествѣ Русскаго, я ввязался, въ свою очередь, въ жалкую полемику, вызванную недавно однимъ жалкимъ памфлетомъ. Нѣтъ, м. г., это дѣло не настолько серьезно. Книга г. Кюстина» и пр. \*\*).

---

\*) Онъ находился тогда въ отставкѣ.

\*\*) Вотъ все это вступленіе въ подлинникѣ: «M-r le Rédacteur. L'accueil que vous avez fait dernièrement à quelques observations que j'ai pris la liberté de vous adresser, ainsi que le commentaire modéré et raisonnable dont vous les avez accompagnées, m'ont suggéré une singulière idée. Que serait-ce, monsieur, si nous essayons de nous entendre sur le fonds même de la question? Je n'ai pas l'honneur de vous connaître personnellement. En vous écrivant, c'est donc à la G. Universelle d'Augsb. que je m'adresse. Or, dans l'état actuel de l'Allemagne, la Gaz. d'Augsbourg est quelque chose de plus, à mes yeux,

Въ книгѣ Кюстина авторъ видитъ «новое доказательство того умственного безстыдства и духовнаго растлѣнія (отличительной черты нашего времени, особенно во Франціи) благодаря, которымъ позволяютъ себѣ относиться къ самымъ важнымъ вопросамъ *болѣе нервами, чѣмъ разсудкомъ*, и судить *цѣлый особый міръ* (un monde) съ меньшею серьезностью», чѣмъ судили бывало о водевилѣ \*). Въ двухъ-трехъ словахъ очерчиваетъ онъ наивность противниковъ Кюстина, взявшихся защищать Россію. Они похожи, говоритъ онъ, «на людей, которые въ избыткѣ усердія поспѣшили бы раскрыть свой зонтикъ, чтобы предохранить отъ дневнаго зноя вершину Монблана». Нѣтъ—продолжалъ онъ—рѣчь моя не объ апологіи Россіи. «Апологія Россіи! Истинный апологистъ Россіи—исторія, постоянно, въ теченіи трехъ столѣтій, разрѣшающая въ ея пользу всѣ тѣжбы, въ которыя вовлекались послѣдовательно ея таинственные судьбы \*\*).

---

qu'un journal. C'est la première de ses tribunes politiques... Si l'Allemagne avait le bonheur d'être une, son gouvernement pourrait à plusieurs égards adopter ce journal pour l'organe légitime de sa pensée. Voilà pourquoi je m'adresse à vous. Je suis Kusse, monsieur, ainsi que j'ai déjà eu l'honneur de vous le dire, Kusse de coeur et d'âme, profondément dévoué à mon pays, en paix avec mon gouvernement et, de plus, tout-à-fait indépendant par ma position. C'est donc une opinion russe, mais libre et parfaitement désintéressée que j'essayerai d'exprimer ici... Cette lettre, comprenez moi bien, s'adresse plus encore à vous, monsieur, qu'au public. Toutefois vous pouvez en faire tel usage qu'il vous plaira. La publicité m'est indifférente. Je n'ai pas plus de raisons de l'éviter que de la rechercher... Et ne craignez pas, monsieur, qu'en ma qualité de Kusse je m'engage à mon tour dans la pitoyable polémique qu'a soulevée dernièrement un pitoyable pamphlet. Non, monsieur, tout cela n'est pas assez sérieux. Le livre de M-r de Custine» etc.

\*) Въ Русскомъ изложеніи какъ этой, такъ и другихъ статей Тютчева, мы отчасти пользуемся переводомъ напечатаннымъ въ Русскомъ Архивѣ, отчасти же переводимъ сами.

\*\*) ...qui depuis trois siècles ne se lasse pas de lui faire gagner tous les procès, dans lesquels elle a successivement engagé ses mystérieuses destinées.

Поводомъ къ статьѣ Тютчева послужили бѣшенныя нападки на Россію публицистовъ самой Германіи. Въ то время политика Петербургскаго кабинета управляла политикою всѣхъ Нѣмецкихъ правительствъ, сдерживала *statu quo*, созданное Священнымъ Союзомъ, и государь Николай Павловичъ, когда посѣщалъ Германію и появлялся въ сонмѣ Нѣмецкихъ властителей, казался верховнымъ надъ ними повелителемъ, — *comme un suzerain parmi ses vassaux*, по выраженію Тютчева въ его устномъ разсказѣ. Тѣмъ обиднѣе и несноснѣе было такое тяготѣніе Россіи для самого Германскаго общества: оно видѣло въ Россіи помѣху какъ своимъ либеральнымъ стремленіямъ, такъ и еще болѣе стремленіямъ къ политическому единству. Тютчевъ доказываетъ въ своей статьѣ, что самая разумная политика для Германіи—это держаться Россіи, что Германія только Россіи обязана своимъ освобожденіемъ отъ преобладанія Франціи, равно и самымъ своимъ тридцатилѣтнимъ мирнымъ національнымъ развитіемъ; что настоящее ея федеративное устройство есть самая органическая для нея норма единства, и что, лишившись поддержки Россіи, Германія утратитъ и свое единство, и политическую независимость. Вотъ послѣдовательный ходъ его мысли въ самой статьѣ.

Указавъ на противорѣчіе политики Германскихъ правительствъ съ общественнымъ мнѣніемъ и на значительность успѣха, добытаго врагами Россіи (неутомимо, въ теченіи десятка лѣтъ, возбуждавшими противъ нея умы въ Германіи), Тютчевъ продолжаетъ: «Эту самую державу, которую великое поколѣніе 1813 года привѣтствовало съ такою восторженною благодарностью, — державу, которой вѣрный союзъ и дѣятельная, безкорыстная дружба не измѣнили ни разу, въ продолженіи 30 лѣтъ, ни народамъ, ни государямъ Германіи, удалось», въ понятіяхъ большинства людей настоящаго поколѣнія, обратить «въ какое-то пугало, такъ что многіе возмущалые умы нашей эпохи не усомнились вернуться вспять, къ невинному слабоумію младенческаго возраста, дабы имѣть удовольствіе взирать на Россію, какъ на сказочнаго людобѣда XIX вѣка \*)»... «Конечно, если бы только

---

\*) ...et bien des intelligences viriles de notre époque n'ont pas hé-

подозрѣвали у Нѣмцевъ, какъ мало чувствительны для Россіи всѣ эти бѣшенныя нападки, можетъ-быть даже самыя яркіе ея противники призадумались бы»; но рѣчь идетъ не о Россіи, а о Германіи. Какихъ послѣдствій можетъ ожидать для себя Германія отъ подобнаго, враждебнаго Россіи настроенія мыслей? Куда приведутъ Германію эти фанатичныя умы, двигая дѣло все далѣе и далѣе въ направленіи самомъ противоположномъ политикѣ Нѣмецкихъ правительствъ? «Продолжая толковать о Германскомъ единствѣ,—говоритъ Тютчевъ,—со взорами постоянно обращенными къ Германіи, они незамѣтно, такъ сказать пятася, приближаются къ роковому скату, къ скату пропасти, въ которую Германія уже неоднократно ниспровергалась».

Затѣмъ Тютчевъ вкратцѣ обрисовываетъ внѣшнюю исторію Германіи. Ужели, спрашиваетъ онъ, это роковое стремленіе къ саморазрушенію (*déchirement*) подобно фениксу, призвано возрождаться во всѣ великія эпохи вашего отечества? «Это стремленіе, которое разразилось въ Средніе вѣка нечестивымъ и антихристіанскимъ поединкомъ между іерархіею и имперіей, которое вызвало эту убійственную войну князей съ императорами, которое, ослабѣвъ на время при всеобщемъ изнуреніи Германіи, вновь окрѣпло и разцвѣло благодаря Реформаціи и, воспринявъ отъ нея окончательную форму и какъ бы законное посвященіе (*comme une conjugation légale*), принялось за дѣло съ большимъ чѣмъ когда-либо рвеніемъ, становясь подъ каждое знамя, признавая каждое притязаніе,—всегда одно и то же подъ различными именами, пока наконецъ, дойдя до рѣшительнаго кризиса 30-ти лѣтней войны, призвало оно къ себѣ на помощь сначала иноземца—Швецію, потомъ приобщило къ себѣ окончательно врага—Францію, и довершило со славою, менѣе чѣмъ въ два вѣка, свое смертоносное призваніе»... «Съ конца Среднихъ вѣковъ—продолжаетъ онъ—Франція не переставала расти, и съ той же самой поры Германская имперія, благодаря религіознымъ распрямъ, вступила въ свой послѣдній періодъ, періодъ своего законнаго распада (*sa désorga-*

---

site à retrograder jusqu'à la candide imbécillité du premier âge pour se donner la satisfaction de voir dans la Russie l'ogre du XIX siècle.

nisation légale): даже побѣды, вами одержанныя, оставались безплодными для васъ, потому что не могли остановить внутреннего разложенія... При Людовикѣ XIV, несмотря на неудачи великаго короля, Франція восторжествовала; ея вліяніе вполне поработило Германію; наконецъ настала Революція, которая, исторгнувъ изъ Французской національности всё до послѣдняго отпрыски ея Германскаго происхожденія и сродства, и возвративъ Франціи ея исключительно Романскій характеръ, начала противъ Германіи, противъ самаго принципа ея существованія, послѣднюю борьбу, борьбу на смерть... И именно въ тотъ мигъ, какъ вѣнчанный солдатъ этой Революціи разыгрывалъ пародію на имперію Карла Великаго, вынуждая народы Германіи, къ вящему ихъ униженію, принимать участіе въ этой пародіи, — въ тотъ именно мигъ совершился переворотъ, и все измѣнилось»...

Какой же результатъ переворота? «Истекшія 30 лѣтъ (съ 1814 по 1844 г.), конечно, должны быть причтены къ самымъ лучшимъ во всей Германской исторіи; *въ продолженіи уже многихъ вѣковъ не принадлежала самой себѣ Германія* въ такой полной степени, не сознавала себя столь *единою, собою самой*; много вѣковъ не занимала она, относительно своей вѣчной соперницы, такого твердаго, такого сильнаго положенія... Жители прирейнскіе вновь Германцы и сердцемъ, и душою; Бельгія, которую послѣднее Европейское потрясеніе, казалось, кинуло въ объятія Франціи, оставилась на краю, и очевидно на обратной дорогѣ къ вамъ... Голландія рано или поздно не можетъ не примкнуть къ вамъ. Таковъ конечно исходъ великаго поединка, длившагося въ теченіи двухъ вѣковъ; вы вполне восторжествовали, за вами осталось послѣднее слово»...

Но однако, какимъ же образомъ совершился такой громадный переворотъ? Кѣмъ? Чтò было ему причиной?.. «Причиной ему было появленіе на полѣ битвы Европейскаго Запада третьей силы, — *а эта третья сила была цѣлый міръ...*»

Вотъ чтò затѣмъ говорить Тютчевъ о Россіи:

... Въ наше время она стала предметомъ пламеннаго, тревожнаго любопытства; очевидно, она сдѣлалась одною изъ главнѣйшихъ заботъ вѣка; но эта загадка, надобно въ томъ сознаться... скорѣе гнететъ

его, чѣмъ возбуждаетъ. И оно не могло быть иначе. Современная мысль, дѣтище Запада, чувствуетъ себя здѣсь передъ стихіей если не враждебной, то все же вполне ей чуждой, отъ нея независимой, и какъ будто боится уронить собственное достоинство, подвергнуть сомнѣнію собственную свою законность, если признаетъ исполнѣ законность поставленнаго предъ нею вопроса, если серьезно и добросовѣстно потщится его понять и рѣшить... Что такое Россія? Гдѣ причина ея бытія, ея историческій законъ? Откуда взялась она? Куда идетъ? Что выражаетъ собою? Правда, міръ отвелъ ей видное мѣсто подъ солнцемъ, но философія исторіи еще не соблаговолила назначить ей мѣсто.... Долго послѣ открытія Америки люди Старого Свѣта отказывались вѣрить въ существованіе новаго материка и упорствовали въ мнѣніи, что вновь открытыя страны составляютъ лишь дополненіе, продолженіе извѣстнаго имъ полушарія. Такова же была судьба—продолжаетъ Тютчевъ—и тѣхъ понятій, которыя сложились въ Западной Европѣ объ этомъ другомъ Новомъ Свѣтѣ, Европѣ Восточной, которой Россія искони была душою, двигателемъ, и которой она призвана была дать свое славное имя, въ награду за историческое бытіе, уже данное ею этому свѣту или имъ отъ нея ожидаемое... Цѣлые вѣка Европейскій Западъ съ полнѣйшимъ простодушіемъ вѣрилъ, что не было и быть не могло никакой другой Европы кромѣ его. Правда, ему было извѣстно, что за его предѣлами существовали еще народы и государства, называвшіе себя христіанскими; во времена своего могущества онъ даже захватывалъ края этого безымяннаго міра, даже отторгъ нѣсколько клочковъ, и кое-какъ втѣрилъ ихъ въ себя, извращая, подавляя ихъ національный характеръ \*)... Но чтобы внѣ этихъ крайнихъ предѣловъ существовала другая Европа, Европа Восточная, сестра вполне законная христіанскаго Запада, христіанская какъ и онъ; правда, не феодальная и не іерархическая, но по тому самому еще болѣе искренно-христіанская (*plus intimement chrétienne*); чтобы былъ тамъ цѣлый міръ, единый по своему началу, солидарный въ своихъ частяхъ, живущій своею собственною, органическою, своеобразною жизнью: вотъ чего допустить было невозможно, вотъ въ чемъ бы многимъ хотѣлось усомниться даже и въ наши дни... Долгое время это заблужденіе было извинительно; созидательная сила была какъ бы схоронена въ хаосѣ... Но наконецъ... рука исполнина сдернула завѣсу, и Европа Карла Великаго очутилась лицомъ къ лицу съ Европой Петра Великаго...

---

\*) Тютчевъ разумѣетъ здѣсь Западныхъ Славянъ.

Затѣмъ — прибавляетъ Тютчевъ — все уяснилось: «уяснилась и причина этого необычайнаго расширенія Россіи, такъ изумившаго вселенную; стало понятнымъ, что

Эти мнимыя завоеванія, мнимыя насилія были дѣломъ самымъ органическимъ, самымъ законнымъ, какое когда-либо совершалось въ исторіи: это просто было громадное возстановленіе (restauration). Понятно также, почему погибли и исчезли постепенно отъ ея руки всѣ встрѣченныя ею на своемъ пути: неправильныя тяготѣнія, власти и учрежденія, измѣнившія великому началу, котораго она была представительницею; почему Польша должна была погибнуть, — не своеобразность ея Польской племенной особенності, чего Боже сохрани! (non pas l'originalité de sa race polonaise), но та ложная цивилизація, та ложная національность, которая была ей привита.

Замѣчательны слѣдующія строки о Восточномъ вопросѣ:

Съ этой также точки зрѣнія всего лучше можно будетъ оцѣнить истинное значеніе того, что называется Восточнымъ вопросомъ, который стараются выдать за неразрѣшимый, именно потому, что всѣ уже давно провидѣли его неизбежное разрѣшеніе. Въ самомъ дѣлѣ, остается только узнать, обрѣтетъ ли Восточная Европа, уже на три четверти сложившаяся, — эта истинная Имперія Востока, для которой — первая Имперія Византійскихъ кесарей, древнихъ православныхъ царей, была только слабымъ и неполнымъ предначертаніемъ, — обрѣтетъ или нѣтъ Восточная Европа свое послѣднее, необходимѣйшее дополненіе, — добудетъ ли она его естественнымъ ходомъ событій, или будетъ вынуждена добывать его силою оружія, подвергая міръ величайшимъ бѣдствіямъ.

Здѣсь уже обрисовывается то понятіе автора объ Россіи, которое полнѣе и прямѣе высказано имъ въ позднѣйшихъ статьяхъ. Такимъ образомъ еще въ 1844 году, еще пребывая въ Германіи, ни мало не стыдась Европейскаго общественнаго мнѣнія, Тютчевъ смѣло исповѣдуетъ предъ Нѣмцами свою завѣтную думу. Онъ, не обинуясь, раскрываетъ предъ ними идею и значеніе Россіи, называетъ ее Восточной Европой, — цѣлымъ міромъ, къ которому очевидно причисляетъ и все западное Славянское племя, потому что обвиняетъ За-

падъ въ присвоеніи себѣ частей этого «міра» и въ подавленіи ихъ національности. Онъ называетъ расширение Россіи только *возстановленіемъ*, еще неполнымъ, еще только на три четверти совершившимся. Но возстановленіемъ чего?.. Такой Восточной Имперіи, которой Визангійская служила только первоначальнымъ, недостаточнымъ абрисомъ... Онъ признаетъ только одно возможное рѣшеніе Восточнаго вопроса, и высказываетъ это мимоходомъ, тономъ убѣжденія, не допускающимъ даже и спора...

«Такъ вотъ какова была та третья сила — продолжаетъ Тютчевъ въ письмѣ своемъ къ Кольбу, — появленіе которой на театрѣ событій рѣшило вѣковой поединокъ Европейскаго Запада. Одно появленіе Россіи въ Нѣмецкихъ рядахъ возстановило въ нихъ единство, а единство доставило имъ побѣду... Со времени устенчившагося вмѣшательства Востока въ дѣла Запада, все измѣнилось въ Европѣ: до тѣхъ поръ васъ было двое, а теперь насъ трое!»...

Такое положеніе дѣлъ создаетъ, по мнѣнію Тютчева, три единственно-возможныя рѣшенія: или *Германія, въ качествѣ вѣрной союзницы Россіи, сохранитъ* преобладаніе въ центрѣ Европы; или это преобладаніе перейдетъ къ Франціи... но это было бы вѣрною гибелью для Германіи; или же Германія въ союзѣ съ Франціею — противъ Россіи... Но эта комбинація была уже испробована въ 1812 г. и, какъ извѣстно, имѣла мало успѣха. Къ тому же всякое сближеніе Германіи съ Франціею ведетъ къ возстановленію Рейнской конфедераціи, или къ уступкѣ Франціи части Нѣмецкой земли. Однимъ изъ главныхъ двигателей Іюльской революціи, тогда еще свѣжей памяти, Тютчевъ называетъ желаніе возмездія со стороны Франціи, стремленіе возстановить то преобладаніе на Западѣ, которымъ она такъ долго пользовалась, и которое, благодаря Россіи, перешло въ руки Нѣмцевъ. «Что было бы, говоритъ онъ, еслибъ новое Французское правительство, всякой разъ какъ оно кидало взоры за предѣлы Германіи, не встрѣчало на престолѣ Россіи постоянно одну и ту же твердую и рѣшительную постанть (*attitude*), ту же осторожность, ту же холодность, ту же незыблемую вѣрность установленнымъ союзамъ и принятымъ обязательствамъ?» При этомъ Тютчевъ напоминаетъ Нѣмцамъ, что еще недавно,

когда Тьеръ вздумалъ было возместить на Германіи свою дипломатическую неудачу на Востокъ и когда вся Германія взволновалась и запѣла Rheinlied, то быстрому отступленію предъ сей юною Нѣмецкою патріотическою пѣснью соперницы ея, старой Французской *Марсельезы*, другими словами—быстрой, благопріятной для Нѣмцевъ перемѣнѣ Французской политики, немало способствовало одно обстоятельство, очень хорошо извѣстное въ Парижѣ, но умалчиваемое Нѣмецкою печатью. «Это обстоятельство заключалось въ объявленіи Русскаго кабинета, что при первомъ проявленіи враждебности со стороны Франціи, 80,000 Русскаго войска двинутся на помощь Германской независимости, а чрезъ 6 недѣль за ними послѣдуетъ еще 200 тысячъ (\*). И тѣмъ не менѣе Нѣмецкіе публицисты продолжаютъ злобствовать на Россію!»

Положеніе Германіи, очерченное Тютчевымъ, три политическія комбинаціи, имъ указанныя, не измѣнились и понынѣ, несмотря на всѣ громадныя перевороты истекшихъ 30 лѣтъ. Многовѣковую тязбу между Франціей и Германіей можно считать проигранною Фрацузами, но кто отважится признать ее вполне разрѣшенною и сданною въ архивъ? По крайней мѣрѣ Нѣмцы еще не расположены считать Францію окончательно сошедшею съ поприща, и недавно произнесенная графомъ Мольтке рѣчь въ Прусскомъ парламентѣ о необходимости для Пруссіи имѣть всегда подъ рукою готовую грозную военную силу, доказываетъ явное опасеніе, что поединокъ съ Франціей можетъ со временемъ и возобновиться... Несмотря на величавость новаго политическаго зданія Германской Имперіи, это зданіе, какъ торжественно засвидѣ-

---

\*) Въ статьѣ г-на Léon Vogé, напечатанной въ 1873 году и упомянутой нами выше, статьѣ, направленной противъ Тьера, въ обличеніе его прежнихъ воинственныхъ замысловъ относительно Германіи (въ этихъ замыслахъ Французы винятъ теперь одного только Наполеона III),—приводятся подлинныя слова Тютчева, сказанныя автору въ 1843 году, именно объ этомъ заявленіи Императора Николая. Вѣроятно, это былъ дипломатическій секретъ, противъ обыкновенія мало огласившійся, потому что Léon Vogé придаетъ такому «сообщенію» (confidance) Тютчева большую важность и считаетъ его знакомъ особаго къ себѣ довѣрія.

тельствовалъ о томъ предъ всемъ міромъ Германскій императоръ, вслѣдъ за принятіемъ имъ имперской короны (въ своей телеграммѣ къ Императору Александру II),—это зданіе обязано появленіемъ своимъ на свѣтъ Божій единственно политическому содѣйствію Россіи. Германская Имперія и въ настоящую пору сильна только въ союзѣ съ Россіей, — не потому, чтобы Германія не въ состояніи была справиться одна съ Франціей, но потому, что, при участіи Россіи въ спорѣ между этими двумя державами Запада, Россіи одной принадлежитъ рѣшеніе спора въ пользу той или другой стороны.

Во имя чего же,—спрашиваетъ Тютчевъ,—приняла Россія (въ 1813 году) сторону Германіи? «Во имя исторической *правды*, для того, чтобы разъ навсегда утвердить торжество права, исторической законности надъ революціоннымъ образомъ дѣйствій (*elle a voulu donner gain de cause une fois pour toutes au droit, à la légitimité historique sur le procédé révolutionnaire*)». Почему же ей это нужно? Потому, что «историческая правда — это ея собственное знамя, ея собственный интересъ, интересъ ея будущности: законности исторической требуетъ Россія для себя и для своихъ». Тютчевъ, конечно, подразумѣваетъ здѣсь между прочимъ законность правъ Россіи по отношенію къ Востоку...

«Вы заняты—съ такими словами обращается Тютчевъ къ Нѣмцамъ— заняты вотъ уже нѣсколько лѣтъ, великимъ вопросомъ объ единствѣ Германіи. Не всегда такъ было, вы это знаете сами. Я уже давно живу между вами и могу съ точностью означить эпоху, когда этотъ вопросъ впервые сталъ волновать умы... Забота, конечно, похвальная, безспорно законная, но происхожденія недавняго... «Правда, Россія никогда не проповѣдывала единства Германіи, но въ теченіи тридцати лѣтъ сряду не переставала и не перестаетъ внушать Германіи единеніе, согласіе, взаимную довѣренность, подчиненіе частныхъ интересовъ великому дѣлу общаго интереса»...

Утверждаютъ, что Русское вліяніе всего болѣе мѣшаетъ развитію въ Германіи конституціоннаго образа правленія; но «не безразсудно ли—возражаетъ на это Тютчевъ—стараться выдать Россію за систематическаго противника той или

другой правительственной системы? И какъ бы она могла стать тѣмъ, что она есть, и достичь такого значенія въ мірѣ, съ подобною узкостью понятій? Конечно, она всегда энергически подавала голосъ въ пользу честнаго сохраненія учрежденій уже существующихъ и принятыхъ обязательствъ... Затѣмъ, можетъ быть, по ея мнѣнію, было бы едва ли и благо-разумно, въ интересъ самаго единства Германіи, допускать въ ней развитіе парламентаризма до той же силы преимуществъ, какою онъ пользуется въ Англіи или во Франціи: «задача единства сдѣлалась бы неразрѣшимой въ Германіи — раздробленной полдюжиною полновластныхъ парламентскихъ трибунъ».

Доискиваясь какой-либо разумной причины ненависти Нѣмцевъ къ Россіи, и не находя ни одной, Тютчевъ говоритъ:

Я знаю, что въ крайнемъ случаѣ найду безумцевъ, которые самымъ серьезнымъ образомъ скажутъ мнѣ: «Мы должны васъ ненавидѣть; ваше основное начало, начало вашей цивилизаціи внушаетъ намъ Нѣмцамъ, намъ западникамъ отвращеніе: у васъ не было ни феодализма, ни папской іерархіи; вы не пережили ни борьбы между имперіей и папскимъ престоломъ, ни религіозныхъ войнъ, ни даже инквизиціи; вы не принимали участія въ крестовыхъ походахъ; вы не знали рыцарства; вы четыре столѣтія тому назадъ обрѣли то единство, къ которому мы еще стремимся; ваше основное начало не удѣляетъ достаточнаго простора личной свободѣ, оно мало допускаетъ разьединеніе и раздробленіе». Все это такъ. Но воспрепятствовало ли все это намъ пособлять вамъ при случаѣ, когда требовалось отстоять, возстановить вашу политическую самостоятельность, вашу національность?

«Умѣйте же уважать и нашу національность, — такъ прибавляетъ Тютчевъ, уважать ее въ ея единствѣ и силѣ, и при всѣхъ нашихъ недостаткахъ, которыми мы не богаче другихъ. Враждебное къ Россіи расположеніе умовъ въ Германіи представляетъ опасность — не для Россіи, конечно, а для самой Германіи»...

Нельзя не признать, что съ появленіемъ этой статьи Тютчева *впервые* раздался въ Европѣ твердый и мужественный голосъ Русскаго общественнаго мнѣнія. Никто никогда изъ частныхъ лицъ въ Россіи еще не осмѣливался говорить

прямо съ Европою такимъ тономъ, съ такимъ достоинствомъ и свободой. Это мужество, эту силу почерпнулъ Тютчевъ, конечно, не изъ отечественной своей среды, а изъ себя самого, — изъ того народнаго самосознанія, которое носилъ и выработалъ въ себѣ за границей. Онъ на чужбинѣ явился *передовымъ Русскимъ*—даже для Русскихъ въ самой Россіи...

Взглядъ Тютчева на Германское единство, выраженный въ 1844 году, покажется читателямъ, можетъ-быть, ошибочнымъ, во всякомъ случаѣ не оправданнымъ событіями... Мы не станемъ его здѣсь ни защищать, ни опровергать, потому что онъ изложенъ подробнѣе въ другихъ статьяхъ Тютчева, къ которымъ и переходимъ.

Вторая, слѣдующая по порядку статья—есть та «записка поданная Императору Николаю о положеніи Европы послѣ Февральской революціи», которая была написана въ Апрѣлѣ 1848 г., напечатана въ 1849 г. въ Парижѣ особой брошюрой барономъ Бургуаномъ и помѣщена въ Русскомъ Архивѣ 1873 года, тетрадь 5-я подъ заглавіемъ: «Россія и Революція».

Многимъ, конечно, памятно то потрясающее дѣйствіе, которое произвела на умы, — не только въ Европѣ, но даже и среди русскаго общества, — Февральская революція, разразившаяся какъ громъ изъ яснаго неба. Революціонное пламя быстро обхватило всю Западную Европу; будто вихремъ снесло тотъ политическій распорядокъ, въ которомъ жила и двигалась Европа послѣ 1814 года, подъ опекой Священнаго Союза; ревъ пожара, клики мятущихся, гамъ восторговъ и проклятій,—все это вскорѣ слилось въ одинъ общій гулъ вражды, ненависти, злобы къ Россіи, неистовой хулы и угрозъ. Никто изъ энтузіастовъ Февральской революціи не предвидѣлъ въ то время, что она разрѣшится для Франціи цезаризмомъ самаго сквернаго качества, а распатавшаяся политическая система приведетъ Среднюю Европу, цѣлымъ рядомъ послѣдовавшихъ событій, къ уtratѣ пресловутаго политическаго равновѣсія—къ гегемоніи Пруссіи, —къ Бисмарку. Февральскій мятежъ сильно возбудилъ и подвигъ все нравственное существо Тютчева, и какъ поэта, и какъ мыслителя, и какъ Русскаго постоянно созерцавшаго, въ своихъ думахъ, будущія судьбы Россіи;—но онъ не удивилъ его,

не измѣнилъ его взглядовъ и мнѣній, а напротивъ явился для него новымъ свидѣтельствомъ, новымъ подтвержденіемъ въ пользу его выводовъ и гаданій. Онъ, какъ мы знаемъ, уже съ 1830 года, послѣ знаменитыхъ Іюльскихъ дней, предсказывалъ логическую неизбежность новыхъ насильственныхъ переворотовъ. Какъ въ статьѣ о Революціи, такъ и въ другой статьѣ «о Римскомъ вопросѣ и папствѣ», связанной съ первою органически, писанной почти одновременно, однимъ пошибомъ пера, выступаетъ наружу замѣчательная способность Тютчева: усматривать въ отдѣльномъ явленіи, въ данномъ внѣшнемъ событіи, его внутренній, сокровенный, міровой смыслъ. Откидывая внѣшнія частности, онъ въ каждой заботѣ текущаго дня обращается мыслью назадъ, къ ея историческимъ основамъ, ищетъ и отыскиваетъ въ случайномъ и временномъ вопросѣ *пребывающій*, — роковой, какъ онъ выражается. Вотъ и причина, почему его политическія статьи, хотя и вызваны событіями, которымъ минуло болѣе четверти вѣка, нисколько не утрачиваютъ значенія современности. Въ срокѣ и способѣ разрѣшенія поставленныхъ Тютчевымъ вопросовъ ему приходилось нерѣдко и ошибаться; въ этомъ отношеніи поэтъ бралъ перевѣсъ надъ мыслителемъ, и вѣрныя соображенія строгой отвлеченной мысли нерѣдко, относительно времени и формы воплощенія, переходили въ поэтическія мечтанія. Такъ онъ ждалъ разрѣшенія «роковымъ» вопросамъ и въ 1849 году, и въ 1854, — отсрочивалъ дальше, и не дождался разрѣшенія. Но повторяемъ: время не упразднило самихъ вопросовъ, а многіе изъ нихъ поставило еще рѣзче.

Объ статьи — слово обращенное къ Западной Европѣ, а не къ Россіи, и слово съ властью, вызвавшее къ себѣ вниманіе въ Западной Европѣ, обыкновенно тугой на ухо для Русской литературной рѣчи. Особенно въ то время мало была она расположена слушать голоса изъ Россіи. Впрочемъ, этихъ голосовъ вовсе и не раздавалось: голосъ Тютчева былъ первый и въ ту пору единственный, возвѣстившій Европѣ Русскую мысль, Русскую точку зрѣнія. Явленіе для нея неслыханное; но года черезъ два, по поводу возбужденной Тютчевымъ полемики, раздалось и еще слово, — слово Хомякова, въ цѣломъ рядѣ брошюръ богословскаго содержанія,

еще глубже раскрывшее духовную сущность Запада, съ ея религіозной стороны, и до сихъ поръ еще недостаточно оцѣненное, не только на Западѣ, но и—стыдно сказать—въ самой православной Россіи, блюстителями ея православія....

Блистательное изложеніе Тютчева, конечно, много теряетъ въ Русскомъ переводѣ, но мы имѣемъ дѣло не съ достоинствомъ его Французской прозы, а съ его Русскою мыслью.

Свою статью о Россіи и Революціи Тютчевъ начинаетъ прямо слѣдующимъ положеніемъ: «Уже съ давнихъ поръ въ Европѣ только двѣ дѣйствительныя силы, двѣ истинныя державы: Революція и Россія (*deux puissances réelles*). Онѣ теперь сошлись лицомъ къ лицу, а завтра можетъ-быть схватятся. Между тою и другою не можетъ быть ни договоровъ, ни сдѣлокъ. Чтѣ для одной жизнь—для другой смерть. Отъ исхода борьбы, завязавшейся между ними, величайшей борьбы, когда-либо видѣнной міромъ, зависитъ на многіе вѣки вся политическая и религіозная будущность человѣчества.... Это соперничество бьетъ теперь всѣмъ въ глаза,—но несмотря на то, такова несмысленность вѣка притупленнаго мудрованіемъ (*telle est l'inintelligence d'un siècle hébété par le raisonnement*), что современное поколѣніе, въ виду такого громаднаго факта, далеко еще не сознало его настоящаго значенія и его причинъ. Ему искали разъясненія въ соображеніяхъ политическихъ; пытались истолковать различіемъ понятій, чисто человѣческихъ, о благоустройствѣ... Нѣтъ. Противоборство Революціи съ Россіей исходитъ изъ причинъ несравненно болѣе глубокихъ; вотъ онѣ въ двухъ словахъ»... Приводимъ это мѣсто вполнѣ:

Россія прежде всего держава христіанская; Русскій народъ христіанинъ, не въ силу только православія своихъ вѣрованій (*l'orthodoxie de ses croyances*), но еще въ силу того, чтѣ еще задушевиѣ вѣрованія (*mais encore par quelque chose de plus intime encore que la croyance*). Онѣ христіанинъ по той способности къ самоотверженію и самопожертвованію, которая составляетъ какъ бы основу его нравственной природы. Революція же, прежде всего, врагъ христіанства. Антихристіанскимъ духомъ одушевлена Революція: вотъ ея существенный, ей именно свойственный характеръ. Наружныя формы, въ которыя она отъ времени до времени облакалась, лозунги, которые попеременно усвоивала, все, даже ея насилія и преступленія, все это придатокъ или случайность. Но чтѣ не

придатокъ и не случайность—это антихристіанское начало, ея вдохновляющее; оно-то (нельзя же этого не признать) и доставило ей такое грозное господство надъ міромъ. Тотъ, кто этого не разумѣетъ, не болѣе какъ спящее, шестьдесятъ лѣтъ присутствующій при арбіищѣ представляемому вселенной.

Человѣческое я, хотящее зависѣть только отъ самого себя, не признающее, не принимающее никакого иного закона кромѣ собственнаго изволенія,—человѣческое я, однимъ словомъ, поставляющее себя вмѣсто Бога,—явленіе конечно не новое межъ людьми,—но что было ново—это самовластіе (absolutisme) человѣческаго я, возведенное на степень политическаго и соціальнаго права, и его притязаніе, въ силу такого права, овладѣть человѣческимъ обществомъ. Эта-то новизна и назвалась въ 1789 году Французской Революціей \*).

Съ тѣхъ поръ, продолжаетъ Тютчевъ, «Революція, не смотря ни на какія метаморфозы, осталась вѣрна своей природѣ; но никогда не чувствовала она себя въ такой степени самой собою, такъ искренно проникнутою антихристіанскимъ духомъ, какъ именно тогда, когда присвоила себѣ лозунгъ христіанъ: *братство*. Если прислушаться къ тѣмъ наивно-богохульнымъ разглагольствованіямъ, которыя сдѣлались, такъ сказать, оффиціальнымъ языкомъ эпохи, можно было бы подумать, что новая Французская республика для того только и явилась въ мірѣ, чтобъ выполнить евангельскій законъ. Она даже прямо приписываетъ себѣ такое призваніе, только съ небольшимъ измѣненіемъ, оговореннымъ Революціей; именно: на мѣсто духа смиренія и самоотреченія—въ чемъ самая сущность христіанства—она водворяетъ духъ гордости и преобладанія; на мѣсто любви (*charité*) свободной и добровольной—любовь вынужденную; взаимнѣе братства, пропо-

---

\*) Приводя эти строки Тютчева, въ своей рецензіи въ *Revue des Deux Mondes*, Форкадъ, извѣстный Французскій публицистъ, прибавляетъ: *Sans adopter dans tous ses points ce jugement, on ne le trouvera peut-être pas dénué de profondeur, et n'était que m-r de Maistre professait une autre opinion sur l'orthodoxie, il n'eut point autrement parlé. Boreé, въ своей статейкѣ, также выписываетъ эти строки, какъ «особенно замѣчательныя». Очевидно, что Французамъ эта точка зрѣнія казалась совершенно новою.*

вѣдуемаго и воспринимаемаго во имя Бога, — братство насильственно налагаемое страхомъ къ народу-владыкѣ»...

Февральскій взрывъ, по словамъ Тютчева, оказалъ великую услугу тѣмъ, что сокрушилъ призраки, окутывавшіе дѣйствительность. Ясно стало всѣмъ, что «исторія Европы за послѣдніе тридцать три года была лишь долгою мистификаціей.» Кто же не понимаетъ теперь, продолжаетъ Тютчевъ, «какъ смѣшны были притязанія этой мудрости вѣка, которая пренаивно вообразила, что ей уже совсѣмъ удалось смирить Революцію конституціонными заклинаніями (par l'exorcisme constitutionnel), — обуздать ея страшную энергію формулами законности? Кто же можетъ еще сомнѣваться въ томъ, что, какъ скоро принципъ революціонный проникъ въ кровь и плоть общества, — всѣ эти сдѣлки не что иное какъ наркотическія средства, способныя, пожалуй, на время усыпить больнаго, но не останавливающія хода самой болѣзни? Вотъ почему Революція не только поглотила Реставрацію, лично ей ненавистную, но не стерпѣла и другаго правительства, отъ нея же исшедшаго, которое она хотя и признала въ 1830 году, взявъ его въ кумовья себѣ предъ Европой (pour lui servir de compère vis-à-vis de l'Europe), но которое тотчасъ же сокрушила, какъ скоро оно, вмѣсто того чтобъ служить ей, возмечтало надъ нею властвовать».

Только Русская мысль, говоритъ Тютчевъ, поставленная внѣ революціонной среды, въ состояніи судить здраво о совершающихся событіяхъ.

Этотъ взглядъ на Революцію, не какъ на случайный взрывъ, объясняемый злоупотребленіями власти, а какъ на нравственный фактъ общественной совѣсти, обличающій внутреннее настроеніе человѣческаго духа и оскуднѣніе вѣры въ Западной Европѣ, еще полнѣе развитъ у Тютчева въ другой его статьѣ, въ связи съ истолкованіемъ папства. Мы еще возвратимся къ этому предмету; здѣсь же замѣтимъ только, что по всей вѣроятности, даже несомнѣнно, сами вожди и дѣатели Революціи въ первое время вовсе не сознавали, какое именно начало полагалось ими въ основаніе сооружаемаго ими зданія. Они еще простодушно вѣрили въ зиждительную способность Революціи и думали построить прочныя учрежденія изъ элементовъ отрицанія и разрушенія, замѣняя органической про-

цессъ жизни деспотическимъ революціоннымъ процессомъ. Только позднѣе сложилось цѣлое революціонное ученіе, исповѣдующее революцію не какъ средство, а какъ принципъ, — революцію ради революціи, возводящее ее въ догматъ и законное право человѣческой свободы, другими словами: ученіе, разнуздывающее личную волю, призывающее ее обоготворить себя самое какъ истину, и рѣшать вопросъ объ истинѣ насиліемъ. Въ настоящее время восторженное поклоненіе Революціи 1789 года начинаетъ проходить и у Французовъ; они подвергаютъ изслѣдованію нравственную, духовную сторону этого событія, но, какъ Кинэ на примѣръ, путаются въ противорѣчіяхъ, не доискиваясь или не желая видѣть настоящей причины. Заслуга Тютчева въ томъ, что онъ ранѣе другихъ постигъ Революцію, взглянулъ на нее не какъ на практическій фактъ, а какъ на явленіе человѣческаго духа, разоблачилъ внутреннюю логику ея процесса, безошибочно предсказалъ ея дальнѣйшія превращенія и послѣдствія, и мужественно провозгласилъ свое осужденіе во всеуслышаніе всей Европы, не смущаясь опасеніемъ прослыть за человѣка нелиберальныхъ и ретроградныхъ мнѣній, поборника деспотизма и т. д. Впрочемъ такое обвиненіе могло бы исходить только изъ рядовъ нашихъ Русскихъ доморожденныхъ либераловъ: въ Европѣ никому и въ голову не пришло заподозрить автора въ сочувствіи къ деспотизму. Не можемъ также не обратить вниманія на вышеприведенныя слова Тютчева о христіанствѣ въ Русскомъ народѣ: они служатъ комментариемъ къ его позднѣйшимъ стихамъ о «родномъ краѣ долготерпѣнья»:

Не пойметъ и не замѣтитъ  
Гордый взоръ иноплеменный,  
Что сквозить и тайно свѣтитъ  
Въ наготѣ твоей смиренной...

Вторая часть статьи Тютчева: «Революція и Россія» относится къ Нѣмцамъ и къ Западному Славянству. По поводу успѣха революціонныхъ идей въ Германіи, Тютчевъ говоритъ, что «шестьдесятъ лѣтъ отрицательной философіи совершенно разрушили въ ней всѣ христіанскія вѣрованія и развили, въ этой пустотѣ безвѣрія (*ce néant de toute foi*), чувство революціонное по преимуществу: умственную гордость, — такъ

что эта язва времени, въ настоящую минуту, можетъ быть нигдѣ такъ не глубока, такъ не ядовита, какъ въ Германіи». Партія революціонная сумѣла воспользоваться такою почвой, и 18 лѣтъ происковъ и подкоповъ достигли своей цѣли. Вслѣдъ за Февральской Французской революціей, явила зрѣлище революціи и Германія. «Едвали это не безпримѣрный въ исторіи фактъ, остроумно замѣчаетъ Тютчевъ, видѣть, какъ цѣлый народъ промышляетъ чужимъ добромъ, заимствованнымъ у другаго народа и въ ту самую минуту, какъ этотъ послѣдній предается самымъ крайнимъ неистовствамъ» \*).

Какое же истинное побужденіе и оправданіе всѣхъ этихъ очевидно искусственныхъ волненій, низвергшихъ въ настоящую минуту весь строй Германіи? тѣмъ внушены они, спрашиваетъ Тютчевъ. Сошлются, конечно, на всеобщее, искреннее желаніе *Германскаго единства*. Но, возражаетъ онъ, не путемъ Революціи можетъ осуществиться это единство. Во-первыхъ, «въ современномъ обществѣ нѣтъ такого стремленія, такой потребности (какъ бы искренна и законна она ни была), которую бы Революція не исказила, овладѣвая ею, не обратила въ ложь, а это именно и случилось съ вопросомъ объ единствѣ Германіи: всякому зрячему ясно, что путь, которымъ пошла Германія отыскивая рѣшенія задачи, приведетъ не къ единству, а къ страшному раздору, къ какой-нибудь окончательной неисправимой катастрофѣ». Тютчевъ указываетъ на господствующую повсюду анархію, и прибавляетъ: «Нужно обладать тѣмъ особеннымъ родомъ тупоумія (inertie), свойственнымъ Нѣмецкимъ идологамъ, для того, чтобъ недоумѣвать: имѣетъ ли это скопище журналистовъ, адвокатовъ и профессоровъ во Франкфуртѣ, задавшееся призваніемъ возобновить времена Карла Великаго (à ressembler Charlemagne), какую-либо вѣроятность успѣха въ предпринятомъ ими дѣлѣ,—удастся ли имъ на этой колеблющейся почвѣ возстановить низвергнутую пирамиду, поставивъ ее острымъ концомъ внизъ?»

---

\*) Подлинникъ въ этомъ мѣстѣ почти неперевожимъ: c'est peut-être un fait sans précédent dans l'histoire, que de voir tout un peuple se faisant le plagiaire d'un autre, au moment même où il se livre à la violence la plus effrénée.

«Вовторыхъ—продолжаетъ Тютчевъ—вопросъ уже не въ томъ, сольется ли Германія во едино, а въ томъ: удастся ли ей спасти какую-нибудь частицу своего національнаго существованія. Республиканская партія одержала уже значительный успѣхъ, и «Нѣмцы не замѣчаютъ, что она имѣетъ за себя логику, а за собою Францію». Нѣмцы не догадываются, что въ глазахъ республиканской Германской партіи «вопросъ о національности не имѣетъ ни смысла, ни значенія. Въ интересахъ своей революціонной задачи, она ни на минуту не поколеблется принести въ жертву независимость своей страны и завербовать всю Германію подъ знамя Франціи, хотя бы подъ красное знамя... Она—авангардъ Французскаго нашествія».

Не можемъ не остановиться на этихъ строкахъ, написанныхъ двадцать пять лѣтъ тому назадъ, и такъ мѣтко, безъ всякихъ данныхъ, охарактеризовавшихъ впередъ логическій процессъ революціоннаго духа. Въ то время еще не существовало знаменитаго Интернаціональнаго Общества, которое такъ тщательно вытравливаетъ теперь въ народахъ чувство національности. Послѣдняя война Франціи съ Германіей уже явила ослабленіе во Франціи духа народности и патріотизма; Парижская коммуна провозгласила начало денационализаціи (т. е. совлеченія съ себя народности, обезнароднѣнія, если можно такъ выразиться). Конечно, въ Германіи до этого еще не дошло, — но нѣтъ сомнѣнія, что социалисты Германскіе, покуда еще безсильные въ парламентѣ, но съ каждымъ днемъ болѣе и болѣе завладѣвающіе массами рабочаго люда, несравненно ближе по своимъ симпатіямъ къ Французамъ — коммунарамъ и республиканцамъ крайней лѣвой, чѣмъ къ большинству Германскаго народа. Вспыхни во Франціи снова социальная революція, она найдетъ себѣ союзниковъ въ Германіи — въ ущербъ пресловутому единству, и оправдаются слова Тютчева, сказанныя въ этой статьѣ: *l'anarchie partout, l'autorité nulle part, et tout cela sous le coup d'une France, où bout une révolution sociale, qui ne demande qu'à déborder dans la révolution politique qui travaille l'Allemagne.* Было бы совершенно ложно видѣть въ такомъ отношеніи социальныхъ партій къ народности — какое-то прогрессивное движеніе къ высшему идеалу общечеловѣческаго единства.

Этотъ духовный идеаль преподанъ христіанствомъ, и путь къ нему въ христіанствѣ и чрезъ христіанство. Для новѣйшихъ же социалистовъ узъ народности также ненавистны, какъ и узъ семейныя, какъ и всякія нравственныя узъ: ихъ главный врагъ, по ненависти къ которому они всѣ, безъ различія націй, сознають себя братьями—это христіанство. Они всѣ граждане новаго, чаемаго ими міра—антихристіанскаго. Распространеніе такого ученія въ Германіи, во всякомъ случаѣ, не только не содѣйствуетъ упроченію ея политическаго единства, но если только восторжествуетъ, неминуемо приведетъ какъ Германію, такъ и каждую страну, къ утратѣ своей исторической политической индивидуальности.

Тютчевъ и въ этой статьѣ повторяетъ, или вѣрнѣе, опредѣлительно высказываетъ убѣжденіе, что *единственно возможное единство для Германіи*,—для Германіи настоящей, не той, какая измышлена журналами, а *какою создала ее исторія*,—заключалось въ томъ политическомъ устройствѣ, которымъ пользовалась Германія 33 года сразу послѣ войны съ Наполеономъ I-мъ и которое дало ей 33 года мира. Но это устройство и этотъ миръ возможны были только подъ однимъ условіемъ: чтобъ Австрія и Германія крѣпко держались за Россію...

Тютчевъ предсказалъ вѣрно. Миръ Германіи и ея политическое устройство были нарушены, какъ скоро Австрія отстала отъ союза съ Россіей,—за что Австрія и поплатилась потерю своего политическаго первенства въ Германіи, совершеннымъ исключеніемъ изъ Германскаго союза и торжествомъ Пруссіи. Миръ Германіи, ни внѣшній, ни внутренній, не упроченъ. Хотя внѣшній миръ повидимому и обеспечивается тягостнымъ для народа содержаніемъ громадной военной силы, однако какъ Германія, въ лицѣ Пруссіи, такъ и Австрія — настоящимъ обезпеченіемъ мира, снова и по прежнему, считаютъ только союзъ съ Россіей, — что мы и видѣли въ послѣднее время. Намъ могутъ замѣтить, что взглядъ Тютчева на единство Германіи оказался ошибоченъ, что единство ея состоялось и притомъ въ такой политической формѣ, какой Тютчевъ и не предвидѣлъ. Дѣйствительно, въ то время онъ вовсе не предвидѣлъ ни измѣны Австріи относительно Россіи, ни ея послѣдствій—возникнове-

нія той Германской Имперіи, которая теперь олицетворяетъ единство,—но это послѣднее событіе еще не даетъ права считать взглядъ Тютчева ошибочнымъ. Во всякомъ случаѣ такое заключеніе было бы по меньшей мѣрѣ преждевременнымъ, въ виду борьбы, завязавшейся между Германскимъ правительствомъ и церковью,—борьбы нарушающей внутренній миръ Германіи, вносящей раздоръ между ея протестантскимъ и католическимъ населеніемъ,—борьбы, которой послѣдствія трудно и обнять мысленнымъ взоромъ. Нарушеніе внутреннего мира можетъ повести къ нарушенію мира внѣшняго и той формы національнаго единства, какая создана Бисмаркомъ — съ помощью событий. Съ одной стороны, духовный центръ католическаго населенія Германіи не причастенъ интересамъ Германской національности, лежитъ внѣ предѣловъ ея единства, и скорѣе тянетъ вонъ изъ единства, нежели удерживаетъ въ немъ. Съ другой — имперскому правительству, въ своей борьбѣ съ католицизмомъ, приходится опираться на радикальную партію, на радикализмъ господствующій въ умахъ, — однимъ словомъ, на начало антихристіанское — революціонное, анархическое и въ сущности антинаціональное... Тютчевъ видѣлъ въ современномъ единствѣ Германіи — только гегемонію Пруссіи, а потому и не отказывался отъ общихъ основаній своего взгляда, хотя, конечно, уже не сталъ бы предлагать Германіи возвращеніе къ временамъ Германскаго Союза. Кстати привести его стихи, обращенные къ Славянамъ, за нѣсколько лѣтъ до кончины, во время войны Французовъ и Нѣмцевъ:

Изъ переполненной Господнимъ гнѣвомъ чаши  
Кровь льется черезъ край, и Западъ тонетъ въ ней.  
Но не смущайся, сердце наше,—  
Славянскій міръ, сомкнись тѣснѣй.

Единство, возгласилъ оракулъ нашихъ дней,  
Быть можетъ спаяно желѣзомъ лишь и кровью....  
А мы попробуемъ спаять его любовью,  
А тамъ увидимъ: что прочнѣй....

Посмотримъ же теперь, что говорилъ поэтъ о Славянствѣ въ своей политической бесѣдѣ съ Европой. Доказывая Нѣм-

цамъ несостоятельность ихъ политическихъ мечтаній объ единствѣ, Тютчевъ напоминаетъ имъ (въ то время Австрія еще не была исключена изъ Германіи) объ элементѣ Славянскомъ въ предѣлахъ Западной Европы, и такъ объясняетъ имъ его значеніе:

«Поднимая вопросъ *племенной*, забываютъ, что въ самомъ центрѣ Германіи, въ Богеміи и Славянскихъ земляхъ ее окружающихъ — живутъ шесть-семь миллионовъ людей, для которыхъ изъ рода въ родъ, въ теченіи вѣковъ, Германецъ былъ и есть хуже чѣмъ чужой, для которыхъ онъ всегда *Нѣмецъ* (*l'Allemand depuis des siècles n'a pas cessé d'être un seul instant quelque chose de pis qu' un étranger, pour qui l'Allemand est toujours un Нѣмецъ*)... Если съ утратою Ломбардіи и съ окончательнымъ отдѣленіемъ Венгріи, Австрійская имперія распадется, чтѣ сдѣлаетъ тогда Богемія съ окружающими ее народностями—Моравами и Словаками? Согласится ли она включить себя въ нелѣпую рамку этого будущаго Германскаго единства, которое никогда ничѣмъ инымъ стать не можетъ, какъ лишь единствомъ хаоса? Сомнительно. Но въ такомъ случаѣ, чтобъ обрѣсти независимость, на кого опереться Богемія? Конечно, не на Венгрію. Нужно ли указывать ту державу, къ которой неминуемо привлечетъ Богемію самая сила вещей, — даже наперекоръ господствующимъ нынѣ понятіямъ и завтрашнимъ вновь измышленнымъ учрежденіямъ?»... При этомъ Тютчевъ приводитъ слова Ганки, сказанныя ему въ Прагѣ, въ 1841 году: «Богемія будетъ только тогда свободна и независима, только тогда станетъ полноправною хозяйкою у себя дома, когда Россія вступитъ вновь въ обладаніе Галиціей»... Указывая на сочувствіе къ Россіи въ кругу поборниковъ Чешской народности въ Прагѣ, Тютчевъ говоритъ: «Всякой Русскій, посѣтившій Прагу въ теченіи послѣднихъ лѣтъ, можетъ удостовѣрить, что единственный упрекъ, слышанный имъ, относился лишь къ той осторожности и какъ бы холодности, съ которыми національныя симпатіи Богеміи принимались между нами. *Высокія, великодушныя соображенія предписывали намъ въ то время подобный образъ дѣйствій; теперь же это было бы положительнымъ безсмысломъ: тѣ*

*жертвы, которыя мы тогда приносили дѣлу порядка, намъ пришлось бы отнынѣ совершать въ пользу революціи...*

Но особенно замѣчательны тѣ строки, которыми характеризуетъ Тютчевъ національное движеніе у Чеховъ, и которыми точнѣе опредѣляется его собственный взглядъ на Западное славянство: взглядъ никѣмъ еще до него не высказанный, и въ самой Россіи раздѣляемый лишь очень немногими изъ числа ревнителей Славянской независимости. Эти строки не только не потеряли своей важности для нашего времени, хотя были написаны двадцать пять лѣтъ тому назадъ, но теперь только и могутъ быть оцѣнены въ ихъ настоящемъ значеніи, а полное ихъ оправданіе—въ будущемъ. Вотъ онѣ:

Дѣло идетъ, разумѣется, не о литературномъ патріотизмѣ нѣкоторыхъ Пражскихъ ученыхъ, какъ бы почтененъ онъ ни былъ. Эти люди уже оказали и еще окажутъ великія услуги своей странѣ; но истинная жизненная сила Богеміи не въ этомъ. Жизненность народа—вовсе не въ книгахъ, для него издаваемыхъ,—исключая развѣ народа Нѣмецкаго; она—въ его инстинктахъ, его вѣрованіяхъ, а книги, надо признаться, скорѣе способны расслаблять и иссушать ихъ, чѣмъ оживлять и воодушевлять. Все что осталось у Богеміи истинной народной жизни, все заключается въ ея Гуситскихъ вѣрованіяхъ, въ этомъ постоянно живучемъ протестѣ ея угнетенной Славянской народности противъ захватовъ Римской церкви, также какъ и противъ господства Нѣмцевъ. Вотъ гдѣ ея связь со всѣмъ ея прошлымъ, исполненнымъ борьбы и славы,—вотъ также то звено, которое когда-нибудь свяжетъ Чеховъ Богеміи съ ихъ восточными братьями. На это особенно нужно налегать вниманіемъ, потому что именно въ этихъ-то сочувственныхъ воспоминаніяхъ о Восточной церкви, въ этихъ-то попыткахъ возврата къ старой вѣрѣ (которой гуситство въ свое время служило только слабымъ и искаженнымъ выраженіемъ)—и заключается глубокое различіе между Богемією и Польшею: между Богемією, противъ воли претерпѣвающею иго западнаго церковнаго общенія, — и этою крамольно-католическою Польшею, фанатическою пособницею Запада, вѣчною предательницею своихъ... Знаю, что до сихъ поръ вопросъ Чешскій еще не поставленъ на своемъ истинномъ основаніи, и что все настоящее волненіе и смятеніе на поверхности страны—не болѣе какъ самый дешевый либерализмъ, съ примѣсью коммунизма въ городахъ, и вѣроятно жакеріи по деревнямъ. Но

это временное опыяненіе скоро разсѣется, и истинная сущность дѣла не замедлитъ выясниться...

Не лишнимъ считаемъ привести здѣсь же, въ дополненіе къ этимъ строкамъ, отрывокъ изъ одного частнаго письма Тютчева въ Прагу къ пребывавшей тамъ Русской путешественницѣ, княгинѣ Е. Э. Трубецкой, отъ 6 Дек. 1871 г., благосклонно сообщившей его роднымъ копію съ этого письма, уже послѣ смерти Ѳедора Ивановича. Вотъ что, 23 года спустя послѣ своей статьи, пишетъ Тютчевъ:

Благодарю васъ за сообщеніе мнѣ письма Ригера. Оно выражаетъ ту же точку зрѣнія, которую онъ уже излагалъ мнѣ во время Славянскаго съѣзда въ Россіи и еще недавно въ самой Прагѣ. Сказать ли вамъ? При всемъ моемъ глубокомъ, сочувственному уваженіи къ нему, какъ и ко всемъ вождямъ Чешской національной партіи, — партіи Старо-Чешской, какъ они себя называютъ, — этой точкѣ зрѣнія, общей Ригеру со всею его партіей, именно недостаѣтъ ширины и глубины. Работа, которая имъ предложена, для возстановленія органической связи Богеміи съ міромъ Славянскимъ во всей его полнотѣ, съ Восточною Европою, однимъ словомъ, — такая работа не можетъ быть низведена до размѣровъ исключительно политическаго движенія. У нея корни идутъ поглубже. Чехія истинно національная — прежде всего Гуситка, а гуситство не что иное какъ возвратное стремленіе, — весьма сознательное, весьма рѣшительное, хотя и прерванное насиліемъ, — возвратное стремленіе, повторяю, Чешскаго племени въ Церкви Восточной. Славянская народность Чеховъ требуетъ, чтобъ эта попытка возврата была возобновлена и доведена до конца... Какъ не поймутъ въ Прагѣ, что повсюду политическое движеніе сводится къ самому нерву Европейскаго общества, а этотъ нервъ — вопросъ социальный и религіозный. Посмотрите на движеніе старокатоликовъ въ Германіи, уже достигающее своею волной до порога Церкви Православной — великой Церкви Вселенской!... Конечно, было бы дерзостью предсказывать теперь же окончательный исходъ этого движенія: достигнетъ ли оно цѣли или потерпитъ крушеніе, выйдетъ ли изъ него въ самомъ дѣлѣ возстановленіе церковнаго единства, или же только лишняя протестантская секта?... Но во всякомъ случаѣ, развѣ можно Славянамъ римско-католическаго исповѣданія, захваченнымъ въ это столкновеніе, уклониться отъ участія въ самомъ движеніи? Славянамъ, которымъ стоило бы только стать снова самими собою, оживить въ себѣ чувство своей племенной индиви-

дущаго, для того чтобы совершить это обращеніе, которое для нихъ такъ необходимо и такъ легко,—тогда какъ это же обращеніе къ Восточной Церкви и тягостно, и почти невозможно для людей иного племени.

Ходъ историческихъ событій подтверждаетъ истину этихъ словъ. Вся будущность Славянской народности у Западныхъ Славянъ, исповѣдующихъ латинство, связана именно съ рѣшеніемъ религіознаго вопроса. Если эти Славяне не отторгнутся отъ Рима и не возвратятся къ древнему церковному единству, т. е. къ православію, ихъ историческая судьба будетъ общая и одинаковая съ судьбою иноплеменныхъ народовъ католическаго исповѣданія; они подлежатъ одному съ ними историческому приговору. Славяне-католики, которымъ просвѣтителное начало вѣры дано въ Латинской окраскѣ, у которыхъ церковная стихія заклеимена чуждою національностью, которымъ духовнымъ центромъ служить Римъ, не могутъ имѣть притязаній на духовную самобытность своей народности. Среди Римско - Германскихъ племенъ, тѣсно связанныхъ съ духовнымъ началомъ Романской цивилизаціи узами родственными, органическими, Славяне, съ своею особенною національностью, являются въ отношеніи къ латинству какими - то пасынками или незаконнорожденными дѣтьми, не имѣющими съ законными равной части. Они осуждены на вѣчное малолѣтство, и—на похмѣлье въ чужомъ пирѣ. Славянинъ-латинянинъ—это извращеніе Славянской духовной природы. — Сомнительна возможность политической самостоятельности при утратѣ самостоятельности нравственной, при утратѣ *духовной народной личности*. Нельзя ожидать возрожденія для народовъ, прикованныхъ къ Римскому духовному, *отжившему* идеалу, исповѣдующихъ догматъ о папской непогрѣшности — эту послѣднюю, старческую, лебединую пѣснь Латинской церковности. Слепота Чешскихъ національныхъ вождей, узкость ихъ воззрѣній и понятій, по истинѣ, достойна изумленія. Гордясь Чешскимъ просвѣщеніемъ, они не замѣчаютъ, притомъ, что это просвѣщеніе, однородное, тождественное съ германскимъ, лишено у Чеховъ всякой производительности (потому именно, что Чехи духовно безличны въ смыслѣ народности), тогда какъ Германскій національный духъ, озаренный тѣмъ же просвѣщеніемъ, явилъ гигантскую силу творчества. Пренебрегая

вопросомъ религіознымъ, Ригеръ, Палацкій и прочіе Чешскіе корифеи говорятъ: «мы такъ просвѣщены, что переросли эти заботы», т. е. имѣя очи — не видать, имѣя уши — не слышать, что весь міръ, весь образованный историческій міръ, просвѣщенный не менѣе Чехіи, волнуется и мятется въ настоящее время именно по поводу вѣроисповѣдныхъ задачъ, томительно ищетъ имъ рѣшенія, и что вся историческая судьба Европы явно виситъ теперь на вопросѣ не политическаго, а религіознаго свойства. Чешскіе политики усердно всплываютъ народное чувство къ Гусу, празднуютъ его память при всякомъ удобномъ случаѣ, и въ то же время, собственными же руками разрушаютъ свои усилія, потому что Гуса, сожженнаго Римомъ на кострѣ за стремленіе къ Славянской національной церкви, чествуютъ Латинскою обѣдней, Латинскою азбукой, и изъ Гусова дѣла изъедаютъ вонь именно то, въ чемъ заключался весь его смыслъ и значеніе, т. е. его вѣроисповѣдный подвигъ! Здѣсь кстати замѣтить, что Тютчевъ, въ прекрасныхъ стихахъ по поводу четырехсотлѣтняго юбилея Гуса, вновь напоминалъ «Чешскому роду» о необходимости скорѣе расплавить

На Гусовомъ кострѣ неугасимомъ

звѣно той цѣпи, которая приковываетъ Чеховъ къ Риму. Последняя часть статьи: «Революція и Россія» указываетъ на опасность грозящую Славянамъ отъ Мадыаръ, «которые, подбитые Польскою эмиграціей и надутые революціонными вѣтрами, но сохраняя грубость Азіатской орды», воображаютъ себя призванными исторіей держать въ уздѣ Славянство и Россію. Тютчевъ съ замѣчательною вѣрностью, уже въ Апрѣлѣ 1848 года, предсказываетъ неминуюмость вооруженной схватки между Мадыарами съ одной стороны, — Хорватами и Сербамъ-границарами съ другой. вмѣстѣ съ тѣмъ онъ не скрываетъ опасности, угрожающей и Россіи. «Мало вѣроятія — говоритъ онъ — чтобъ всѣ эти удары землетрасенія, раздающіеся на Западѣ, остановились у порога Восточныхъ странъ... Если весь этотъ крестовый походъ безбожія, принятый Революціей, всѣ эти раздирающія пропаганды, и католическая и революціонная, соединенныя въ одномъ общемъ чувствѣ ненависти къ Россіи, и ко всему Славяно-

православному Востоку, обрушатся на голову Славянскаго Востока, могут ли Славянскія племена быть покинуты единственною властью, которую они призываютъ въ своихъ молитвахъ? Въ какую ужасную смуту низверглись бы эти страны при схваткѣ съ Революціей, если бы законный монархъ, православный Царь Востока замедлилъ долѣе своимъ появленіемъ?... Статья заканчивается слѣдующимъ диопрамбомъ,—политика смѣняетъ лирическій поэтъ:

Нѣтъ, это невозможно! Тысячелѣтнія предчувствія не обманываютъ. Россія, страна вѣры, не оскудѣетъ вѣрою въ верховный мигъ. Она не устрашится величія своихъ судьбъ и не отступитъ предъ своимъ призваніемъ.

И когда же это призваніе было яснѣе и очевиднѣе? Можно сказать, что Богъ начерталъ его огненными словами на этомъ небѣ, черномъ отъ бурь. Западъ отходить (*s'en va*), все рушится, все гибнетъ въ этомъ общемъ пожарѣ: Европа Карла Великаго, также какъ и Европа трактатовъ 1815 года, Римское папство и всѣ Западные царства, католичество и протестантство,—вѣра давно потерянная, разумъ доведенный до нелѣпости (*à l'absurde*); порядокъ отнынѣ невозможный,—свобода отнынѣ невозможная, и надъ всѣми этими развалинами, ею же нагроможденными—цивилизация, убивающая себя собственными руками...

И когда надъ такимъ громаднымъ крушеніемъ мы видимъ всплывающею святыню ковчегомъ эту Державу (*Empire*), еще болѣе громадную,—кто дерзнетъ усомниться въ ея призваніи, и намъ ли, ея сынамъ, являть себя невѣрующими и малодушными?... \*)

Тютчевъ никогда и не былъ малодушнымъ въ выраженіи своихъ политическихъ мнѣній и вѣрованій. Такая откровенность рѣчей не совсѣмъ въ обычаѣ нашихъ писателей. Но никакой ложный стыдъ или страхъ насмѣшки не останавливали Тютчева, а между тѣмъ онъ обращался съ своимъ сло-

---

\*) Невольно приходятъ на умъ стихи Хомякова, написанные впрочемъ гораздо ранѣе:

Но горе!.. Часъ пришелъ, и мертвеннымъ покровомъ  
Подернуть Западъ весь... Тамъ будетъ мракъ глубокъ...  
Услышь же гласъ судьбы, возстань въ сіяньи новомъ,  
Проснися, дремлющій Востокъ!

вомъ къ аудиторіи нисколько не благосклонной, аудиторіи Европейской. Впрочемъ, при всей неблагосклонности, эта аудиторія оказалась серьезнѣе нашей и отнеслась, если не съ сочувствіемъ, то съ вниманіемъ къ его статьѣ. — Послѣднія, заключительныя строки этой статьи напоминаютъ также другіе его стихи, сказанные нѣсколько позднѣе:

Не вѣрь въ Святую Русь, кто хочетъ,  
Лишь вѣрь она себѣ самой!..

Приступимъ теперь къ третьей и послѣдней напечатанной политической статьѣ Тютчева, именно къ той, которая подъ заглавіемъ: *La Question Romaine et la Papauté* (Римскій вопросъ и Папство) появилась въ Февральской книжкѣ журнала *Revue des Deux Mondes*, съ предпосланнымъ ей возраженіемъ редактора *Laurentie*. Эта статья, къ сожалѣнію, вовсе не была перепечатана въ Россіи, ни въ подлинникѣ, ни въ переводѣ, — а между тѣмъ она самая замѣчательная и самая блестящая по изложенію. Въ рукописи стоитъ подъ нею: 1 Октября 1849 г. Для того, чтобы вполнѣ понять связь этой статьи съ предъидущею, необходимо припомнить, что за два года передъ тѣмъ, именно въ 1847 году, съ восшествіемъ на папскій престолъ Пія IX, введены имъ были въ Римѣ разныя либеральныя преобразованія; что вспыхнувшая вслѣдъ за тѣмъ въ Парижѣ Февральская революція перекинула свое революціонное пламя и въ Римъ; папа бѣжалъ, но чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ войска Французской республики, по повелѣнію президента Людовика Наполеона, осадили Вѣчный Городъ, чуть-чуть не разрушили его бомбами, наконецъ послѣ долгой осады, овладѣли имъ, раздавили новосозданную Римскую республику и водворили папу снова въ Ватиканъ... Февральская революція послужила Тютчеву богатнымъ матеріаломъ для мысли. Будто вслѣдъ за ударомъ грома, какимъ-то волшебствомъ, предъ испуганнымъ взоромъ міра, встали, воочію, тѣни прошлаго и будущаго, высунулись, заслоненные пошlostью обыденной жизни, грозныя роковыя вопросы... однимъ словомъ, — «подъ зримой оболочкой» исторіи, давно было людямъ «узрѣть ее самоѣ», безъ покрова. Понятно, что Тютчевъ именно это событіе взялъ за точку отправленія своихъ размышленій, — именно въ немъ какъ

въ зеркалѣ наблюдалъ отраженіе минувшихъ и грядущихъ явленій. Въ настоящей статьѣ Тютчевъ разсматриваетъ ту же Февральскую революцію, но съ ея новой стороны. Вотъ содержаніе статьи.

Изъ всѣхъ современныхъ вопросовъ, говоритъ Тютчевъ, есть одинъ, который какъ въ фокусѣ сосредоточиваетъ въ себѣ всѣ аномаліи, всѣ противорѣчія, всѣ невозможности, о которыя бьется Западная Европа, — это именно вопросъ Римскій, благодаря той неумолимой логикѣ, которая, какъ скрытое правосудіе (*une justice cachée*), выдрана Богомъ въ событія міра... Глубокій, непримиримый разрывъ, сдѣлающій Западъ, долженъ былъ наконецъ дойти до высшаго своего выраженія, проникнуть до самаго корня дерева.... А никто не станетъ отрицать, что какъ во всѣ времена, такъ еще и донынѣ, Римъ — корень міра Западнаго... \*) Этотъ вопросъ не то, что другіе вопросы: онъ не только соприкасается со всѣмъ, что есть на Западѣ, но, можно сказать, даже переступаетъ его (*elle le déborde*)...

Можно безошибочно утверждать, что въ настоящее время все, что на Западѣ осталось еще отъ положительнаго христіанства (*christianisme positif*), прямо или косвенно примыкаетъ къ Римскому католицизму, которому Папство (какимъ создала его исторія) служить какъ бы связью свода (*la clef de voûte*) и условіемъ бытія... Протестантизмъ, котораго едва достало на три вѣка, чахнетъ и вымираетъ, а если гдѣ еще и скрывается въ немъ кое-какая жизненная стихія, она стремится къ воссоединенію съ Римомъ... Однимъ словомъ, Папство — вотъ послѣдній столпъ, кое-какъ поддерживающій на Западѣ этотъ край христіанскаго зданія, уцѣлѣвшій послѣ великаго крушенія XVI вѣка и послѣдовавшихъ обваловъ (*tout ce pan de l'édifice chrétien, resté debout après la grande ruine du XVI siècle et les écroulements successifs qui ont eu lieu depuis*)... Подъ этотъ-то столпъ и направленъ теперь подкопъ... Наивно или лицемерно обращаются къ Риму съ предложеніемъ разныхъ уступокъ и сдѣлокъ; до папства, какъ до церковнаго учрежденія, касаться и не думаютъ, его сохранять, предъ нимъ благоговѣють, — нужны, говорятъ, только нѣкоторыя частныя видоизмѣненія, нѣкоторыя вполне законныя реформы въ управленіи Римскими владѣніями, только сокращеніе предѣловъ свѣтской власти, даже не совершенная

---

\*) C'est un titre de gloire que personne ne contestera à Rome: elle est encore de nos jours, comme elle l'a toujours été, la racine du monde Occidental.

ся отрицна... Но никакое самообольщеніе въ этомъ смыслѣ невозможно для человѣка, кто уразумѣлъ самую сущность борьбы, волнуемой Западомъ, то что стало, въ теченіи вѣковъ, самою его жизнью,— жизнью аномальною, конечно, однакожъ дѣйствительною, — болѣзною не со вчерашняго только дня и все еще возрастающею... Требования, предъявляемые папѣ, большею частью касаются интересовъ, вполнѣ и несомнѣнно справедливыхъ и законныхъ, нуждающихся въ немедленномъ удовлетвореніи, но таково роковое положеніе дѣла, что даже и эти интересы (свойства чисто мѣстнаго и значенія сравнительно мелкаго) держать отъ себя въ зависимости громадный вопросъ... \*) Потому что неотвратимымъ результатомъ всякой серьезной, искренней реформы въ настоящемъ образѣ управленія Церковною Областью—будетъ, въ концѣ концовъ, «секуляризація папскихъ владѣній», т. е. отрицна свѣтской власти Римскаго папы... Въ чью же пользу совершится эта секуляризація? Какой власти, какого духа и свойства, передастся отнятая у папы свѣтская власть? Подъ чью опеку поступить Папство?»

Здѣсь опять туча иллюзій... Мы знаемъ фетишизмъ людей Запада относительно всякой формы, формулы, политическаго механизма. Этотъ фетишизмъ—какъ бы послѣднее религіозное вѣрованіе Запада; но только слѣпецъ могъ бы вообразить себѣ, что всѣ эти навязанныя папству либеральныя или полулиберальныя реформы удержатся во власти среднихъ, умѣренныхъ убѣжденій, а не будутъ тотчасъ же захвачены Революціей и обращены въ военныя машины, — для сокрушенія не только свѣтской власти папы, но и всего церковнаго учрежденія... Какъ бы вы ни наказывали революціонному принципу, какъ Господь Сатанѣ, мучить только плоть вѣрнаго раба Іова, не касаясь его души, Революція, менѣе совѣстливая, чѣмъ ангелъ тьмы, не станетъ стѣсняться вашимъ наказомъ.

Что же выходитъ?.. Что Римскій вопросъ—безысходный лабиринтъ, что папство дошло до той поры, когда жизнь ощущается только трудностью бытія (*à cette période d'existence, où la vie ne se fait plus sentir que par une difficulté d'être*). Здѣсь-то выступаетъ, словно солнце, та дивная логика, которая, какъ внутренній законъ, управляетъ событіями міра... Въ тотъ день, какъ восемь вѣковъ тому назадъ Римъ прервалъ послѣднее звѣно, связывавшее его съ православнымъ преда-

---

\*) Тутъ слѣдуетъ такое сравненіе: Ce sont de modestes et inoffensives habitations de particuliers, situées de telle sorte qu'elles commandent une place de guerre, et malheureusement l'ennemi est aux portes.

ніємъ Вселенской Церкви и создалъ себѣ свою отдѣльную судьбу, онъ рѣшилъ, на долгіе вѣки, и судьбу всего Запада.

Авторъ не входитъ въ разборъ догматическаго различія, послужившаго Риму предлогомъ къ отдѣленію отъ Вселенской Церкви. Съ точки зрѣнія человѣческаго разума, говоритъ онъ, это догматическое различіе еще не достаточно объясняетъ, какъ «прорылась та бездна, которую мы видимъ теперь, не между двумя Церквями,—потому что Церковь *одна*,—а между двумя мірами, двумя челоѣчествами, такъ сказать»... Онъ обращается прямо «къ очевидному грѣху Рима», къ измѣнѣ завѣту Спасителя:

Христосъ сказалъ: «Царство Мое не отъ міра сего»... Римъ, отвергшись отъ единства, отождествляя свой интересъ съ интересами христіанства, сталъ себя въ правѣ организовать Царство Христово какъ царство отъ міра. Не легко объяснить Западу настоящій смыслъ изрѣченія Христова: всякое истолкованіе, несогласное съ Римскимъ, понимается на Западѣ въ смыслѣ протестантскомъ, но протестантское воззрѣніе отстоитъ отъ православнаго какъ челоѣческое отъ божескаго; не ближе православное воззрѣніе и къ воззрѣнію Рима, и вотъ почему:

Если протестантизмъ уничтожилъ центръ христіанскій, который есть Церковь, въ пользу *я* челоѣческаго, *я* личнаго, то Римъ поглотилъ этотъ христіанскій центръ въ самого себя, въ свое Римское *я* (*elle l'a absorbé dans le Moi romain*). Римъ не отвергъ преданія, а конфисковалъ его въ свою пользу. Но присвоеніе себѣ божественнаго то же, что отрицаніе, и вотъ на чемъ зиждется эта страшная, роковая, но несомнѣнная солидарность протестантизма съ захватами (*usurpations*) Рима. Всякое же самовольное присвоеніе имѣетъ ту особенность, что оно съ одной стороны непремѣнно созидаетъ, къ своей выгодѣ, цѣлое подобіе права; съ другой непремѣнно же вызываетъ быть... Современная революціонная школа и не далась въ обманъ. Революція, которая есть только апофеозъ челоѣческаго *я*, достигшаго до своего полнѣйшаго развитія (*arrivé à son plein et entier épanouissement*), не замедлила причислить къ своимъ и привѣтствовать какъ своихъ славнѣйшихъ двухъ предковъ — Лютера, а равно и Григорія VII. Родственная кровь заговорила ей... Въ соотношеніи между собою этихъ трехъ терминовъ (Григорій VII, Лютеръ, Революція), заключается основа исторической жизни Запада,—но первоначальною причиною, точкою отправленія такой логической связи служитъ искаженіе Римомъ христіанскаго основнаго начала.

Очертивъ вырѣзъ историческую характеристику Римской Церкви, ставшей наконецъ политическою силою, государствомъ въ государствѣ, авторъ уподобляетъ ее, въ Средніе вѣка, *Римской колоніи водворившейся въ завоеванной землѣ*, и говоритъ, что «приковавъ себя къ интересамъ земнымъ, конечнымъ, она уготовила себѣ и участь конечную, смертную; воплотивъ священное начало въ тѣло немощное и тлѣнное, она привила къ нему всѣ недуги и похоти плоти.» Отсюда эти притязанія, это соперничество, этотъ истинно-нечестивый поединокъ Папскаго Престола съ Имперіей,—всѣ эти нагромоздившіяся вѣками насилія, войны, чудовищныя дѣянія, совершенныя ради укрѣпленія вещественной власти, необходимой, по понятіямъ Рима, для сохраненія единства церковнаго,—и разбившія это мнимое единство въ дребезги. Реформа XVI вѣка была въ основаніи своемъ законною реакціей оскорбленнаго христіанскаго чувства—противъ церкви, которая во многихъ отношеніяхъ была церковью только по имени. «Но такъ какъ уже цѣлыя вѣки Римъ тщательно заслонялъ собою на Западѣ Церковь Вселенскую, то вожди Реформы, вмѣсто того чтобъ обратиться къ суду высшей церковной власти, предпочли обратиться къ суду личной совѣсти, т. е. стали сами судьями въ собственномъ дѣлѣ». Такимъ образомъ реформатское движеніе, совершенно христіанское въ своемъ основаніи, приняло затѣмъ ложное направленіе, пришло къ отрицанію авторитета Церкви и потомъ къ отрицанію самаго принципа авторитета вообще. «Въ эту-то брешь, пробитую протестантизмомъ, даже безъ его вѣдома такъ сказать», но вслѣдствіе грубаго искаженія Римомъ основной идеи Церкви, «вторглось позднѣе, въ самую общественную жизнь Запада, начало уже чисто антихристіанское...» И не могло быть иначе, говоритъ Тютчевъ, «потому что человѣческое я, предоставленное самому себѣ, антихристіанское по существу (*est antichrétien par essence*)...»

Эта часть статьи Тютчева, или вѣрнѣе сказать: тема о соотношеніи католицизма или романизма съ протестантизмомъ, послужила поводомъ и темою для извѣстныхъ, Французскихъ брошюръ Хомякова. Хомяковъ вообще съ самымъ живымъ сочувствіемъ отнесся къ этой статьѣ. Вотъ что мы читаемъ въ одномъ письмѣ Хомякова къ А. Н. Попову: «Статьи Ѳ. И. Тют-

чева въ *Revue des Deux Mondes* вещь превосходная, хотя я и не думаю, чтобъ ее поняли у васъ въ Питерѣ, и въ чужихъ краяхъ. Она заграничной публикѣ не по плечу... Она есть не только лучшее, но единственно дѣльное, сказанное объ Европейскомъ дѣлѣ гдѣ бы то ни было. Скажите ему благодарность весьма многихъ...» Но въ своей первой брошюрѣ, озаглавленной: «*Quelques mots par un chrétien orthodoxe sur les communions occidentales à l'occasion d'une brochure de mr. Laurentie*», написанной и напечатанной (въ Парижѣ) въ 1853 г., Хомяковъ дѣлаетъ слѣдующую оговорку. Приводимъ ее въ переводѣ:

Статья, напечатанная въ *Revue des Deux Mondes* и принадлежащая, какъ кажется, Русскому дипломату г. Тютчеву, приписывала затрудненія религиознаго вопроса на Западѣ духовенству Рима, и въ особенности смѣшенію интересовъ духовныхъ и мірскихъ въ лицѣ епископа-государя. Эта статья вызвала въ 1852 году печатный отвѣтъ г. Лоранси; этотъ отвѣтъ и требуетъ опроверженія. Я оставляю въ сторонѣ вопросъ о томъ, высказалъ ли г. Тютчевъ въ своей статьѣ, которой достоинство, впрочемъ, представляется несомнѣннымъ даже его критику, мысль свою во всей ея полнотѣ, и не принялъ ли онъ, въ нѣкоторой степени, симптомы зла за его причины. Моя задача—не защита и не критика моего соотечественника, я хочу только оправдать Церковь въ странныхъ обвиненіяхъ, направленныхъ на нее г-мъ Лоранси, и буду держаться единственно религиознаго вопроса, и пр.

И Хомяковъ, глубже окунувшись въ самую сущность религиознаго вопроса, специально изслѣдовавъ соотношеніе Римской церкви съ протестантизмомъ, доказываетъ, что обвиненіе въ рационализмѣ, направляемое обыкновенно противъ протестантовъ, прежде всего падаетъ на романтизмъ, который вноситъ въ область вѣры чуждую ей стихію формальнаго логическаго разума, въ немъ ищетъ опору для истины, слѣдовательно внѣ самой истины, и такимъ образомъ самое зданіе церкви зиждетъ не на истинѣ, а на внѣшнемъ авторитетѣ. Неминуемымъ послѣдствіемъ *логическаго рациональнаго отношенія къ истинѣ* вѣры является, конечно, совершенная невозможность для разума удовлетвориться внутреннимъ, уже вовсе не рациональнымъ, не подающимся никакой логикѣ, свидѣтельствомъ истины о себѣ

самой, познаниемъ истины любовью и вѣрой; затѣмъ выступаетъ логическая необходимость опредѣлить внѣшніе признаки, по которымъ познается истина, а такъ какъ храненіе истины ввѣрено церкви, то этимъ внѣшнимъ признакомъ, по выводамъ логики, и должна была служить церковь. Слѣдовательно, церковь понята здѣсь не какъ сама живая истина, не какъ воплощеніе истины въ живомъ организмѣ любви и вѣры, а какъ нѣчто *внѣшнее* для истины, какъ авторитетъ, ее утверждающій и повѣряющій. Но логическая формальная работа разума на этомъ остановиться не можетъ. Съ понятіемъ о внѣшнемъ авторитетѣ неразлучно представленіе объ авторитетѣ правильномъ, формальномъ; возникаетъ потребность дать опредѣлительную, осязательную формулу идеѣ церкви, оградить авторитетъ точными внѣшними примѣтами. Романизмъ, такимъ образомъ, мало-по-малу суживаетъ понятіе о церкви все тѣснѣе и тѣснѣе,—и съ перенесеніемъ этого понятія въ область внѣшнихъ формальныхъ представлений, онъ не могъ не придать и церкви атрибутовъ собственныхъ этимъ послѣднимъ. Разойдись со вселенскою церковью въ самыхъ существенныхъ основаніяхъ, именно въ понятіи о церкви; упустивъ изъ виду самое зиждительное начало церкви, — условіе ея бытія: духъ братской любви и единомыслія;—занятый лишь одной задачей—развить и утвердить формальный авторитетъ церкви, Римъ сосредоточилъ въ себѣ самомъ и идею авторитета и идею церкви, и придалъ церкви государственное устройство съ самодержцемъ-папою во главѣ. Католики и понинѣ спорятъ, т. е. либеральные изъ нихъ полагаютъ, что приличнѣе было бы дать Римской церкви устройство конституціонное съ аристократическою іерархіею, съ демократическою палатою и т. д. Но это нисколько не измѣняетъ вопроса, т. е. вопросъ состоялъ бы только въ томъ: гдѣ признакъ церковнаго авторитета, по существу своему *непогрѣшимого*? другими словами: гдѣ признакъ истины вѣчной, божественной, непогрѣшимой: въ опредѣленномъ ли *количествѣ*, т. е. *большинствѣ голосовъ*, означаемомъ баллотировкой или инымъ способомъ, или же въ верховномъ главѣ—папѣ? Въ сущности, это уже все равно. Если уже разъ допущено понятіе о Христовомъ намѣстничествѣ и главенствѣ церковномъ, то не совсѣмъ прилично

подвергать представителя Христова на землѣ ограниченію въ правахъ и держать его подѣ контролемъ. Какъ бы то ни было, но представленіе объ авторитетѣ неразрывно съ представленіемъ о непогрѣшимости,—иначе, какой же это былъ бы авторитетъ? Слѣдовательно, все чтò олицетворяетъ въ себѣ этотъ авторитетъ (а въ чемъ-нибудь, по логическому требованію разума, онъ долженъ же быть олицетворяемъ), по существу своему должно быть непогрѣшимо, а потому и провозглашеніе догмата о папской непогрѣшимости есть логическій выводъ изъ основнаго раціональнаго положенія, принятаго романизмомъ. Такимъ образомъ самая идея церковнаго авторитета, присущая Римской церкви и, по словамъ Тютчева, разбитая (*battue en brèche*) протестантизмомъ, была идеею лживою, и созданіе Римомъ «царства Христова», по образу и подобию земныхъ царствъ, явилось не первоначальною причиною (какъ можно было бы заключить изъ словъ Тютчева) всего позднѣйшаго ложнаго развитія христіанскаго начала въ исторіи Запада, а лишь *симптомомъ* того раціонализма, который выразился въ самой идеѣ авторитета, который таился въ самой глубинѣ Римскаго церковнаго духа и который, породивъ протестантизмъ, отъ искаженія христіанской истины довелъ Западъ до голаго ея отрицанія. Конечно, Тютчевъ, какъ замѣчаетъ и Хомяковъ, не издожилъ и не имѣлъ намѣренія излагать свою мысль во всей полнотѣ,—да и самая идея Церкви только Хомяковымъ, и въ первый лишь разъ *богословски*, была выяснена для нашего православнаго сознанія. Тѣмъ не менѣе великою является заслуга Тютчева, двадцать пять лѣтъ тому назадъ, истолковавшаго внутреннія судьбы Запада, высказавшаго впервые то, чтò теперь отчасти уже пошло въ оборотъ, стало общимъ достояніемъ, но чего, по словамъ Хомякова, еще никѣмъ до Тютчева не было сказано. Возвращаемся къ его статѣ.

«Безъ сомнѣнія, продолжаетъ Тютчевъ—этотъ бунтъ, эти захваты человѣческаго я—явленіе постарше трехъ послѣднихъ вѣковъ; но чтò было тогда ново и впервые выступило въ исторіи, это возведеніе такихъ захватовъ и бунта въ достоинство принципа, въ право неотъемлемо-присущее человѣческой личности... Съ тѣхъ поръ, въ теченіи трехъ вѣковъ, историческая жизнь Запада была не чтò иное, какъ непре-

станный натискъ на все, что еще было христіанскаго въ составѣ стараго западнаго общества. Этотъ трудъ разрушенія былъ долготъ, и прежде чѣмъ свалить учрежденія, понадобилось подточить ихъ связующую силу, ихъ цементъ—христіанское вѣрованіе. Тѣмъ и приснопамятна Французская Революція, что она открыла новую эру: восшествіе антихристіанской идеи на степень политической власти, вручила ей управление гражданскимъ обществомъ (*elle a inauguré l'avènement de l'idée antichrétienne au gouvernement de la société politique*). Что въ этой идеѣ заключался весь смыслъ Революціи, о томъ свидѣтельствуетъ и новый догматъ, пущенный ею въ міръ—догматъ народнаго верховнаго владычества (*souveraineté du peuple*). Что же такое народное верховное владычество, какъ не верховное владычество того же человѣческаго я, только умноженное количественно, слѣдовательно опирающееся на силу (*la souveraineté du moi humain, multipliée par le nombre, c'est à dire appuyée sur la force*)?»

Здѣсь, во избѣжаніе недоразумѣній, мы должны сдѣлать нѣкоторую оговорку. Въ упомянутомъ уже нами письмѣ Хомякова, по поводу этихъ строкъ Тютчева, встрѣчается такое замѣчаніе: «Въ народѣ дѣйствительно *souveraineté suprême*. Иначе что же 1612 годъ? И что дѣлать Мадагасамъ, если волею Божіею холера унесетъ семью короля Раваны? Я имѣю право это говорить потому именно, что я анти-республиканецъ, анти-конституціоналистъ и пр. Самое повиновеніе народа есть *un acte de souveraineté*.» Это замѣчаніе, разумѣется, вполнѣ справедливо; но мы имѣемъ поводъ полагать, что Тютчевъ вовсе и не думалъ отрицать верховное значеніе народа въ смыслѣ указанномъ Хомяковымъ. Стоитъ только поставить вопросъ: что ради чего существуетъ? власть ради страны или народа, или народъ ради власти? Отвѣтъ на это можетъ быть только одинъ; онъ и рѣшаетъ вопросъ. Здѣсь верховенство народа есть законъ, такъ сказать, естественный. Но великая разница между этимъ закономъ естественнымъ, «между понятіемъ о народѣ какъ объ источникѣ власти», и между *souveraineté du peuple*, провозглашенною Революціей. Въ политической окраскѣ, приданной этому понятію западною демократіей, чувствуется ложь. Народъ, отправляющій власть, надѣвающій

вѣнецъ и порфиру, уже не народъ, уже искажаетъ свой нравственный образъ какъ народа, источника власти, а становится самъ олицетвореніемъ принципа власти. Это не одно и то же. Не одно и то же учреждать власть, или отправлять власть,—быть источникомъ власти, или властвовать. Отвлекая отъ себя присущее ему начало власти и перенося это начало на лицо или учрежденіе,—имѣетъ съ тѣмъ *добровольно обязывая самого себя повиновеніемъ*—этому, отвлеченному имъ отъ себя, элементу власти,—народъ совершаетъ безъ сомнѣнія «un acte de souveraineté», но имѣетъ съ тѣмъ совершаетъ великій нравственный актъ самоограниченія, самообузданія себя какъ цѣлаго, и самообузданія личнаго я въ своихъ народныхъ единицахъ. Власть съ своей стороны, не будучи сама въ себѣ источникомъ власти, имѣя *raison d'être*, причину своего бытія *въ* себя, именно въ странѣ или народѣ, становится, какіе бы ни были ея атрибуты, *служеніемъ* этой странѣ или народу: вотъ идеальное, нравственное и въ то же время естественное взаимное отношеніе этихъ двухъ элементовъ.

Понятно, что какъ въ 1612 году въ Русской исторіи, такъ въ случаѣ исчезновенія семьи короля Раваны, и вообще когда прекращается самое бытіе призванной народомъ власти смертью или измѣной, онъ, какъ верховный рѣшитель своихъ судебъ, возобновляетъ прервавшееся отношеніе, учреждая новую власть. Понятно также, что общественное сознаніе Запада вынуждено было наконецъ формулировать и противопоставить этотъ принципъ ложному принципу «Божественнаго права», который вдобавокъ такъ часто употребляли во зло западные монархи \*). Но было бы

---

\*) Западное ученіе о *souveraineté du peuple* всего болѣе соблазняетъ русскую молодежь. Противодѣйствовать этому ученію нельзя однимъ простымъ осужденіемъ и отрицаніемъ. Тѣмъ менѣе позволительно, изъ страха разныхъ жетокованій, утаивать въ Русской Исторіи 1612 г.,—самый достославный, положившій начало новой исторической эрѣ въ Россіи подъ правленіемъ дома Романовыхъ. Напротивъ, необходимо разъяснить въ точности всю ложь западнаго ученія и освѣтить Русскую исторію истиннымъ свѣтомъ.

Государство на Западѣ сложилось путемъ завоеванія; монархическая власть имѣетъ тамъ источникомъ или также завоеваніе (хотя бы

горшею ложью, если бы народъ, въ смыслѣ западнаго новѣйшаго понятія о народномъ владычествѣ, самъ, такъ сказать, сѣлъ на престолъ, въ роли постоянно пребывающаго правителя; онъ при этомъ, вопервыхъ, не совершилъ бы великаго нравственнаго акта повиновенія и самообузданія: кому же повиноваться? самому себѣ?! вовторыхъ, власть, въ лицѣ народа, утратила бы ту нравственную, ту утѣряю-

совершенное и въ древнія времена), или узурпацію. Возведя себя на стень «Божественнаго права», такая власть, запечатлѣнная въ самомъ основаніи своемъ характеромъ насилія, вызвала съ теченіемъ времени историческую реакцію въ видѣ насильственныхъ же переворотовъ, которые идею «Божественнаго права» и функций верховной власти перенесли на народъ и создали то фальшивое и гибельное представление о *souveraineté du peuple*, что выразилось по преимуществу во Французской революціи, и такъ рѣзко осуждается Тютчевымъ.

Не то въ Россіи. Въ ней одной—и въ этомъ ея крѣпость и сила—власть монархическая не была насильственно навязана извнѣ, а происхожденія мирнаго, призвана и признана добровольно и любовно самою Землею. Этимъ историческимъ фактомъ домъ Романовыхъ можетъ гордиться предъ всѣмъ свѣтомъ. Михаилъ Романовъ не былъ ни завоевателемъ, ни похитителемъ трона; онъ сѣлъ на престолъ не своимъ хотѣніемъ (какъ выражается про Бориса Годунова знаменитая хартія избранія дома Романовыхъ, хранящаяся въ Кремлѣ), а избранъ совѣтомъ и волею всей Русской Земли. Съ точки зрѣнія французскаго легитимиста, въ узкомъ династическомъ смыслѣ, князя-потомки Рюрика (какіе-нибудь Виземскіе, Оболенскіе, Одоевскіе) имѣли бы болѣе права на русскій престолъ. Съ русской же точки зрѣнія, рѣшеніе всенародное такъ твердо и свято, что навѣки упразднило права Рюриковской династіи, и упразднило не только юридически, но въ совѣсти и сознаніи самихъ этихъ княжескихъ родовъ. Такимъ образомъ русское самодержавіе не есть захватъ власти, злоупотребленіе, поддерживаемое силою, а право, опирающееся на свободное, сознательное изволеніе всей Русской Земли, выраженное въ избирательной грамотѣ. Этою грамотою Русская земля свободно и сознательно обязала себя вѣрностью и ни разу не нарушила этой вѣрности. Такое право Русскаго царя, основанное на всенародномъ рѣшеніи, а не на узурпаціи, способно выдержать критику всевозможныхъ демократическихъ теорій.

щую ее стихію *служенія*, которая присуща власти нормальнаго происхожденія. Будучи самъ источникомъ власти, состоя самъ внѣ всякаго контроля, служа *самому себѣ*, разнуданный отъ всѣхъ нравственныхъ узъ, не признавая никакого высшаго надъ собою начала, ни гражданскаго, ни религіознаго, — такой народъ - властитель былъ бы самымъ чудовищнымъ, безнравственнымъ явленіемъ въ мірѣ.

Но такая гипотеза никогда и не можетъ осуществиться вполне, и если осуществлялась Революціею, такъ только отчасти, съ помощью самой злой и наглой лжи. Въ самомъ дѣлѣ, какъ опредѣлить, что такое народъ? Какъ придать ему уста, слухъ, очи, однимъ словомъ — органы, которые бы давали возможность войти съ нимъ въ прямое, видимое и осязаемое отношеніе, какъ съ цѣльнымъ организмомъ? Обычныя формы народнаго представительства оказывались неудовлетворительными; онѣ недостаточно выражали западно - демократическую идею народнаго верховенства. Какъ бы ни было велико число народныхъ делегатовъ, оно все же было ничтожно въ сравненіи съ народнымъ *количествомъ*; въ стѣнахъ каждой палаты оставались массы народа, вовсе не расположенныя отречься отъ власти и слагать съ себя санъ и атрибуты владыки въ пользу своихъ уполномоченныхъ, т. е. вмѣсто непосредственнаго отправленія власти, отправлять ее чрезъ двойное, тройное посредство, — чрезъ передачу власти, градаціей выборовъ, крохотному меньшинству. Какимъ же образомъ осуществить выраженіе непосредственной воли народной? Революція рѣшила эту трудную проблему по своему: или роль народа разыгрывалась Парижскою или иною городовою чернью, — или каждая демократическая партія сама себя выдавала за народъ, или же иной проходимецъ захватывалъ власть также во имя народа... Наконецъ Революція попала въ собственные сѣти: революціонный принципъ народнаго верховнаго владычества привелъ къ провозглашенію принципа *suffrage universel*. Самъ въ себѣ принципъ *suffrage universel*, т. е. какъ «всенародный голосъ» или «всенародное мнѣніе», вполне вѣренъ и истиненъ. Но всенародное мнѣніе, какъ и общественное мнѣніе, не поддается какой-нибудь внѣшней, осязательной, вполне уловляющей его организаціи. Это какъ бы нравственная

стихія, какъ-бы историческая воздушная атмосфера, обуславливающая народное и государственное бытіе, — съ тою впрочемъ разницею, что атмосферическія явленія требуютъ только наблюденія, а народному мнѣнію должны быть предоставлены удобства выражаться съ полною искренностью... Однако и здѣсь нѣтъ возможности опредѣлить безошибочно, по наружнымъ примѣтамъ: это вотъ *истинное*, это *неистинное* народное мнѣніе или изволеніе: такая повѣрка принадлежитъ самому народному сознанию, выражается самою исторіею... Но именно и въ этомъ случаѣ, какъ и въ отношеніи къ церкви, какъ и въ отношеніи ко всякому явленію нравственнаго свойства, сказалась присущая Западу склонность къ формулѣ, къ внѣшнимъ формальнымъ признакамъ, которую Тютчевъ такъ мѣтко называлъ *фетишизмомъ*, послѣднимъ вѣрованіемъ Запада. Западъ отнесся къ народу не какъ къ силѣ качественной, а какъ къ силѣ количественной; поэтому и принципъ *suffrage universel*, по его опредѣленію, есть принципъ *поголовной подачи голосовъ, счетомъ*. Здѣсь блистательно оправдывается слово Тютчева, что, по революціоннымъ понятіямъ Запада, народъ — *c'est la souveraineté du moi multipliée par le nombre*. Это уже не цѣльный организмъ, а аггломератъ, количественное сборище единицъ, отдѣльныхъ человѣческихъ я, разнuzданныхъ человѣческихъ эгоизмовъ, не признающихъ надъ собою (таково *требованіе*, таковъ идеалъ Революціи) никакого высшаго, нравственнаго, религіознаго начала. Революціонный идеалъ оказался однакоже на практикѣ невыгоднымъ для идеалистовъ. Революція, посредствомъ изобрѣтенной ею поголовной подачи голосовъ, заклала себя собственными руками. Эта революціонная формула обратилась въ орудіе цезаризма, такъ что революціонная партія, въ наши дни, частью уже совсѣмъ отрекается отъ собственнаго дѣтища, частью изыскиваетъ средства: ловкостью, подкупомъ, терроромъ и обманомъ завербовать въ свою пользу *количество голосовъ, долженствующее* выражать собою — Истину!! Впрочемъ корифеи Парижской коммуны заявили иное мнѣніе: исключить изъ «народа» все многочисленное сельское населеніе, и признать «народомъ» только городское; а еслибы и городское населеніе оказалось съ ними, съ корифеями, несогласнымъ, то допустить и даль-

нѣйшія исключенія, такъ что подъ конецъ идея народа сошла бы къ двумъ-тремъ самопоклоняющимся личностямъ, убѣждающимъ остальныхъ помощью петролея.

Многіе читатели можетъ-быть посѣтуютъ на насъ за такія отступленія вовсе повидимому небіографическаго свойства. Но излагая мнѣнія Тютчева по вопросамъ высшей важности, до сихъ поръ самымъ современнымъ и жгучимъ, мы желали бы устранить всякія недоразумѣнія, къ которымъ могла бы подать поводъ случайная неточность выраженій или недомолвка со стороны автора, почему и считаемъ своею обязанностью выяснитъ читателямъ его взгляды со всею надлежащею полнотою... Намъ остается прибавить, что Тютчевъ, обладая широкимъ историческимъ кругозоромъ, отводилъ, конечно, и Революціи, какъ и всякимъ реакціоннымъ историческимъ фактамъ, подобающее имъ мѣсто въ исторіи человѣчества, признавалъ ихъ логическую, такъ-сказать законную причинность, — въ смыслѣ законности, на примѣръ, атмосферическихъ явленій, грозъ, бурь и т. д., но ему ненавистно было, какъ уже и было говорено выше, возведеніе такого факта на степень принципа, доктрины, начала правящаго обществомъ, на степень политической власти; ненавистенъ духъ отрицанія, насилія, деспотизма, безвѣрія, самообожанія человѣческой личности — освобожденной отъ нравственныхъ идеаловъ и узъ, не признающей ничего выше себя, выше своего ограниченнаго разума и животной природы... Кто же станетъ утверждать, въ виду совершившихся и совершающихся фактовъ, что не таковъ духъ, внесенный Революціею въ жизнь народныхъ западныхъ обществъ?.. Что же касается до словъ Хомякова о томъ, что онъ антиреспубликанецъ, антиконституціоналистъ и т. д., то относительно Тютчева можно сказать, что онъ, точно также, относился довольно безразлично къ формамъ правленія въ смыслѣ теоретическомъ; онъ дорожилъ прежде всего историческими существующими формами и свободнымъ органическимъ, народнымъ развитіемъ; для него важнѣе внѣшняго строя учреждений была ихъ внутренняя *душа*. Онъ никогда не рабствовалъ тому формальному либерализму, по которому у насъ въ Россіи любятъ опознавать свободномыслящаго чело­вѣка;

онъ былъ вполнѣ свободенъ и независимъ въ своихъ мнѣніяхъ и въ выраженіи своихъ мнѣній... Вотъ отрывокъ изъ его письма въ Парижъ, къ одному Русскому знакомому, отъ 15 Іюля 1872 года, ровно за годъ до кончины:

... Thiers donne le démenti le plus éclatant à un dicton russe très connu: одинъ въ полѣ не воинъ; il est, lui, un guerrier si isolé et néanmoins si militant. Jamais, je crois, la valeur d'une personnalité humaine n'a été mieux avérée. Eh bien, s'il réussit dans son œuvre, s'il réussit à constituer en France une république possible et viable, il aura par ce seul fait rendu à son pays sa prépondérance d'autrefois; car, il n'y a pas à se le dissimuler, dans l'état actuel des esprits en Europe, celui de ses gouvernements qui prendrait résolument l'initiative de la grande transformation en ouvrant l'ère républicaine dans le monde Européen, aurait une grande avance sur tous ses voisins, amis ou ennemis. Car le sentiment dynastique, sans lequel point de monarchie, est partout en baisse, et si parfois il y a des manifestations en sens contraire, ce n'est qu'un remous dans le grand courant». Говоря о возможности республиканской эры для Европы, Тютчевъ прибавляетъ: «Il n'y a que la Russie, où le principe dynastique a de l'avenir, mais c'est à la condition sine qua non que la dynastie se fasse de plus en plus nationale, car en dehors de la nationalité, d'une énergique et consciente nationalité, l'autocratie russe est un nonsens» \*).

Послѣдуемъ снова за Тютчевымъ въ его статьѣ: La question romaine et la papauté.

---

\*) Мнѣніе о предстоящей Европѣ республиканской эрѣ довольно сильно распространено; многіе включаютъ сюда и Россію. Это-то послѣднее предположеніе и опровергается Тютчевымъ. Его мысль въ томъ, что самодержавіе въ Россіи есть явленіе чисто-органическое, національное, такое же эндемическое, какъ напримѣръ конституціонализмъ въ Англіи, который, бывъ пересаженъ на Континентъ, оказался вездѣ жалкимъ, непрочнымъ растеніемъ. Самодержавіе, какъ отсутствіе всякой гарантіи личныхъ и народныхъ правъ, необходимо предполагаетъ союзъ полного нравственнаго довѣрія, единство духа религіознаго и національнаго между престоломъ и народомъ. Отсюда понятно, что самодержцемъ надъ Русскимъ православнымъ народомъ можетъ быть только Русскій и православный.

Революція—говорить онъ—сама устранила всякое сомнѣніе на счетъ своихъ настоящихъ отношеній къ христіанству, выразивъ ихъ въ слѣдующей формулѣ, самой повидимому смягченной, не въ той, какая было появилась во времена Конвента: «государство, какъ государство, не имѣетъ религіи»:

Это было совершенною новостью въ мірѣ... Кто не знаетъ, что во всей исторіи, даже по ту сторону Бреста, въ мірѣ языческомъ, который все же жилъ подъ сѣнію общаго вселенскаго преданія (язычествомъ, конечно, искаженного, но не прерваннаго), всякое градское или государственное устройство считало себя учрежденіемъ религіознымъ: это были какъ бы обломки общаго преданія, которое, воплощаясь въ отдѣльные общества, образовывало всюду самостоятельные центры,—что-то въ родѣ религіи замкнутой мѣстностью и овеществленной (*de la religion, pour ainsi dire, localisée et matérialisée*). Въ первый разъ предложенъ Революціей образъ государства, совершенно отвергающаго всякое высшее освященіе, всякое отношеніе къ какому-либо сверхчеловѣческому нравственному началу,—государства объявляющаго себя бездушнымъ, а если и съ душою, такъ не знающему никакой вѣры... Но это притязаніе на нейтральность не есть дѣло серьезное и искреннее со стороны Революціи. Она слишкомъ хорошо знаетъ, что, въ отношеніи къ ея противнику, такая нейтральность невозможна: «Кто не со Мною, тотъ противъ Меня». Уже для того, чтобы обратиться къ христіанству съ предложеніемъ нейтральности, надобно было перестать быть христіаниномъ. Для того, чтобы такое безразличное отношеніе было не ложью и западней, нужно бы, чтобы государство согласилось отнять у себя всякое значеніе нравственнаго авторитета, низвело себя на степень простаго полицейскаго учрежденія, простаго матеріальнаго факта, неспособнаго по самой своей природѣ выражать какую бы то ни было нравственную идею... Но впрочемъ Революція вовсе и не думаетъ довольствоваться для государства, ею созданнаго по своему образу и подобию, такимъ смиреннымъ положеніемъ, ни осуждать его на бездушіе. Она изгоняетъ изъ государствъ признанныя господствующія религіи (*religions d'Etat*) только потому, что замѣняетъ ихъ своею: Революціею, то есть религіею безвѣрія...

Подъ «господствующей религіей» въ государствѣ Тютчевъ разумѣетъ преобладающую въ народномъ обществѣ, создавшемъ себѣ государственный организмъ, религіозную

стихію, — то вѣроисповѣдное начало, подѣ въздѣйствіемъ котораго народъ сложился какъ историческая и политическая личность, и посягать на которое ни въ какомъ смыслѣ государство не имѣетъ права, не извративъ своихъ отношеній къ народу, давшему ему бытіе. Найдутся люди, которые въ приведенныхъ нами строкахъ Тютчева увидятъ, пожалуй, смѣшеніе понятій «божескаго» и «мірскаго» и т. д. Но это было бы совершенно ложно: Христосъ, отдѣливши свое Царство отъ міра («Царство Мое не отъ міра сего» и «Божіе Богови, Кесарево Кесареви»), тѣмъ самымъ поставилъ Бога внѣ и превыше Кесаря, и Царство Божіе превыше земнаго. Церковь, обратившаяся въ царство отъ міра, какъ у римскихъ католиковъ — ложь; государство, присвоивающее себѣ функціи Христовой церкви — такая же ложь. Но не меньшая, если не горшая ложь и тогда, когда Кесарь забудетъ, что надъ нимъ есть Богъ и обоготворить себя самого, когда идея государства возводится въ предметъ вѣроисповѣданія (въ самостоятельный «культъ»). Христіанское общество, для котораго государство служить внѣшнимъ покровомъ, средствомъ и формою общежитія, не можетъ допустить со стороны этой формы такого отношенія къ высшимъ нравственнымъ цѣлямъ своего общественнаго существованія, которое бы не хотѣло съ ними считаться; не можетъ, въ своемъ общественномъ организмѣ, облеченномъ въ государственную форму, признать другой души, другаго нравственнаго идеала, кромѣ той души и того идеала, которые оно само влагаетъ; не можетъ дозволить, чтобы эта форма, это государство творило бы само себя кумиромъ. Начало государственное должно въ общественномъ сознаніи состоять въ отношеніи нравственнаго подчиненія къ духовному, высшему для чловѣка началу; въ противномъ случаѣ, государство, какъ принципъ внѣшней, условной формальной правды и вещественной силы, переступивъ свои границы, задавить общество, задавить духъ и свободу. Если государство поставить само себя вышею истиною, не станетъ признавать надъ собою никакого высшаго нравственнаго начала, и внѣ себя никакой такой области, за предѣлы которой оно не имѣло бы права переходить, на примѣръ религіи и церкви, то оно никогда не ограничится нейтральнымъ къ нимъ отношеніемъ,

какъ и говорить Тютчевъ, а обнаружить тотчасъ же поползновеніе сломить ихъ нравственную силу, поработить ихъ себѣ, замѣнить ихъ однимъ собою. Блистательное подтвержденіе предсказаній Тютчева является въ наше время, чрезъ двадцать пять лѣтъ, современная борьба государства и церкви въ Германіи...

Затѣмъ Тютчевъ переходитъ къ положенію Папы въ виду предъявленныхъ ему требованій преобразовать свою свѣтскую власть согласно съ началами современнаго государства. Между этими послѣдними началами и папствомъ не можетъ быть сдѣлки: всякая уступка со стороны Папы, который все таки христіанинъ и священникъ, была бы въ то же время вѣроотступничествомъ. Легче и удобнѣе совсѣмъ лишить его этой, въ сущности незаконной, власти, нежели заставить его подчиниться духу новѣйшей цивилизаціи. Тютчевъ осмѣиваетъ такъ-называемое *умѣренное, разсудительное* мнѣніе многихъ людей на Западѣ, которые полагаютъ, что Папа могъ бы принять учрежденіе, откинувъ принципъ, т. е. самую душу учрежденія. «Еслибъ Папа былъ только епископомъ», говоритъ Тютчевъ,

еслибъ Папство осталось вѣрнымъ своему происхожденію, Революція, подобно всякому гоненію, въ отношеніи къ нему была бы бессмысленна. Но именно потому, что Папство приняло въ себя начало чужеродное, начало смерти и тѣни, оно стало доступно ударамъ. Изъ всѣхъ учрежденій, созданныхъ Папствомъ, отторгшимся отъ единства съ Православною Церковью, сильнѣе всѣхъ подвигло къ окончательному разрыву учрежденіе свѣтской власти, — и теперь именно объ это учрежденіе и суждено ему преткаться, объ него сломиться. Такова грозная логика исторіи!..

...Конечно давно уже—говоритъ далѣе Тютчевъ—не видалъ міръ такого зрѣлища, какое представила несчастная Италія въ 1847 г., въ годъ восшествія на престолъ папы Пія IX.... Случается иногда, что, накануне великой бѣды, людей охватываетъ внезапно яростный смѣхъ, бѣшеная веселость... Здѣсь цѣлый народъ былъ вдругъ обуянъ подобнымъ припадкомъ. И лозунгомъ такого бѣснующагося ликованія было имя Папы... Сколько разъ, вѣроятно, содрогнулся бѣдный служитель алтаря, уединясь въ своихъ покояхъ, отъ доносившихся до него кликовъ оргіи, которой кумиромъ былъ онъ! Сколько разъ эти рычанія любви, эти кон-

вудьси энтузіазма должны были вносить смятеніе и сомнѣніе въ душу этого несчастнаго христіанина, преданнаго въ добычу ужасающей популярности?..... Впервые еще выставлялось на видъ такое обожаніе Папы, а не Папства. Всѣ эти восхваленія и изъявленія преданности приносились человѣку въ надеждѣ—найти въ немъ сообщника противъ самого учрежденія... Однимъ словомъ, хотѣли праздновать Папу, сжигая Папство на потѣшномъ огнѣ... И ни въ чемъ такъ не выказались ложь и лицемеріе этого возведенія въ апогеозъ главы Католической церкви, какъ въ одновременномъ бѣшенномъ гоненіи на Іезуитовъ...

Не присоединяясь къ хору валовыхъ ругательствъ и нападокъ на Іезуитскій орденъ, ставшихъ такъ-сказать общимъ мѣстомъ, Тютчевъ пытается взглянуть на это учрежденіе со стороны, серьезно и безпристрастно. «Іезуиты — говоритъ онъ—останутся всегда загадкой для Запада, ключъ отъ которой не у него. Іезуитскій вопросъ такъ тѣсно связанъ съ религіозной совѣстью Запада, что невозможно когда-либо ожидать отъ него справедливаго рѣшенія... Учрежденіе это возбуждаетъ къ себѣ вниманіе наблюдателя уже самою тою страшною, непримиримою ненавистью, которую оно внушаетъ къ себѣ всѣмъ врагамъ христіанской религіи: это могло бы служить ему краснорѣчивѣйшею апологіей. Но еще болѣе замѣчательна, продолжаетъ Тютчевъ, «та неодолимая сила антипатіи, которую питали къ этому ордену многіе лучшіе люди католицизма, самые искренніе, самые преданные Римской церкви, отъ Паскаля до нашихъ дней». Это послѣднее явленіе, т. е. подобное отношеніе къ Іезуитамъ въ значительной части римско-католическаго міра, по словамъ Тютчева, «едва ли не одно изъ самыхъ поразительныхъ и трагическихъ состояній человѣческой души. Въ самомъ дѣлѣ, что можетъ быть трагичнѣе той борьбы, которая должна происходить въ сердцѣ человѣка, когда онъ, поставленный между чувствомъ благоговѣйнаго уваженія и отвратительною очевидностью, усиливается замать, заглушить свидѣтельство собственной совѣсти, только чтобъ не признать той тѣсной, неоспоримой солидарности, какою связаны предметъ его богопочтенія и предметъ его ненависти»!..

А таково именно положеніе всѣхъ вѣрныхъ католиковъ,—прибавляетъ къ этому Тютчевъ; ослѣпленные враждою къ Іезуитамъ, они не хотятъ

видѣть, какая глубочайшая, внутренняя солидарность связуетъ направление, доктрину, судьбы Иезуитскаго ордена съ направлениемъ, доктриной, судьбой самой Римской церкви, — и связуетъ такъ, что отдѣлять одно отъ другаго нѣтъ никакой возможности безъ органическаго поврежденія, безъ изувѣченія... Что же такое Иезуиты?

Въ самомъ дѣлѣ, что заставляетъ ихъ подвергаться преслѣдованіямъ, гоненіямъ, лишеніямъ, трудиться денно и нощно? Что же движетъ ими? Не вещественный же грубый интересъ каждаго члена лично, — въ этомъ никто ихъ и не обвиняетъ, — а идея (ложная или вѣрная, это другой вопросъ), идея, *добросовѣстное* служеніе которой побуждаетъ ихъ творить нерѣдко самыя *безсовѣстные* дѣла. «Иезуиты, продолжаетъ Тютчевъ,—

это люди, одержимые ревностью пламенною, неутомимою, нерѣдко героическою, къ дѣлу христіанской религіи. Но въ то же время они и великіе преступники противъ христіанства, потому что духъ личнаго эгоизма, человѣческаго *я* обладаетъ ими, не какъ отдѣльными единицами, но ими какъ Орденomъ (*dominés par le moi humain non pas comme individus, mais comme Ordre*); потому что они отождествили дѣло христіанское съ своимъ собственнымъ, потому что собственное самоудовлетвореніе возвели въ значеніе побѣды Божіей, и въ стяжаніе побѣды Господу Богу внесли всю страсть и безразборчивость личнаго эгоизма... Ихъ грѣхъ—грѣхъ самого Рима, воплотившаго въ себѣ одномъ Вселенскую Церковь... Между Иезуитами и Римомъ связь истинно органическая, кровная. Орденъ Иезуитовъ концентрированное, но буквально вѣрное выраженіе Римскаго католицизма; однимъ словомъ: это самъ Римскій католицизмъ, но на положеніи дѣйствующаго и воинствующаго (*le catholicisme romain lui-même, mais à l'état d'action, à l'état militant*)... Та часть западнаго общества, которая совсѣмъ оторвалась отъ христіанства, нападаетъ на Иезуитовъ только для того, чтобъ, прикрывшись ихъ непопулярностью, вѣрнѣе поражать настоящаго своего врага. Но за то католики, оставшіеся вѣрными Риму, поставлены въ такое положеніе, что хотя бы они, какъ христіане, были вполне правы въ своей враждѣ къ Ордену, однакоже, нападая на Иезуитовъ, подвергаются опасности поранить глубоко самую Римскую церковь...

Баронъ Пфедфель въ своей статьѣ, о которой мы уже часто упоминали, приводитъ еще слѣдующее, чрезвычайно

мѣткое выраженіе Тютчева: En frappant les Jésuites, on espère démolir l'Eglise: supprimer les Jésuites, c'est *désosser* le catholicisme (поражая Іезуитовъ надѣются сломить Римскую церковь: уничтожить Іезуитовъ значитъ *обезкостить* католицизмъ). Но и стать подъ іезуитское знамя нельзя, не отрেকшись отъ христіанской совѣсти и чистоты христіанскаго нравственнаго ученія... «Таково безвыходное положеніе вѣрныхъ сыновъ Римской церкви!» \*)

Затѣмъ слѣдуетъ у Тютчева подробный анализъ разныхъ несбыточныхъ требованій, обращенныхъ къ Папѣ, при восшествіи его на престолъ, на примѣръ освобожденія Италіи отъ иноземнаго ига, возстановленія единой Италіи подъ властью Папы, «чего-то въ родѣ христіанскаго калифата» и т. п. Двусмысленность положенія не могла долѣе продолжаться: Пій IX порвалъ наконецъ всѣ связи «съ друзьями своей особы и врагами Папства,» — вспыхнулъ мятежъ, — Пій IX бѣжалъ. — Революція одѣлась въ образъ Римской республики. Впрочемъ, замѣчаетъ Тютчевъ, революціонная партія не удовлетворилась бы, конечно, никакими уступками со стороны Папы. Собственно говоря, ей нѣтъ никакого дѣла до очищенія церкви отъ чуждыхъ, нехристіанскихъ духовныхъ примѣсей; «ей ненавистенъ самый элементъ христіанскій, заявляемый существованіемъ Папства; по той же причинѣ, этой партіи хотѣлось бы вычеркнуть все прошедшее Италіи, всѣ историческія условія ея бытія, какъ зараженные тѣмъ же церковнымъ началомъ; ей хотѣлось бы, *дѣйствіемъ чистаго революціоннаго абстракта*, связать вновь созидаемую республику съ республиканскимъ строемъ древняго Рима!» Но вотъ теперь эта партія побѣждена, и папская власть возстановлена. Кѣмъ же? Къ довершенію роковой сложности и запутанности Римскаго вопроса — Французскою республикою подъ управленіемъ Людовика-Наполеона...

Въ этомъ дѣйствіи Франціи — разсуждаетъ по этому поводу Тютчевъ

\*) И такова, прибавимъ, неспособность католиковъ оцѣнить это свое положеніе (истинное его уразумѣніе возможно только православному), что всѣ эти строки Тютчева кажутся барону Пфеффелю защитой Іезуитскаго Ордена, — а не смертнымъ приговоромъ, произнесеннымъ романтизму съ Орденомъ включительно!

(замѣтимъ: вслѣдъ за совершеніемъ дѣйствія, еще въ 1849 г.) — видѣть обыкновенно или безразсудно-удалый поступокъ, un coup de tête, или ошибку. Чаше же всего говорятъ: Франція сама не знаетъ, чего хочетъ. Слѣдовало бы прибавить: Франція и не можетъ знать, чего она хочетъ. Для того чтобы знать, надо бы имѣть единую волю, а Франція, вотъ уже шестьдесятъ лѣтъ \*), осуждена имѣть ихъ двѣ. Здѣсь дѣло не въ разногласіи мнѣній, что встрѣчается во всѣхъ обществахъ, управляемыхъ партіями; здѣсь дѣло въ постоянномъ, непреходящемъ и неразрѣшимомъ антагонизмѣ, который въ теченіи 60 лѣтъ составляетъ, такъ сказать, самую основу (le fond) народной совѣсти во Франціи: раздвоена самая душа Франціи... Революціи было возможно перевернуть, видоизмѣнить, исказить эту страну; но ей было не въ мочь и никогда не будетъ подъ силу усвоить ее себѣ вполнѣ (elle n'a pu, ni ne pourra jamais se l'assimiler entièrement). Что бы Революція ни дѣлала, есть стихія, начала въ нравственной жизни Франціи, которые ей не поддадутся—долго, по крайней мѣрѣ до тѣхъ поръ, пока будетъ Франція на свѣтѣ: таковы — католическая церковь съ ея вѣрованіями и ученіемъ; христіанскій бракъ и семейство—и даже собственность. Но такъ какъ и Революція вѣроятно не согласится отдать захваченное и уже вошла въ кровь и въ самую душу Французскаго общества, и такъ какъ мы не знаемъ въ исторіи міра ни одной формулы заклинанія (formule d'exorcisme), приложимой къ цѣлому народу, то слѣдуетъ полагать, что это состояніе непрерывной, глубоко-внутренней (intime) борьбы, раздвоенія непрестаннаго и такъ-сказать органическаго, сдѣлалось надолго и очень надолго нормальнымъ состояніемъ Французскаго общества... И вотъ почему мы, въ теченіи 60 лѣтъ, видимъ въ этой странѣ: государство, революціонное по принципу, влекущее за собою на буксирѣ цѣлое общество, которое однако не болѣе какъ взбунтовано (un état révolutionnaire par principe trainant à la remorque une société qui n'est que révolutionnée). Понятно, что правительство, которое сродни имъ обонимъ, должно непремѣнно обрѣтаться въ положеніи самомъ фальшивомъ, непрочномъ,—осуждено на безсиліе... Оно можетъ существовать только подъ условіемъ борьбы съ тою самою властью, которой обязано своимъ бытіемъ...

Все это вѣщія слова; они вполнѣ оправданы послѣдующимъ ходомъ историческихъ событій. Въ теченіи послѣдней четверти вѣка *душа* Франціи не обрѣла цѣльности,—напро-

---

\*) Теперь уже 85.

тивъ этотъ недостатокъ духовной цѣльности сказался пагубнымъ образомъ даже въ такой мигъ народнаго бытія, когда живѣе чѣмъ когда-либо дается народу ощутить себя органическимъ цѣлымъ: мы разумѣемъ мигъ внѣшней опасности, войну 1870 г... Казалось бы, такой простой, несложный, грубый фактъ, какъ нашествіе иноземцевъ, могъ бы хоть на время слить во едино всѣ нравственныя силы Франціи и даже послужить ей къ обновленію духа,—но онъ обличилъ только во Франціи упадокъ патріотизма. Слѣдовательно духовная язва раздвоенія проникла въ область самаго естественнаго, непосредственнаго, инстинктивно-цѣльнаго чувства,—такую область, которая повидимому недоступна дѣйствию какихъ бы то ни было отвлеченныхъ принциповъ... Можно, кажется, съ достовѣрностью утверждать, что въ случаѣ окончательнаго торжества революціоннаго начала во Франціи, т. е. при логическомъ развитіи этого начала до его крайняго выраженія, т. е. до коммуны въ родѣ бывшей Парижской и до федераціи, Франція, вслѣдъ за утратою внутренней, утратитъ и внѣшнюю цѣльность, т. е. перестанетъ быть—какъ Франція, какъ историческая индивидуальность.

Обрисовавъ нравственное и внутреннее положеніе Франціи, Тютчевъ, возвращается къ поступку Французской власти въ 1849 г., т. е. къ ея вмѣшательству въ Римское дѣло и къ возстановленію ею Папства. Въ этомъ поступкѣ отражается, по его мнѣнію, «вся двойственность стремленій и инстинктовъ, скрещивающихся, такъ - сказать, въ сердцѣ и мысляхъ каждаго Французскаго правительства,—вся глубина противорѣчія, на которое оно обречено»... «Правительство революціоннаго происхожденія,—говоритъ онъ—являясь посредникомъ между Революціею и Папою, не могло конечно надѣяться примирить то, что по самой природѣ своей непримиримо; въ чью бы пользу изъ двухъ противниковъ оно ни рѣшило тягбу, оно бы непремѣнно поранило само себя, отреклось бы отъ цѣлой половины себя самого. Этимъ обоюдоострымъ вмѣшательствомъ оно достигнетъ только того, что еще пуще запутаетъ спутанное, еще сильнѣе раздражитъ и ухудшитъ рану,—въ чемъ оно вполне и успѣло»... Нужно ли напоминать, что это сужденіе буквально подтвердилось событіями? Прoderжавъ 20 лѣтъ свои войска въ Римѣ, для

поддержанія власти Папы, Наполеонъ вынужденъ былъ наконецъ отозвать ихъ, не разрѣшивъ Римскаго вопроса и не упрочивъ Папства; но самъ же Наполеонъ, въ силу той же внутренней двойственности, освободивъ Италію, двинулъ ее на Римъ, и въ концѣ концовъ окончательно испортилъ отношенія Франціи къ Италіи и погубилъ себя самого.

Далѣе Тютчевъ снова характеризуетъ уже окончательными чертами состояніе Римскаго вопроса, и въ послѣднемъ выводѣ указываетъ опять: съ одной стороны, на неминуемость секуляризаціи Папства, и вмѣстѣ побѣды антихристіанскаго начала, — съ другой, на нравственную невозможность для Папы согласиться на какую-либо сдѣлку съ этимъ началомъ, совершить дѣло вѣроотступничества и предательства. Для всего многомилліоннаго западнаго христіанства Папство продолжаетъ служить единственнымъ оплотомъ вѣры, въ ея борьбѣ съ безвѣріемъ; но безнадеженъ этотъ оплотъ, расшатанный, подточенный въ самомъ своемъ основаніи ложью, вѣдравшеюся въ Римскую церковь. Такое роковое, безвыходное положеніе Западной церкви внушаетъ Тютчеву не глумленіе и хулу, а глубокое, искреннее состраданіе. Его обращеніе къ ней звучитъ лирическимъ, возвышеннымъ строемъ, согрѣто любовью и вѣрой:

Что можетъ быть ужаснѣе для служителя Христова, какъ быть обреченнымъ на власть, отправлять которую ему нельзя иначе, какъ на погибель душъ, на разореніе церкви?.. Нѣтъ, по истинѣ, такое ужасное, такое противоестественное положеніе продлиться не можетъ. Наказаніе или испытаніе, — мыслимо ли, чтобъ Господь въ Своемъ милосердіи оставилъ еще надолго Римскую церковь охваченною этимъ огненнымъ кругомъ и не открылъ пути, не указалъ исхода, — исхода дивнаго, свѣтоварнаго, нечаемаго, — или лучше сказать чаемаго уже многіе вѣки... Можетъ-быть, еще много превратностей и несчастій отдѣляютъ отъ этого мгновенія Папство и подвластную ему церковь. Можетъ, они еще только при самомъ началѣ этихъ бѣдственныхъ временъ, — ибо не малое то будетъ пламя, не краткосрочный то будетъ пожаръ, который, пожирая, обращая въ пепелъ цѣлые вѣка суетныхъ притязаній и противухристіанской вражды, сокрушитъ наконецъ роковую преграду, заслоняющую желанный исходъ.

И какъ, въ виду того что творится, въ виду этой новой организаціи зла, самой искусной, самой грозной, какую когда-либо знавали лю-

ди,—въ виду цѣлаго міра зла, вполне устроеннаго и вооруженнаго, съ его церковью безвѣрія, съ его правительствующимъ мятежомъ, — какъ возбранить христіанамъ надежду, что Господь соблагоизволитъ преподать Своей Церкви крѣпость соразмѣрную съ новымъ подвигомъ ей указуемымъ, что предъ началомъ готовящагося боя Онъ возвратитъ ей полноту ея силъ, и Самъ, во время потребно, уврачуеъ Своею благою десницею язву на ея тѣлѣ, нанесенную человѣками,—эту зіяющую язву, уже восемьсотъ лѣтъ непрестающую точить кровь!.. \*)

Православная церковь никогда не отчаявалась въ этомъ изцѣленіи. Она ждетъ его, она не уповаетъ только — она увѣрена въ немъ. Какъ тому, что едино по своему началу, что едино въ вѣчности, не преодолѣть разединеніе во времени? Несмотря на многовѣковую разлуку и всѣ человѣческія предубѣжденія, она не переставала признавать, что христіанское начало никогда не вымирало въ Римской церкви, что оно всегда было въ ней сильнѣе лжи и человѣческой страсти,—и вотъ почему она питаетъ внутреннее глубокое убѣжденіе, что оно пересмилтъ всѣхъ своихъ враговъ. Православная церковь знаетъ и то, что въ настоящую пору, какъ и въ теченіи столѣтій, христіанскія судьбы Запада все еще въ рукахъ церкви Римской, и вѣрить, что въ день великаго воссоединенія, Римъ возвратитъ ей неповрежденнымъ (*intacte*) сей священный залогъ...

Затѣмъ въ Тютчевѣ опять всплываетъ поэтъ, и вся его завѣтная дума воплощается имъ въ слѣдующемъ величавомъ образѣ:

Да позволено будетъ намъ, въ заключеніе, напомнить обстоятельства, сопровождавшія посѣщеніе Русскимъ Императоромъ Рима въ 1846 г. Вѣроятно еще намятно то всеобщее душевное волненіе, съ какимъ встрѣчено было его появленіе въ храмѣ Св. Петра,—появленіе православнаго императора, возвратившагося въ Римъ послѣ столькихъ вѣковъ отсутствія; памятенъ тотъ электрическій трепетъ, пробѣжавшій по толпѣ,

\*) Et comment à la vue de ce qui se passe, en présence de cette organisation nouvelle du principe du mal la plus savante et la plus formidable que les hommes aient jamais vue,—en présence de ce monde du mal, tout constitué et tout armé, avec son église d'irréligion et son gouvernement de révolte,—comment, disons-nous, serait-il interdit aux chrétiens d'espérer que Dieu daignera proportionner les forces de Son église à Lui à la nouvelle tâche qu'il lui assigne, etc.

когда она его увидѣла молящимся у гробницы Апостоловъ. Это волненіе имѣло законную и праведную причину. Колѣнопреклоненный императоръ былъ тамъ не одинъ; вся Россія была тамъ, колѣнопреклоненная съ нимъ виѣсть... Будемъ надѣяться, что не вотще вознеслась ея молитва предъ святыми останками...

Такова статья Тютчева. Когда вспоминаешь, что эта статья написана четверть вѣка тому назадъ, то она, по истинѣ, представляется цѣлымъ событіемъ въ области мысли, въ области Русскаго и общечеловѣческаго сознанія. Нельзя не повторить съ Хомяковымъ, что «она не только лучшее, но *единственно дальное* (т. е. единственно вѣрное) сказанное о Западѣ *идь бы то ни было*». Нельзя кстати не вспомнить и этихъ словъ Хомякова, что «статья Тютчева заграничной публикѣ не по плечу». Дѣло въ томъ, что сознать Западъ вполне возможно, кажется, только Русскому; ибо самому Западу трудно стать къ себѣ въ свободное, такъ-сказать, объективное отношеніе,—найти точку зрѣнія внѣ себя самого и выше себя самого. Между тѣмъ Русскій, съ одной стороны, настолько воспринимаетъ въ себя Западъ, что ему вѣдомы и близки всѣ біенія его сердца, всѣ радости, всѣ бѣды, всѣ чаянія, всѣ недуги Запада, вѣдомы и близки какъ будто свои, родные; съ другой стороны, оставаясь Русскимъ, сохраняя свою духовную народную самобытность, онъ обладаетъ точкою зрѣнія самою близкою къ Западу и однакоже внѣ его, и можетъ познавать Западъ въ самомъ себѣ; при помощи собственнаго внутренняго опыта. Разумѣется эта точка зрѣнія дается только самостоятельною Русскою мыслью, проникшеюся насквозь стихіей Русской народности. Только съ высоты того церковно-историческаго созерцанія, которое доступно каждому Русскому какъ православному (ибо Русская народность немислима внѣ православной стихіи), открывается во всей своей ширинѣ историческій горизонтъ христіанскаго Запада, разясняется весь смыслъ его внутренней борьбы, истинная сила и значеніе вопросовъ, его удручающихъ. На этой-то высотѣ и сталъ Тютчевъ двадцать пять лѣтъ тому назадъ, первый освѣтилъ историческую жизнь Запада свѣтомъ Русской, христіанской, православной мысли,—первый заговорилъ съ западнымъ обществомъ языкомъ Русскаго и

православнаго, и не поколебался предъ лицомъ всего міра указать ему новый міръ мысли и духа — въ Россіи.

Статья о Римскомъ вопросѣ была единственною изъ статей Тютчева, замѣченною и у насъ, въ томъ небольшомъ кругу общества, гдѣ получался или читался *Revue des Deux Mondes*. Но въ этомъ кругу, по преимуществу свѣтскомъ, всего менѣе могли раздѣлять мнѣнія Тютчева, особенно въ тѣ годы, когда обаяніе Европы было еще такъ сильно, и защитники народной духовной самостоятельности считались по пальцамъ. Всѣ, конечно, отдавали справедливость ея блестящему Французскому изложенію, но большею частью находили ее, какъ водится, исполненною «крайностей», чуждою любимой «умѣренности», и не отваживались въ такихъ Европейскихъ вопросахъ сняться съ буксира Европейскаго общественнаго мнѣнія. Въ бумагахъ Тютчева найденъ черновой отрывокъ или вѣрнѣе недоконченное письмо къ князю, не сказано какому, письмо чрезвычайно замѣчательное, поясняющее и пополняющее самую статью. Было ли оно когда окончено и послано, мы не знаемъ и воспроизводимъ его въполнѣ:

Мартъ 1850 г.

Я попробую, князь, отвѣтить вамъ на нѣкоторые сомнѣнія и возраженія, возбужденныя въ васъ моею статьею о Папствѣ, а вмѣстѣ съ тѣмъ благодарю васъ за то, что потрудились ихъ написать. Многіе, прочитавъ эту статью, говорили мнѣ, какъ и вы: «Но развѣ время теперь думать о соединеніи церквей? Возможно ли это дѣло? А еслибъ и было возможно, не представить ли оно для насъ болѣе неудобствъ (*inconvé-nients*) чѣмъ выгодъ?..» Должно-быть я дурно выразился въ моей статьѣ, — иначе не могло бы придти и въ голову, чтобъ я велъ рѣчь о возобновленіи Флорентійскаго собора... Нѣтъ, не такъ становится теперь (*pas dans ces termes*) этотъ вопросъ. Разумѣется, въ сущности, это все тотъ же вопросъ, но онъ необязательно усложнился съ 15-го вѣка.

Прежде всего, чтобъ нѣсколько оріентироваться въ вопросѣ, нужно дать себѣ ясный отчетъ въ современномъ кризисѣ, переживаемомъ Западомъ: потому что, только понявши — въ какомъ положеніи Западъ относительно самого себя, будемъ мы въ состояніи опредѣлить свойство его настоящихъ и будущихъ къ намъ отношеній. Какъ ни трудна эта оцѣнка, но она для насъ трудна менѣе чѣмъ для другихъ; потому что намъ, для того чтобъ оріентироваться, достаточно было бы только оставаться тамъ,

гдѣ мы поставлены судьбою \*). Но такова роковая участь, вотъ уже нѣсколько поколѣній сряду, тяготящая надъ нашими умами, что вмѣсто сохраненія за нашею мыслью, относительно Европы, той точки опоры, которая естественно намъ принадлежить, мы ее, эту мысль, привязали такъ-сказать къ хвосту Запада. Я говорю—мы,—но не Россія. Ибо,—и это нужно твердо помнить,—умы въ Россіи, 60 уже лѣтъ, не переставали двигаться въ направленіи совершенно обратномъ къ тому направленію, куда увлекали Россію ея судьбы. Наше умственное будущее (*notre avenir intellectuel*),—собственно для насъ,—это былъ Западъ. Россія же, самымъ фактомъ своего существованія, отрицала будущее Запада...

Намъ твердятъ теперь каждый день, что кризисъ, которымъ одержима современная Европа, небывалый, безпримѣрный въ исторіи обществъ. Что тутъ правды, въ этихъ увѣреніяхъ? Политическія катастрофы, сверженія правительствъ, случались во всѣ эпохи: это принадлежность всѣхъ революцій. Стало быть, еще не въ этомъ отличительный характеръ настоящаго движенія. Другими словами: въ чемъ именно разница между тѣмъ, что въ прежнія времена носило это названіе революціи, и тѣмъ, что называется теперь революціей по преимуществу (*par excellence*)? Вся загадка здѣсь.

Это нѣчто (чему, говорятъ, не было прецедента въ исторіи человечества,—и дѣйствительно нѣтъ), это нѣчто—не что иное, какъ сознательное и рациональное отрицаніе уже не только такой или другой власти, но самаго принципа власти между людьми. Все это, я знаю, было уже сто разъ сказано; но какъ вообще часто, указывая фактъ, не умѣютъ распознать его настоящаго значенія! А значеніе его неизмѣримо важно именно потому, что эта доктрина, отрицающая абсолютно самый принципъ власти, не какая-нибудь доктрина частная, отдѣльная (*isolée*), случайная, произвольная, а послѣднее слово, крайній терминъ того долгаго умственнаго развитія, которое принято называть «Современною Цивилизаціею». Да, надо имѣть мужество сознаться въ томъ, что литература, философія, все это преданіе современной мысли (*de la pensée moderne*), вся эта умственная среда, въ которой наши умы, такъ-сказать, зачаты, выросли и жили,—все это пришло и неизбѣжно должно было придти къ результату, сейчасъ мною указанному. Потому что са-

---

\*) Здѣсь непереводимая игра словъ: «Car, tout jeu de mots à part, il suffirait pour nous orienter, que nous restassions à la place, où le sort nous a mis»... т. е. à l'Orient.

мая сущность современной мысли такова: человекъ зависитъ только отъ самого себя (*l'homme ne relève que de lui même*); въ немъ самомъ, а не въ чемъ либо другомъ, источникъ всякой власти. Когда я называю «современною» мысль, которая также стара какъ человечество, я хочу сказать, что только въ мірѣ современномъ, только въ виду христіанскаго закона и изъ противодѣйствія ему могла эта мысль получить свое полное развитіе и приобрести свою необъятную практическую важность. Почему же? Полагая за основаніе, что человѣческій разумъ долѣетъ такъ сказать себѣ самому,—вся философія древности сводится собственно къ одной сущности: къ автономіи человѣческаго разума \*). Нѣтъ такого мнѣнія, нѣтъ такой доктрины, исходящей изъ этого начала, которая бы не была проповѣдана въ школахъ философовъ, отъ идеализма самаго трансцендентальнаго до матеріализма самаго грубаго. И однакоже все это движеніе умовъ ни разу не произвело на свѣтъ ничего подобнаго тому ученію, той Власти, той Силѣ, которую я называлъ Революціей. Потому что, въ томъ возрастѣ міра и прежде явленія христіанства, философская мысль, добывая себѣ человека въ индивидуумѣ, могла завладѣть, такъ сказать, только наименьшею его частью. Ибо гражданинъ, — этотъ рабъ государства, эта вещь государства (но именно только поэтому собственно и человекъ, — человекъ, по преимуществу по понятіямъ древнихъ), — необходимо ускользалъ изъ ея рукъ. Государству же подлежалъ по праву не только индивидуумъ, но подлежала и сама мысль человѣческая. Только христіанство положило конецъ этой, возведенной въ законъ, неспособности человѣческой души, провозвѣстивъ, предъ лицомъ индивидуума, какъ и предъ лицомъ государства, Того, Кто одинъ истинный Господинъ имъ обоимъ. Подчиненіе человека Богу сокрушило рабство человека человеку. Или вѣрнѣе, оно преобразило рабство въ добровольное и свободное повиновеніе; ибо таково по существу своему отношеніе христіанина къ власти, за которою онъ не признаетъ другаго авторитета, кромѣ того, которымъ она облечена отъ Верховнаго Владыки всяческихъ. И вотъ почему новѣйшая современная мысль, освобождая человека изъ подъ власти Божіей, эмансипируя человека отъ Бога, отнимаетъ тѣмъ самымъ всякій авторитетъ у власти земной, кака бы она ни была. То есть, другими словами, никакого принципа власти не мо-

---

\*) Въ подлинникѣ: En principe, la raison humaine se suffisant à elle-même. — l'autonomie de la raison de l'homme — c'était bien là le fond même de toute la philosophie de l'Antiquité

жеть въ наши дни существовать для общества, которое было христіанскимъ и перестало имъ быть \*)...

Таковъ основной тезисъ всего историческаго міросозерцанія Тютчева. Онъ не нуждается въ доказательствахъ; но во избѣжаніе недоразумѣній и для того, чтобы устранить возможное, хотя и ошибочное, предположеніе, будто авторъ смѣшиваетъ или отождествляетъ принципъ христіанскій съ принципомъ гражданской власти, мы считаемъ не лишнимъ прибавить нѣсколько пояснительныхъ словъ. Міръ древній, не вѣдавшій Откровенія, не знавшій надъ собою и внѣ себя никакого высшаго, нравственнаго начала, былъ, естественно и такъ сказать *de facto*, самъ для себя источникомъ всякой власти, самъ своею верховною совѣстью. Но и древній міръ, томясь потребностью опредѣлить и формулировать въ самомъ себѣ свое высшее начало, старался отвлечь его отъ всего случайнаго и личнаго, и признать его въ идеѣ общаго,—а образомъ этого общаго было для него государство. Государство стало для него выраженіемъ высшей истины,

---

\*) Считаемъ не лишнимъ привести въ подлинникѣ всѣ эти послѣднія строки, по важности ихъ содержанія: *C'est qu'à cet âge du monde et avant la venue du Christianisme, la pensée philosophique, en s'attaquant à l'homme dans l'individu, ne réussissait qu'à s'appropriier pour ainsi dire la moindre partie de lui-même. Car le citoyen, cet esclave de l'Etat, sette chose de l'Etat, mais qui était l'homme par excellence de l'Antiquité, lui échappait nécessairement. En présence de l'Etat, ce n'est pas seulement l'individu, mais c'est la pensée humaine elle-même qui était son droit. Le christianisme seul mit fin à cette incapacité légale de l'âme humaine, en venant proclamer, en face de l'individu aussi bien que de l'Etat, Celui qui était leur véritable Maître à tous deux. La soumission de l'homme à Dieu brisa la servitude de l'homme à l'homme. Ou plutôt elle la transforma en une obéissance volontaire et libre, car telle est essentiellement l'obéissance du chrétien vis-à-vis du pouvoir, au quel il ne reconnaît d'autre autorité qu'une autorité déléguée par le Souverain Maître de toutes choses. Et voilà pourquoi la pensée moderne en émancipant l'homme de Dieu, enleve du même coup toute autorité à tout pouvoir quelconque. Ce qui revient à dire en d'autres termes, que nul principe d'autorité ne saurait subsister de nos jours pour une société qui, après avoir été chrétienne, aurait cessé de l'être...*

совершенно поработило себя и, такъ сказать, втянуло въ себя человѣческую личность. Поэтому нигдѣ и не могла идея государства развиться въ такой строгой послѣдовательности и полнотѣ, какъ въ языческомъ мірѣ (въ формѣ ли монархической или республиканской — все равно); до своего же полного апогея она дошла въ Римѣ. Такое государство, само въ себѣ имѣющее цѣль, само для себя существующее, альфа и омега человѣческаго бытія, само олицетворенное божество, — такое государство было уже немислимо въ мірѣ христіанскомъ. Христіанство, указавъ человѣку и человѣчеству высшее призваніе *внѣ* государства; ограничивъ государство областью внѣшняго, значеніемъ только средства и формы, а не цѣли бытія; поставивъ превыше его начало божественной истины, источникъ всяческой силы и власти, — низвело такимъ образомъ самый принципъ государственный на низшее, подобающее ему мѣсто. На такомъ, такъ сказать, подчиненномъ отношеніи къ высшей истинѣ зиждется теперь въ христіанствѣ основаніе государства, основаніе земной власти, повиновеніе которой, въ предѣлахъ высшей истины, благословляется и повелѣвается для христіанъ Богомъ (какъ это и объяснилъ Тютчевъ). Но какъ скоро христіанскій міръ отрекся бы Бога, современное основаніе государства, основаніе всякой земной власти непременно бы поколебалось: ему уже не на чемъ утвердиться. Вмѣстѣ съ тѣмъ упразднилось бы единственное начало, обуздывающее, сдерживающее въ предѣлахъ развитіе государственности, указующее ей границы. Чтобы утвердить принципъ государства или власти снова на твердомъ фундаментѣ, слѣдовало бы міру возвратиться къ языческой вѣрѣ въ государство, къ представленію древнихъ о государствѣ, слѣдовательно къ признанію за государствомъ, т. е. за началомъ формальной правды и внѣшней, грубой, принудительной силы, значенія высшей истины, — къ признанію полноправности государственной не только надъ гражданиномъ, но и надъ *человѣкомъ*. Но однажды освобожденная изъ языческаго рабства государству, человѣческая личность, которую христіанство превознесло такъ высоко, за которою признало такую полноту духовной свободы, уже не можетъ, уже не способна дать поработить себя снова. Чтѣ же выходитъ? Выходитъ сопоставленіе на-

чалъ несомѣстимыхъ: языческаго представленія о государствѣ съ христіанскимъ представленіемъ о человѣческой личности,—ибо если въ мірѣ дохристіанскомъ человѣкъ поглощался гражданиномъ, а идея личности идеею государства, то общество христіанское, хотя бы и отрекшееся отъ Христа, не властно уже отречься отъ сознанія человѣческой индивидуальности и ея правъ,—сознанія, которому нѣтъ мѣста въ языческомъ государствѣ. Такое общество, сдвигая гражданскій порядокъ съ христіанской основы, не въ состояніи уже обрѣсти для него никакой другой основы: или государство его задушить, задавить, — что едва ли мыслимо, — или же оно обречетъ себя на состояніе вѣчнаго бунта, — чему мы и видимъ примѣры. Такое общество, отрицая христіанство, но не отказываясь отъ вложенныхъ въ него христіанствомъ требованій высшей нравственной правды, индивидуальной свободы и другихъ христіанскихъ нравственныхъ идеаловъ, станетъ непременно предъявлять эти требованія къ государству, возлагать на государство осуществленіе всѣхъ этихъ невыполнимыхъ для государства запросовъ. Другими словами: оно вынуждено будетъ весь строй свободныхъ нравственныхъ отношеній, созданный христіанствомъ, вколотить въ букву, въ форму принудительнаго закона и поставить подъ охрану государственнаго жезла или дубины; оно будетъ палкой, гильотиной, петroleемъ водворять въ мірѣ любовь, равноправность, уваженіе къ человѣческой личности, къ человѣческой свободѣ. Откинувъ орудіе духовное, т. е. высшее нравственное побужденіе къ добру, даваемое вѣрою въ высшую надземную истину, — оно уже не можетъ дѣйствовать иначе, какъ орудіемъ земнымъ, какъ внѣшнимъ, хотя бы и узаконеннымъ, насиліемъ. Слѣдовательно оно само налагаетъ на себя оковы, само обрекаетъ себя на такое рабство и на такое своеволие деспотизма, которыхъ не вѣдалъ даже языческій міръ и которыхъ само общество, конечно, стерпѣть не будетъ въ силахъ; но, продолжая отрицать христіанскую основу, оно осуждено лишь безпрестанно сочинять и безпрестанно разбивать создаваемые имъ формы гражданского порядка,—не мирясь ни съ одною. Къ тому же человѣческая личность, какъ скоро она познала, вкусила однажды даннаго ей христіанствомъ значенія и свободы, и затѣмъ

совлекла съ себя христіанское освященіе, претворяется почти всегда не во что иное, какъ въ самый дикій, разнузданный эгоизмъ. Христіанинъ не можетъ просто перестать быть христіаниномъ и на томъ и покончить: оно то и дѣло будетъ бороться съ своимъ бывшимъ Богомъ и въ себѣ самомъ и вокругъ себя; онъ не перестанетъ вѣчно бунтовать противъ начала, которымъ какъ воздухомъ проникнуто все его существо и все бытіе современныхъ историческихъ обществъ, бунтовать—непремѣнно озлобленно, вездѣ и всюду, въ тайникахъ души своей, на площадяхъ и улицахъ, — попираетъ, въ силу логической послѣдовательности, все что этимъ началомъ освящалось въ мірѣ, что такъ или иначе примыкаетъ къ этому началу. Такимъ образомъ окончательный удѣлъ всякаго христіанскаго общества, отрекшагося Христа, есть бунтъ или революція. Но бунтъ ничего не творитъ и не созидаетъ, а лишь отрицаетъ и разрушаетъ, — и общество, положившее революціонный принципъ въ основаніе своего развитія, должно неминуемо, отъ революціи къ революціи, дойти до анархіи, до совершеннаго самоотрицанія и самозакланія. Все это вполнѣ и буквально подтверждается исторіею Франціи отъ ея первой «великой» революціи до Парижской коммуны включительно. Такъ, первая Французская революція пыталась снова воцарить въ мірѣ именно *языческое представленіе о государствѣ* и устроить республику по образу и подобию древнихъ классическихъ, но въ то же время вводила въ свой республиканскій символъ вѣры, рядомъ съ неязыческими терминами «свобода и равенство», чисто-христіанскій терминъ «братство». Само собою разумѣется, что при такомъ неизбѣжномъ, роковомъ внутреннемъ противорѣчьи, всѣ усилія революціи создать государство на прочномъ языческомъ основаніи оказались тщетными; такъ что для дрессировки «*братій*» и для закрѣпощенія государству «гражданъ (*citoyens*)», революція вынуждена была прибѣгнуть къ средству, невѣдомому въ языческомъ мірѣ — къ террору, и во имя свободы, равенства и братства, явила свѣту такую чудовищность деспотизма, съ которою можетъ только равняться поджогъ Парижа петролеемъ, учиненный Парижскою коммуною...

Впрочемъ намъ еще придется вернуться къ этому основному

тезису Тютчева нѣсколько ниже, по поводу того особеннаго, указываемаго имъ процесса, которымъ начало антихристіанское совершаетъ теперь свою работу въ мірѣ протестантскомъ, въ народахъ Германскаго племени.

Нельзя не пожалѣть, что письмо Тютчева не окончено, и что, отправившись отъ вопроса о воссоединеніи церквей, онъ прервалъ цѣпь своихъ силлогизмовъ на серединѣ, хотя конечно эта цѣпь уже достаточно видна изъ самой его статьи о Папствѣ. Мы полагаемъ, что, собственно въ письмѣ, ходъ его мысли былъ бы таковъ:

Папство, разумѣется, не отрицаетъ зависимости человѣка отъ Бога; оно исповѣдуетъ христіанское ученіе о Богѣ, какъ Превышей Истинѣ и Силѣ, отъ которой лишь одной принципъ земной власти получаетъ свое освященіе. Но наслѣдовавъ всѣ властолюбивыя похоти и духъ рационализма древняго Рима, оно ввело въ христіанское міросозерцаніе понятіе о внѣшнемъ церковномъ авторитетѣ и устроило церковь какъ царство отъ міра, какъ государство. Въ противоположность Революціи, низводившей такъ сказать Бога съ престола, Папство само себя, какъ церковь-государство, возвело на высоту Божьяго престола, отождествило себя съ Богомъ, признавъ себя въ лицѣ государя-папы непогрѣшимую истину и источникомъ всякой власти, отъ котораго лишь одного исходить и зависеть всѣ власти земныя. Но въ борьбѣ съ мятевнымъ стремленіемъ, олицетворяемымъ Революціей и несущимъ на своемъ знамени: «нѣсть Богъ», Папство представляется единственнымъ убѣжищемъ, единственнымъ церковнымъ знаменемъ для уstraшенныхъ Революціей христіанъ Запада. Тогда какъ обществу, заразившему плоть и кровь свою революціоннымъ принципомъ, мысль человѣческая отказывается предугадать исходъ,—для Папства, насколько жива еще въ немъ христіанская стихія, казалось бы, есть еще исходъ, и именно тотъ, о которомъ говоритъ Тютчевъ. Но само собой разумѣется, при современномъ положеніи дѣла, вопросъ о воссоединеніи церквей, какъ и упоминается въ письмѣ Тютчева, получаетъ нѣсколько иное значеніе, чѣмъ соглашеніе догматическихъ различій, хотя и оно конечно необходимо. Возвращеніе къ древне-церковному вселенскому единству возможно для Рима лишь подъ условіемъ: развѣчнания себя какъ

высшаго земнаго авторитета, смиренія предъ вселенскимъ единствомъ, отрѣшенія отъ всѣхъ мірскихъ атрибутовъ власти, возрожденія въ духѣ братской любви и свободы Христовой. Другаго спасительнаго исхода для Рима и для западнаго христіанства, безъ сомнѣнія, нѣтъ, но не подлежитъ также никакому сомнѣнію (какъ Тютчевъ и выразился вполне опредѣленно въ своей статьѣ), что этому исходу долженъ предшествовать цѣлый ужасающій рядъ потрясеній, превратностей, бѣдствій...

Двадцать пять лѣтъ тому назадъ статья Тютчева мало кого убѣдила: Римскій вопросъ ни западнымъ, ни Русскимъ политикамъ вовсе не казался неразрѣшимымъ, недоступнымъ какой либо сдѣлкѣ. Двадцать пять лѣтъ спустя, тѣ же политики уже собирались было признать этотъ самый вопросъ почти вполне разрѣшеннымъ и сдать его въ архивъ. Но, къ изумленію ихъ, оказалось иное. Оказалось, что противникъ, считавшійся пораженнымъ на смерть, живучъ. Мы видимъ, что, заключенный подъ стражею Итальянскаго единства, онъ потрясаетъ однимъ своимъ бытіемъ могущественнѣйшую имперію міра,—и потрясаетъ именно потому, что папское знамя есть единое христіанское знамя на Западѣ... Тютчевъ съ страстнымъ вниманіемъ слѣдилъ за всѣми явленіями борьбы, за всѣми видоизмѣненіями въ судьбѣ Рима. Двадцатипятилѣтній историческій періодъ, наступившій по написаніи имъ своей статьи, столь богатый событіями, былъ только подтвержденіемъ основныхъ, разъясненныхъ Тютчевымъ, положеній Римскаго вопроса. Несмотря на закоснѣлость Папы и ультрамонтановъ въ заблужденіяхъ Римской церкви, и даже благодаря этой закоснѣлости, благодаря тому, что Римская ложь обличила себя собственными своими устами посредствомъ Силлабуса и провозглашенія догмата о непогрѣшимости, христіанская совѣсть дрогнула у многихъ искренновѣрующихъ католиковъ. Гоненія, направленные теперь въ Германіи на католическую церковь,—не на лживыя только ея притязанія, но на самую ея правду, т. е. на неотъемлемыя и священныя ея права, на ея свободу,—эти гоненія будутъ вѣроятно также способствовать очищенію христіанскаго сознанія. Если теперь западные католики, даже не вѣрующіе въ догматъ о непогрѣшимости, считаютъ нужнымъ

становиться подъ папское знамя, то тѣмъ не менѣе, въ совѣсти этихъ самыхъ католиковъ, на первомъ планѣ стоитъ интересъ вѣры, угрожаемой опасностью, — а не вопросъ о притязаніяхъ Папы. Поднимаются не во имя угнетеннаго папы, а во имя угнетенной вѣры. А эта внутренняя, даже не вполне сознаваемая, происходящая въ совѣсти перестановка будетъ имѣть послѣдствія нескончаемыя...

Почти на всѣ эти явленія Тютчевъ отзывался стихами и письмами. Мы считаемъ умѣстнымъ указать на нихъ здѣсь же, для того чтобъ читатель могъ видѣть весь кругъ пройденный его мыслью и обнять его церковно-историческое, христіанское міросозерцаніе во всей полнотѣ.

Вотъ какіе стихи внушила ему знаменитая папская энциклика 1864 года:

Былъ день, когда Господней правды молотъ  
Громилъ, дробилъ ветхозавѣтный храмъ,  
И собственнымъ мечемъ своимъ заколотъ,  
Въ немъ издыхалъ первосвященникъ самъ.

Еще страшнѣй, еще неумолимѣй  
И въ наши дни, дни Божьяго суда,  
Свершится казнь въ отступническомъ Римѣ  
Надъ лженамѣстникомъ Христа.

Столѣтѣя шли, ему прощалось много,  
Кривые толки, темные дѣла;  
Но не прѣстится правдой Бога  
Его послѣдняя хула.

Не отъ меча погибнетъ онъ земнаго,  
Мечемъ земнымъ владѣвшій столько лѣтъ;  
Его погубитъ роковое слово:  
«Свобода совѣсти есть бредъ».

А вотъ другіе, писанные въ 1867 г., едвали не по поводу кровавой схватки Французскихъ и папскихъ солдатъ съ гарибальдийцами...

Свершается заслуженная кара,  
За тяжкій грѣхъ, тысячекратный грѣхъ...

Не отвратить, не избѣжать удара,  
И правда Божья видима для всѣхъ.

То Божьей правды праведная кара,  
И ей въ отпоръ чью помощь ни зови,  
Свершится судъ... и папская тіара  
Въ послѣдній разъ купается въ крови.

А ты—ся носитель неповинный,  
Спаси тебя Господь и отрезви—  
Молись ему, чтобы твои сѣдины  
Не осквернились въ пролитой крови...

Созваніе и рѣшеніе Римскаго собора въ 1870 г. вызвало въ Русскомъ обществѣ, какъ извѣстно, сильныя толки. Многіе признавали нужнымъ, чтобы Русская церковь подала официально свой голосъ, или по крайней мѣрѣ, чтобы было заявлено предъ западнымъ католическимъ міромъ Русское православное мнѣніе. На приглашеніе изъ Москвы взяться за перо снова и выступить на знакомое уже ему поприще, Тютчевъ отвѣчалъ (по-русски) слѣдующимъ письмомъ отъ 13 Марта 1870 г.

Хотѣлось бы откликнуться на вашъ призывъ, но что-то не чертится... Силъ не хватаетъ, а можетъ быть и то, что среды нѣтъ, той животворной, воодушевляющей среды, внѣ которой ничто невозможно. Къ тому же мнѣ сдается, что было бы теперь не совсѣмъ своевременно для насъ, въ данную минуту, выступить на сцену... Слишкомъ рано... Надобно дать развиться всѣмъ логически-неминуемымъ послѣдствіямъ того самоубійственнаго акта, который у насъ во очію совершается. Надобно дать полемикѣ въ католической средѣ ожесточиться до зарѣзу, т. е. до расколу... Я знаю, что явнаго официального раскола все-таки не будетъ... Но вотъ что будетъ... Сознавшая себя оппозиція, въ полномъ сознаніи своего права, уже не будетъ пассивно, какъ прежде, относиться къ Римской куріи. Многое, до собора еще существовавшее, фактически уничтожено соборомъ. Никакое самооболеніе теперь невозможно,—и виѣстъ съ тѣмъ то притворное, аффектированное смиреніе предъ папскимъ авторитетомъ, котораго доселѣ придерживались самыя исключительныя, самыя убѣжденные противники ультрамонтанскаго ученія... Полемика вступить въ новую фазу, но тутъ-то окажется вся юридическая несостоятельность оппозиціи. Подъ нею вдругъ не станетъ

почвы, и она очутится на краю лжи.... Тутъ другого для нея выбора быть не можетъ: или она отступится, т. е. покорится, что невѣроятно: нельзя же предположить, чтобы въ нашъ именно вѣкъ изсякла въ католической средѣ та духовная струя, которая пронизала всѣ наслоенія романизма;—а если она не уступитъ, то въ очень скоромъ времени раздадутся, съ разныхъ сторонъ, голоса, которые заговорятъ о необходимости созванія настоящаго вселенскаго собора... Исходъ въ протестантство можетъ быть дѣломъ частнымъ, дѣломъ личностей; но нельзя же предположить, чтобы такой значительный церковный элементъ, со всѣми своими задатками и преданіями, вдругъ бы рассыпался и разлетѣлся на вѣтеръ... Это невозможно, — и предположеніе, что въ послѣднюю минуту вся эта западная церковная оппозиція ухватится за идею Вселенской Церкви, по моему, правдоподобнѣе... Вотъ эту-то минуту мы и должны выждать, чтобы вступить съ ними въ прямые отношенія... Но все-таки стоять сложа руки не слѣдуетъ. Въ насъ самихъ, прежде всего, должно созрѣть и окрѣпнуть уразумѣніе вопроса, вполне сознательное...

Можетъ-быть замѣтять, что Тютчевъ ошибся, не предвидѣвъ явнаго раскола тогда, какъ въ слѣдующемъ же году явились старо-католики съ своею программой. Но о старо-католичествѣ еще и теперь нельзя произнести рѣшительнаго сужденія: это скорѣе симптомъ начинающагося разложенія, нежели самостоятельное, крѣпкое внутреннее силою явленіе, знаменующее новую церковную эру. Впрочемъ, мнѣніе Тютчева о старо-католикахъ видно изъ вышеприведеннаго его письма къ Русской путешественницѣ въ Прагу... Гораздо замѣчательнѣе письмо, помѣщаемое нами ниже и диктованное Тютчевымъ въ Февралѣ 1873 года, когда онъ лежалъ разбитый параличемъ, за нѣсколько мѣсяцевъ до своей кончины. Оно вызвано еще только извѣстіемъ о новыхъ церковныхъ законахъ, составленныхъ Прусскимъ министерствомъ и утвержденныхъ палатами,—стало-быть еще до начала тѣхъ преслѣдованій, которымъ, съ такою смѣлою послѣдовательностью и Нѣмецкою добросовѣстностью, подвергли потомъ католическихъ епископовъ Пруссіе протестантскіе чиновники. Еще до исхода войны 1870 года, предвидя торжество Пруссіи, Тютчевъ, по свидѣтельству барона Пфеффеля, писалъ слѣдующее:

Торжество Пруссіи значитъ торжество протестантизма, ставшаго си-

понимомъ рационализма,—паденіе папства, угнетеніе совѣстей въ интересѣ безвѣрія, религіозное преслѣдованіе во имя цивилизаціи \*)...

Вотъ письмо Тютчева отъ Февраля 1873 года, о которомъ мы сейчасъ упомянули,—этотъ почти уже замогильный голосъ. Приводимъ его въ подлинникъ:

Ce qui me parait le plus frappant dans l'état actuel des esprits en Europe, c'est le manque d'appréciation intelligente à l'endroit de quelques uns des faits les plus importants de l'époque contemporaine. Ainsi par exemple, à l'endroit de ce qui se passe en Allemagne: c'est pour la première fois depuis bien longtemps que le pouvoir se met si avant en guerre ouverte avec le principe chrétien ou avec l'Eglise. Sous prétexte de combattre une de ces tendances, telle que l'ultramontanisme ou le jésuitisme, on sent au fond de cette lutte la présence d'un élément antichrétien, et on se demande avec stupeur: d'où il vient? Rien de plus simple cependant: il lui vient du milieu dans le quel il est appelé à vivre et à se mouvoir,—il lui vient de l'individu contemporain. C'est toujours la poursuite de la même œuvre, de la déification de l'homme par l'homme.—c'est toujours la volonté humaine érigée en quelque chose d'absolu et souverain, en loi suprême et inconditionnelle. Telle elle se manifeste dans les partis politiques, pour lesquels leur intérêt personnel et la réussite de leurs projets est infiniment au-dessus de toute autre considération. Telle elle commence à se manifester aussi dans la politique des gouvernements, dans cette *politique à outrance* qui dans la poursuite de ses buts ne s'arrête devant aucun obstacle, ne garde aucun ménagement et ne répudie aucun moyen de ceux qui peuvent le conduire à ses fins. C'est le retour pur et simple de la civilisation chrétienne à la *barbarie romaine*, et sous ce rapport le prince de Bismark est moins le restaurateur de l'Empire Germanique que le restaurateur des traditions de l'Empire

---

\*) Prévoyant de bonne heure le triomphe de la Prusse, il ajoutait: «Ce sera le triomphe du protestantisme devenu synonyme du rationalisme, la chute de la Papauté, l'oppression des croyances au profit de l'incrédulité, et la persécution religieuse au nom de la civilisation».

Romain. De là ce caractère de barbarie qui a signalé les allures de la dernière guerre, ce quelque chose de systématiquement impitoyable qui a épouvanté le monde. Eh bien, c'est cet élément-là qui dans l'ancienne Rome a été pour ainsi dire l'ennemi personnel du Christ et qui, à mesure qu'il s'imposera de plus en plus à la politique des états européens de nos jours, les rendra, sans qu'ils s'en doutent, personnellement hostiles à l'Eglise chrétienne, et plus particulièrement à l'Eglise catholique; car entre l'absolutisme de la volonté humaine et la loi du Christ il n'y a pas de compromis possible: c'est là le César qui sera éternellement en guerre avec le Christ. Du moment que l'on sera bien convaincu de la présence de cet élément, il y aura lieu de considérer de plus près les conséquences que pourra avoir la guerre actuellement engagée en Allemagne, — ces conséquences pouvant être d'une portée incalculable pour le monde entier. Car, en amenant dans la société européenne l'asservissement définitif de la conscience religieuse, elle pourra aussi conduire l'Europe vers un état de barbarie sans précédents dans l'histoire du monde et qui autoriserait *toutes les autres oppressions...* Telles sont les réflexions que la lecture de ce qui se passe en Allemagne devrait faire surgir dans l'esprit de tout homme pensant, en écartant toutes les banalités qui compliquent cette lutte, telle que la haine du jésuitisme etc., banalités qui font prendre le change à l'opinion sur d'autres dangers encore que ceux signalés par les dénonciations des partis. En tout cas il ne faudrait pas laisser au prince de Bismark le soin de faire de Pie IX le dernier représentant de l'indépendance de la pensée humaine, mais éviter à tout prix à celle-ci une capitulation de Sedan...(\*)

---

\*) Переводъ: «Что меня наиболѣе поражаетъ въ современномъ состояніи умовъ въ Европѣ, это недостатокъ разумной оцѣнки нѣкоторыхъ наиболѣе важныхъ явленій современной эпохи, — на примѣръ того, что творится теперь въ Германіи: въ первый разъ еще, послѣ долгихъ времени, гражданская власть заходитъ такъ далеко къ явной войнѣ съ христіанскимъ принципомъ или съ церковью. Чувствуется, что подѣлгою борьбы съ такими направленіями, какъ ультрамонтанизмъ

Этими выводами замыкается и пополняется начерченный Тютчевымъ тотъ историческій кругъ, внутри котораго, по его мнѣнію, вращается современная жизнь Западной Европы. Во избѣжаніе недоразумѣній, сведемъ въ краткомъ очеркѣ,

или іезуитизмъ, кроется, на самомъ дѣлѣ этой борьбы, присутствіе элемента антихристіанскаго, и съ изумленіемъ спрашиваешь себя: откуда онъ? А однако же нѣтъ ничего проще: онъ исходитъ изъ среды, въ которой призванъ жить и двигаться, — онъ привносится самимъ современнымъ человѣкомъ. Это дальнѣйшее выполненіе все того же дѣла, обоготворенія человѣка человѣкомъ, — это все та же человѣческая воля, возведенная въ нѣчто абсолютное и державное, въ законъ верховный и безусловный. Таковою проявляется она въ политическихъ партіяхъ, для которыхъ личный ихъ интересъ и успѣхъ ихъ замысловъ несравненно выше всякаго инаго соображенія. Таковою начинаетъ она проявляться и въ политикѣ правительствъ, этой политикѣ доводимой до края, во что бы ни стало (*à outrance*), которая, ради достиженія своихъ цѣлей, не стѣсняется никакою преградой, ничего не щадитъ и не пренебрегаетъ никакимъ средствомъ, способнымъ привести ее къ желанному результату. Это просто на просто возвратъ христіанской цивилизаціи къ Римскому варварству, и въ этомъ отношеніи князь Бисмаркъ не столько возстановитель Германской имперіи, сколько возстановитель преданій имперіи Римской. Отсюда этотъ характеръ варварства, которымъ запечатлѣны приемы послѣдней войны, — что-то систематически безпощадное, что ужаснуло міръ. Вотъ этотъ-то элементъ, который въ древнемъ Римѣ былъ такъ сказать личнымъ врагомъ Христа, этотъ-то элементъ, по мѣрѣ того какъ онъ болѣе и болѣе станетъ овладѣвать политикою современныхъ Европейскихъ государствъ, онъ-то и поселитъ въ нихъ, даже безъ ихъ вѣдома, личную враждебность къ христіанской церкви и въ особенности къ католической. Ибо между абсолютизмомъ человѣческой воли и закономъ Христовымъ не мыслима мирная сдѣлка: это и есть Кесарь, что вѣчно воюетъ со Христомъ... Какъ только надлежащимъ образомъ опознаютъ присутствіе этой стихіи, такъ и увидятъ поводъ обратить болѣе пристальное вниманіе на возможные послѣдствія борьбы, завязавшейся теперь въ Германіи, — послѣдствія, важность которыхъ способна, для всего міра, достигнуть размѣровъ неизслѣдимыхъ. Потому что, вводя въ жизнь Европейскаго общества окончательное порабощеніе христіанской совѣсти, эта борьба можетъ также повести Европу къ состоянію варварства, не имѣющему ничего себѣ подобнаго въ исторіи

разсѣянные въ статьяхъ и письмахъ, черты его общей мысли.

Уже объяснено было выше, что только въ мірѣ языческомъ могла идея государства получить свое полное развитіе, именно потому, что этотъ міръ не вѣдалъ высшей надъ собою истины и что государство было для него учрежденіемъ, получающимъ освященіе извнутри себя самого, высшею нормою и цѣлью человѣческаго бытія, — само источникомъ всякой власти. Въ христіанскомъ же мірѣ надъ государствомъ, съ его внѣшнею правдою и грубою силою, вознеслась правда Божія, высшая сила и власть, — такъ что самая власть земная была ограничена въ своихъ предѣлахъ, поставлена въ своемъ существованіи въ зависимость отъ отношеній своихъ къ этому высшему принципу: она уже не могла держать въ рабствѣ, считать собственностью государства, человѣческую личность, освобожденную и освященную христіанствомъ, не могла простираться на область совѣсти, и самый авторитетъ свой, въ сознаніи христіанскихъ обществъ, заимствовала отъ власти Божіей: только послѣдняя дѣлала для христіанъ послушаніе *нравственно-обязательнымъ*.

Съ воцареніемъ въ христіанскомъ обществѣ духа антихристіанскаго въ лицѣ Революціи, чловѣческое я, отказавшись признавать надъ собою высшее нравственное начало въ Богѣ, тѣмъ менѣе оказалось способнымъ признать этотъ авторитетъ за государствомъ, и воплотило въ себя элементъ вѣчнаго бунта, отрицанія и разрушенія, чему и служить свидѣтельствомъ Франція. Но въ протестантскихъ земляхъ замѣчается повидимому нѣчто иное, — впрочемъ, какъ объ-

міра, и въ которомъ найдутъ себѣ оправданіе всяческія иныя угнетенія. Вотъ тѣ размышленія, которыя, казалось бы, чтеніе о томъ, что дѣлается въ Германіи, должно вызывать въ каждомъ мыслящемъ чловѣкѣ, помимо тѣхъ пошлостей и общихъ мѣстъ, которыми усложняется эта борьба (какъ, на примѣръ, ненависть къ іезуитамъ, и проч.) и которыя только отводятъ вниманіе общественнаго мнѣнія отъ серьезныхъ опасностей, — а опасностей еще много, помимо тѣхъ, на которыя указываютъ партіи. Во всякомъ случаѣ слѣдовало бы не допускать князя Бисмарка до превращенія Пія IX въ послѣдняго представителя независимости чловѣческой мысли, и отвратить отъ нея, во чтобы ни стало, возможность капитуляціи въ родѣ Седанской...

яснится ниже, только повидимому. Въ нихъ, въ этихъ земляхъ, начало антихристіанское сказывается теперь именно въ попыткѣ создать гесударство по типу древняго языческаго Рима. Дѣло въ томъ, что антихристіанскій процессъ въ Германіи и вообще въ протестантскомъ мірѣ совершался и совершается иначе, чѣмъ въ мірѣ Романскомъ. Реформація, какъ извѣстно, была въ своемъ основаніи движеніемъ искренно-религіознымъ; она стремилась возвратитъ христіанской человѣческой личности ту свободу, которая ей дана завѣтомъ Христовымъ и которой лишилъ ее церковный Римъ. Но, отвергнувъ церковно-государственный деспотизмъ Рима, Реформація вмѣстѣ съ тѣмъ отвергла самую идею церкви въ смыслѣ христіанскомъ. Она высоко вознесла личное нравственное значеніе человѣка, поставила человѣка, такъ сказать, на свои ноги, въ отношенія личной отвѣтственности къ Богу; но она препоясала его оружіемъ только личной, единичной вѣры и единичнаго разума,—отняла у него опору и свѣтъ братской любви и единомыслія, соборной совѣсти и соборнаго разума. Церковь низведена была протестантизмомъ на степень простаго дисциплинарнаго учрежденія, и церковныя функціи перешли сами собою на государство. Крѣпко было возбуждено Реформаціей личное христіанское сознаніе въ человѣкѣ,—и долго держался протестантскій міръ этимъ личнымъ христіанскимъ элементомъ (а отчасти держится и теперь, и еще крѣпко держится, какъ напримѣръ въ Англіи); но невозможно ему было устоять въ своей цѣльности при томъ внутреннемъ противорѣчій, которое внесено Реформаціей въ самую область вѣры. Освободивъ человѣка отъ рабства Риму и отрицая съ тѣмъ вмѣстѣ начало церкви, протестантизмъ *уделилъ* человѣка, предоставивъ его своимъ собственнымъ одинокимъ силамъ. Стремясь вознести его на высоту,—конечно подобающую каждой христіанской личности, но лишь подъ условіемъ нравственнаго закона любви, слѣдовательно подобающую только личности, *смиримой въ своемъ эгоизмѣ* и восполняемой въ своей ограниченности братскою любовью и союзомъ, котораго выраженіе есть церковь,—протестантизмъ не только отрѣшилъ человѣческую личность отъ этого союза (стало быть отъ элементовъ ее укрощающихъ и восполняющихъ), но еще поставилъ еѣ въ отрицательное от-

ношеніе къ этимъ элементамъ, къ самому принципу церкви,—и въ такомъ видѣ вознеса ее одинокою на самостоятельную высоту, препоручилъ ей храненіе истины. Провозгласивъ свободу разума и отвергая, съ тѣмъ вмѣстѣ, принципъ церкви, протестантизмъ оголилъ эту свободу отъ всякой нравственной, обуздывающей и опредѣляющей ее стихіи, а разумъ отъ высшей познавательной нравственной силы, и затѣмъ — въ такомъ оголенномъ, формальномъ, логическомъ разумѣ указалъ міру опору для вѣры. Само собою разумѣется, что при этомъ должна была неизбѣжно произойти перестановка центровъ тягости или истины. Истина, зависящая отъ внѣшней опоры или авторитета, въ сущности не есть уже истина: то что даетъ ей точку опоры и свидѣтельствуетъ о ней, безъ сомнѣнія, состоитъ уже выше. Такимъ образомъ протестантскій раціонализмъ, призванный къ полному правному контролю подчиненной его охранѣ истины, мало по малу лишилъ ее своей опоры и доработался до совершеннаго ея отрицанія. Въ этомъ отрицаніи еще не было мятежа; оно не служило выраженіемъ ввунтовавшейся противъ всякаго нравственнаго авторитета, разнуздавшейся челевической воли,—а было только результатомъ логическаго, даже отвлеченнаго умственнаго процесса, которому, конечно, нельзя было удержаться въ своей отвлеченности и не сказаться постепенно на практикѣ въ жизни. Протестантъ послѣдовательный, признающій авторитетъ личнаго *разума*, не можетъ не отвергнуть,—какъ и дѣлаютъ открыто многіе протестантскіе пасторы, — божественность или, какъ говоритъ Апостолъ Павелъ, *безуміе* исповѣдуемой христіанами истины (*la folie de la Croix*, по выраженію Тютчева); протестантъ же вѣрующій въ божественность истины, въ ея супранатуральное происхожденіе, осуждаетъ самъ себя на антагонизмъ съ основнымъ началомъ протестантизма, съ авторитетомъ логическаго разума. При такихъ условіяхъ положеніе личнаго христіанскаго элемента, который еже живетъ въ совѣсти народныхъ массъ, которымъ пока стоитъ протестантскій міръ, разумѣется, самое ненадежное и зыбкое. Германскіе протестантскіе правители, хорошо понимая, что не только этотъ христіанскій элементъ служить основаніемъ общественному, нравственному и гражданскому строю, но

что на немъ до сихъ поръ покоится самый принципъ государственной власти, пытались было поднять ослабѣвшія церковно-политическія узы и даже придать нѣсколько религиозный характеръ своему званію верховныхъ командировъ церкви; но подобныя попытки такъ расходились съ господствующимъ теченіемъ общественной мысли, что не принесли никакихъ существенныхъ результатовъ. Что же касается до нѣмецкой интеллигенціи, то она, совершая свою абстрактную логическую работу и безъ устали подкапываясь подъ основаніе христіанской вѣры, въ то же время весьма наивно и съ полнымъ для себя практическимъ комфортомъ продолжала пробавляться накопленнымъ въ обществѣ, въ теченіи вѣковъ, капиталомъ христіанской нравственности и жить подъ охраною тѣхъ самыхъ христіанскихъ предразсудковъ, которые она такъ усердно расшатывала. Однакожь и она не могла не обезпокоиться быстро возрастающею убылью капитала. Однимъ словомъ, въ протестантскомъ мірѣ Германіи почувствовалась потребность выдти изъ разъядающаго противорѣчія и осадить гражданское бытіе на логическія основы. Эти основы, виѣ христіанскаго сверхестественнаго элемента, не могли быть въ сущности ничѣмъ инымъ, какъ только языческими. Послѣднее слово чистой и истой Нѣмецкой философіи, провозгласивъ разумность дѣйствительности, возвело государство въ значеніе воплощеннаго реального разума. Оставалось осуществить такой идеалъ на практикѣ, и эта миссія естественно принадлежала Пруссіи, какъ свободной отъ средневѣковыхъ и католическихъ преданій, какъ носительницѣ и представительницѣ стремленій протестантскаго Германскаго духа.— Когда, во второй половинѣ XIX вѣка, пришлось созидать въ центрѣ цивилизованной Европы новую имперію, новое государственное могущество,—то зиждательнымъ для нея элементомъ не могъ конечно служить христіанскій элементъ протестантскаго общества, недостаточно сильный для духовнаго освященія новой власти; еще менѣе были пригодны начала, провозглашенныя Французскою революціею; начала, эманципировавшія личную волю отъ какого бы то ни было авторитета. Единственнымъ зиждательнымъ элементомъ явился другой факторъ протестантскаго духовнаго міра, рациональный, логическій разумъ, жаждавшій поклониться са-

тому себѣ въ своей реальной формѣ—въ государствѣ. Онъ еще не объявлялъ практической открытой войны личной христіанской вѣрѣ, не проповѣдывалъ абсолютизма личной воли, не бунтовалъ, какъ человѣкъ Романскаго племени, противъ идеи какого бы то ни было авторитета, а шелъ, по свойству племени Германскаго, свободнымъ путемъ отвлеченно-логической мысли, указаннымъ ему самою Реформаціей, медленно, но постепенно обяызычиваясь и обяызычивая общество,—не ломая въ дребезги, но вытравливая въ человѣкѣ остатки вѣры въ божественную истину. Вотъ почему созданіе государства,—оказавшееся невозможнымъ во Франціи, для христіанскаго общества, переставшаго быть христіанскимъ—стало возможно въ Германіи, въ мірѣ протестантскомъ, на основахъ раціонализма. Но это еще не значитъ, чтобъ такое созданіе могло удержаться. Напротивъ,—окончательный результатъ по всей вѣроятности будетъ и въ Романскомъ, и Германскомъ христіанскомъ мірѣ одинаковъ, только полученный двумя совершенно-противоположными процессами. Пока дѣло пребывало въ абстрактѣ, еще можно было уживаться съ противорѣчіемъ, вносимымъ во внутреннюю жизнь вѣры началомъ логическаго разума, но когда пришлось человѣческой совѣсти встрѣтиться съ нимъ лицомъ къ лицу, въ его практическомъ примѣненіи, и человѣческой свободѣ столкнуться съ его внѣшнею логическою послѣдовательностью въ дѣйствительности, — тогда обозначилось, какова природа возникающаго государственнаго могущества.

Въ самомъ дѣлѣ, что видимъ мы теперь въ Германіи, или вѣрнѣе сказать, въ этомъ, высящемся надъ Германіей, гордомъ твореніи Бисмарка?—Германскіе философы и идеологи преклонились предъ законнымъ дѣтищемъ раціонализма, и скрѣпя сердце, признали и такъ сказать окрестили во имя логическаго разума и необходимости принципа государственнаго насилія: имъ ничего другаго дѣлать и не оставалось. Это единственное, что возможно было для нихъ въ области *созиданія*: иного *создать* раціонализмъ не въ состояніи; далѣе начинается для него уже *разрушеніе*, анархія. Но имъ, либераламъ-философамъ, отъ такого сознанія не легче, потому что никакому *ex*-христіанину никогда не удастся искоренить изъ своей души христіанскій критеріумъ, идеаль высшей нрав-

ственной истины и свободы; отрицаемый, отвергаемый, онъ продолжаетъ жить въ душѣ, какъ не удовлетворенная, пожалуй ничѣмъ не оправданная, но тѣмъ не менѣе томительная потребность. Далѣе, за этими философи-идеалистами, слѣдуетъ цѣлая туча философовъ, которые отъ философскихъ попытокъ созиданія перешли сперва къ философскому же, а потомъ, отчасти, и къ практическому труду голаго отрицанія и разрушенія, — т. е. радикаловъ, революціонеровъ, коммунистовъ, демократовъ, социалистовъ и т. п. Они еще не возстаютъ явно противъ Имперіи, но точатъ топоры и готовятъ для себя почву, озлобляя сердца противъ христіанства и снимая съ душъ всякое освященіе, — а между тѣмъ дорого продаютъ Имперіи свое, пока еще пассивное, отношеніе, или даже иногда и содѣйствіе. Затѣмъ остается громадная масса населенія — католиковъ и протестантовъ. Еслибъ правительство способно было воздержаться отъ прямой, явной борьбы съ христіанскимъ началомъ, оно могло бы вѣроятно еще протянуть на довольно долгое время религіозный миръ Имперіи, конечно двусмысленный, неискренній, но все же менѣе опасный, чѣмъ открытый разрывъ. Но оно было увлечено роковою логическою послѣдовательностью своего основнаго принципа. Какъ только государство пришло въ столкновение съ христіанскою стихіею тамъ, гдѣ она оказалась наиболѣе живучею, именно въ католическомъ населеніи; какъ только государство вынуждено было обнаружить свои языческія притязанія поработить себѣ личную человѣческую совѣсть и объявить себя самого верховною совѣстью, вспыхнула борьба, и конечно неугасимая; смутилась совѣсть не однихъ католиковъ, но даже и лютеранъ, еще не отрেকшихся Христа и только теперь догадавшихся объ опасностяхъ, грозящихъ не лютеранству только, но христіанству вообще. Для успѣха борьбы, для оправданія насилій, князю Бисмарку потребовалась помощь другой стихіи, антихристіанской, уже и теперь достаточно сильной; — онъ вынужденъ вступить въ союзъ, противъ церковнаго и христіанскаго элемента, съ открытыми врагами Христа, — не въ союзъ съ философами-либералами, еще по старой памяти держащимися за преданія либерализма и ставшими теперь въ тупикъ, въ безысходномъ противорѣчій съ твореніемъ своихъ рукъ, а въ союзъ съ радикалами.

Радикалы, разумѣется, охотно соглашаются на все, что подрыываетъ силу самого правительства, т. е. на всякія угнетенія христіанской свободы, очищающія поле для побѣдъ радикализма, — и конечно не уступятъ, въ рѣшительную минуту, потребовать отъ государства, чтобы оно прямо и неукоснительно объявило себя нехристіанскимъ. Въ этомъ именно смыслѣ и говоритъ Тютчевъ, что всякое торжество Бисмарка надъ христіанскимъ католическимъ элементомъ готовитъ міру горшее рабство, чѣмъ то, которое сулила ему Римская церковь, и что принципъ, выражаемый Германскою имперіею, есть принципъ древняго Рима, но тѣмъ болѣе ужасный на практикѣ, что матеріаломъ для новаго языческаго Рима призвано послужить общество просвѣщенное христіанствомъ. Это возведеніе съизнова въ апоѳеозъ голаго, бездушнаго и потому безнравственнаго государственнаго начала, — это узаконеніе и освященіе насилія, — этотъ милитаризмъ, какъ вѣнецъ современнаго гражданскаго развитія, — все это уже начинаетъ оказывать свое вредное дѣйствіе и на государства, лежащія за предѣлами Германіи. Но конечно этотъ принципъ Германской имперіи можетъ пользоваться только временнымъ, хотя бы болѣе или менѣе долгимъ, успѣхомъ: антихристіанское начало, олицетворяемое государствомъ, овладѣвъ душою и совѣстью людей, не замедлитъ свергнуть съ себя и это иго государственнаго авторитета, — и логическій разумъ, не останавливаясь въ своей работѣ, логическимъ же путемъ отрицанія, приведетъ общество къ анархіи. Основное положеніе Тютчева представляется, по нашему мнѣнію, истинною неопровержимою: всякое христіанское общество, переставъ быть христіанскимъ, осуждается на безвыходную анархію и революцію.

Такимъ образомъ, все движеніе современной исторіи Европейскаго Запада можетъ быть обозначено тремя крайними пунктами тяготѣнія или тремя терминами, опредѣляющими смыслъ трехъ главныхъ современныхъ направленій общественнаго духа. Это:

*Римскій Папа* — съ его свѣтскою властью и догматомъ о непогрѣшимости, — единственное пока убѣжище и оплотъ христіанскаго церковнаго элемента на Западѣ, осужденнаго, для «спасенія души», кривить душою и лукавить умомъ.

*Бисмаркъ* — пришествіе языческаго, государственнаго начала въ силѣ и во власти, со всѣми вышеуказанными атрибутами.

*Парижская коммуна* — неминуемый жребій и неизбежный предѣлъ антихристіанскаго революціоннаго принципа и отрицательной дѣятельности логическаго разума, въ ихъ послѣдовательномъ развитіи.

Заклучимъ этотъ отдѣлъ выписками еще изъ двухъ писемъ Тютчева, диктованныхъ имъ къ своимъ роднымъ въ Москву, также въ концѣ Февраля или въ началѣ Марта 1873 г., почти вслѣдъ за вышеприведеннымъ. Вотъ нѣсколько строкъ о Франціи:

«On dirait que ce malheureux pays ne se sent pas suffisamment abimé, et que la ville de Paris nommément a soif du pétrole. C'est un grand mystère qu'un peuple incorrigible. Cela doit tenir à l'état pathologique, quelque chose comme le ramolissement du cerveau dans toute une nation. Cette impossibilité d'avoir de l'expérience suppose l'absence complète de la faculté de se souvenir et de combiner. En un mot, s'est un état tout voisin de l'idiotisme» \*).

Вотъ и другое:

«Une chose m'étonne dans les hommes d'intelligence, s'est qu'ils ne sont pas plus généralement frappés des signes apocalyptiques évidents des temps qui approchent. Nous allons tous, tant que nous sommes, au devant d'un avenir qui nous est tout aussi fermé que peut l'être l'intérieur de la lune ou de toute autre planète. Ce monde mystérieux peut-être tout un monde d'épouvante, dans le quel nous nous trouverons entrés sans nous en douter. Il circule en ce moment en Allemagne un livre, dont le titre est celui-ci: «Philosophie

---

\*) «...Подумаешь, право, что эта несчастная страна считаетъ себя недостаточно погубленною, и что именно Парижъ жаждетъ петролея... Великая тайна — неисправимый народъ. Это должно-быть въ связи съ патологическимъ состояніемъ: что-то въ родѣ размятченія мозга у цѣлой націи. Эта невозможность приобрѣсть опытъ заставляетъ предполагать полнѣйшее отсутствіе способности помнить и соображать. Однимъ словомъ, это состояніе совсѣмъ близкое къ идиотизму»...

des Unbewussten». C'est, à ce que l'on m'a dit, la quintessence même du nihilisme sans phrases et sans ambages. C'est la doctrine de la destruction pure et simple, générale de toute chose, de toute existence comme indigne de naître. Aussi cet ouvrage a-t-il trouvé un immense écho dans toute l'Allemagne, et je ne doute pas qu'il n'en trouve un moindre chez nous. La nature humaine, en dehors de certaines croyances et en proie aux réalités de la vie, ne peut être qu'un spasme de rage, qui ne peut fatalement aboutir qu'à la destruction. C'est le dernier mot de Judas, qui, après avoir livré Jésus Christ, a très judicieusement pensé qu'il ne lui restait qu'une chose à faire, c'est d'aller se pendre. Voilà la crise par laquelle la société sera obligée de passer avant d'arriver à sa crise de régénération... Voilà des propos qui sortent des attributions d'un convalescent... Laissons faire Dieu» \*).

\*) „...Меня удивляет одно въ людяхъ мыслящихъ: то, что они не довольно вообще поражены апокалипсическими признаками приближающихся временъ. Мы всѣ безъ исключенія идемъ на встрѣчу будущаго, столько же отъ насъ сокрытаго, какъ и внутренность луны или всякой другой планеты. Этотъ таинственный міръ можетъ быть цѣлый міръ ужаса, въ которомъ мы вдругъ очутимся, даже и не примѣтивъ нашего перехода. Въ Германіи теперь въ большомъ ходу книга, которой заглавіе: «Философія Несознаваемаго» \*). Это, какъ мнѣ передавали, квинт-эссенція нигилизма, безъ фразъ и изворотовъ. Это доктрина разрушенія — чистаго и голаго, разрушенія всеобщаго, для всего, для всякаго бытія, какъ недостойнаго быть... Да уже и нашло, за то, себѣ это сочиненіе огромнѣйшій отголосокъ по всей Германіи, — и я не сомнѣваюсь, что такой же найдетъ оно себѣ и у насъ. Человѣческая природа, въ извѣстныхъ вѣрованій, преданная въ добычу виѣшней дѣйствительности, можетъ быть только однимъ: судорогою бѣшенства, которой роковой исходъ — только разрушеніе. Это послѣднее слово Іуды, который, предавши Христа, очень основательно разсудилъ, что ему остается лишь одно: удавиться. Вотъ кризисъ, чрезъ который общество должно пройти, прежде чѣмъ доберется до кризиса возрожденія... Но не пристали выздоравливающему больному такіа разсужденія... Предоставимъ все Богу...

---

\*) Гартмана. Есть и въ русскомъ изложеніи.

Не одну участь Іуды, отчасти уже возвѣщенную устами философа Гартмана, можно бы представить въ перспективѣ Европейскому обществу, отрекшемуся отъ «извѣстныхъ», т. е. отъ христіанскихъ вѣрованій. Есть и другой великій символъ, предлагаемый древнимъ завѣтомъ.

Отвергнувъ бытіе Истины внѣ себя, внѣ конечнаго и земнаго, — сотворивъ себѣ кумиромъ свой собственный разумъ, человѣкъ не остановился на полудорогѣ, но увлекаемый роковою послѣдовательностью отрицанія, съ лихорадочнымъ жаромъ спѣшитъ разбить и этотъ новосозданный кумиръ, — спѣшитъ, отринувъ въ человѣкѣ душу, обоготворить въ человѣкѣ плоть и поработиться плоти. Съ какимъ-то ликованіемъ ярости, совлекиши съ себя образъ Божій, совлекаетъ онъ съ себя и человѣческій образъ, и возревновавъ животному, стремится уподобить свою судьбу судьбѣ обоготворившаго себя Навуходоносора: «сердце его отъ человѣкъ измѣнится, и сердце звѣрино дастся ему... и отъ человѣкъ отженутъ его, и со звѣрьми дивными житіе его»...

Овеществленіе духа, безграничное господство матеріи вездѣ и всюду, торжество грубой силы, возвращеніе къ временамъ варварства, — вотъ къ чему, къ ужасу самихъ Европейцевъ, торопится на всѣхъ парахъ Западъ, — и вотъ на что Русское сознаніе, въ лицѣ Тютчева, не переставало, въ теченіи 30 лѣтъ, указывать Европейскому обществу.

Если, по поводу поэтическихъ произведеній Тютчева, одинъ изъ Русскихъ его критиковъ примѣнилъ къ нему слова поэта, что онъ «создалъ рѣчи, которымъ не суждено умереть», то позволительно сказать, что и въ области мысли онъ пролилъ лучи яркаго, неугасимаго свѣта не только озарившаго прошлое и настоящее въ судьбахъ человечества, но и проникающаго въ даль грядущихъ вѣковъ ..

## VI.

Напечатанныя въ свое время статьи Тютчева, раскрывая внутренній недугъ Европейскаго Запада, хотя и противопоставляютъ ему Россію, однакоже въ чертахъ довольно неопредѣленныхъ и общихъ: будущее Россіи, ея историческое при-

званіе, необходимыя и ближайшія задачи подлежащія ея разрѣшенію, рисуются предъ читателемъ какъ бы въ туманѣ, только слегка намѣчаются и какъ бы съ намѣреніемъ не досказываются авторомъ. Можно было бы даже предположить, что Россія для самого Тютчева опредѣлялась только одною своею противоположностью Западу, только своею отрицательною, обращенною къ Европѣ стороною, но что о положительной ея сторонѣ, о будущихъ историческихъ путяхъ Россіи, онъ имѣлъ лишь смутное представленіе, ограничивавшееся общими взглядами, чуждое всякихъ точныхъ и подробныхъ формулъ. Немало удивятся многіе, когда узнаютъ, что въ бумагахъ Тютчева, уже послѣ его смерти, отыскана черновая Французская рукопись, содержащая планъ цѣлаго обширнаго сочиненія, преимущественно о политическомъ призваніи Россіи,—сочиненія, изъ котораго послѣднія двѣ напечатанныя его статьи были только отрывкомъ или отдѣльными главами. Объ этой рукописи никому не было извѣстно; никто никогда и не подозрѣвалъ ея существованія; можетъ-быть, самъ Тютчевъ забылъ о ней, а если и не забылъ, то старался не вспоминать, какъ о недовершенномъ трудѣ, какъ о живомъ укорѣ въ безопасности и лѣни... А можетъ-быть,—и это вѣроятнѣе,—были и другія причины, почему онъ нашелъ невозможнымъ, или излишнимъ доканчивать этотъ трудъ.. Какъ бы то ни было, но излагая выше содержаніе напечатанныхъ статей Тютчева, мы предпочли воздержаться отъ совмѣстнаго изложенія упомянутой черновой рукописи. Мы не сочли себя въ правѣ смѣшивать и какъ бы выставлать равносильными по значенію: мнѣнія, обнародованныя Тютчевымъ, слѣдовательно признанныя имъ самимъ достаточно зрѣлыми, обработанныя имъ въ окончательной формѣ, — и мнѣнія, сохранившіяся только въ черновыхъ замѣткахъ, которыя онъ имѣлъ полный досугъ докончить и обнародовать, и которыя однако же держалъ двадцать пять лѣтъ подъ спудомъ. Тѣмъ не менѣе эти замѣтки очень важны, какъ выражающія ту сокровенную, задушевную думу автора, съ которою мы были до сихъ поръ лишь отчасти знакомы по неяснымъ намекамъ, разбросаннымъ въ статьяхъ и стихахъ, какъ прежде, такъ и позднѣе написанія замѣтокъ.

Рукопись помѣчена 1849 годомъ, чѣмъ свидѣтельствуется

вновь, какой обильный потокъ мысли вызвала въ Тютчевѣ наружу Февральская революція, эта внезапно налетѣвшая гроза, освѣтившая своими молніями всю окрестность западнаго историческаго міра, во всей его современной, мало различаемой правдѣ.

На заглавномъ листкѣ читаемъ:

Россія и Западъ (La Russie et l'Occident).

### Программа.

- I. Положеніе дѣлъ (Situation).
- II. Римскій вопросъ (Question romaine).
- III. Италія (L'Italie).
- IV. Единство Германіи (L'Unité de l'Allemagne).
- V. Австрія (L'Autriche).
- VI. Россія (La Russie).
- VII. Россія и Наполеонъ (La Russie et Napoléon).
- VIII. Россія и Революція (La Russie et la Révolution).
- IX. Будущность (L'Avenir).

Изъ предположенныхъ программю главъ, двѣ, именно II-я («Римскій вопросъ и Папство») и VIII-я («Россія и Революція») были обработаны Тютчевымъ въ видѣ отдѣльныхъ самостоятельныхъ статей и напечатаны. IX-я глава («Будущность») значится только по программѣ: въ рукописи ея нѣтъ вовсе. Затѣмъ всѣ остальные главы имѣются только въ наброскахъ: это въ свою очередь подробныя программы для каждой главы. Кромѣ того сохранилось нѣсколько отдѣльныхъ замѣтокъ, написанныхъ, какъ темы, для новыхъ статей или для разработки ихъ въ затѣваемомъ трудѣ.

Если общій выводъ изъ всѣхъ этихъ черновыхъ набросковъ и поражаетъ своею оригинальностью, то не менѣе поражаетъ въ нихъ и логическая стройность мысли, непрерывающаяся взаимная цѣпкость частныхъ выводовъ. Это не значитъ, чтобъ общій выводъ былъ безусловно вѣренъ: въ исторіи народовъ часто появляются новыя, недовѣдомыя для современниковъ движущія силы; часто, наоборотъ, смена, обѣщавшія богатую жатву, оказываются не всхожи, такъ что никакія логическія соображенія, основанныя только на извѣстныхъ дан-

ныхъ, не могутъ имѣть притязанія на безошибочную разгадку народныхъ судебъ. Необходимо также принять въ расчетъ, что мы имѣемъ дѣло съ выводами, построенными четверть вѣка тому назадъ, слѣдовательно еще до совершенія тѣхъ громадныхъ политическихъ переворотовъ, которыми ознаменовались послѣднія двадцать лѣтъ Европейской исторіи.

Сдѣлавъ эту оговорку, передадимъ читателямъ содержаніе рукописи, въ сжатомъ, но и возможно-полномъ очеркѣ.

Первая глава: «Положеніе дѣлъ въ 1849 году» мало представляетъ новаго для читателя, уже знакомаго съ печатными статьями Тютчева. Революція, говоритъ онъ, потерпѣла въ настоящее время, пораженіе, но крѣпче ли отъ того стали сами правительства? Какой *Символъ вѣры* могутъ они противопоставить революціонному «Вѣрую»? Что такое Революція? «Революція—такъ опредѣляетъ ее Тютчевъ — въ ея основномъ принципѣ, самомъ существенномъ, самомъ первичномъ, есть чистѣйшій продуктъ, послѣднее слово того, что въ теченіе трехъ вѣковъ условились называть *цивилизациею Запада*. Это новѣйшая мысль, вся, въ своей цѣльности (*la pensée moderne toute entière*), со времени своего разрыва съ церковью». Мысль же эта: «апоѳеозъ человѣческаго я въ самомъ буквальномъ смыслѣ слова»... «Но, говоря серьезно, есть ли какой-либо другой символъ вѣры у западнаго общества, у западной цивилизаціи? Какимъ образомъ держащая власти этого общества, которымъ столько вѣковъ сряду пришлось жить не въ какой-либо иной, а именно въ этой же самой умственной средѣ, какимъ образомъ стануть онѣ теперь изъ нея выбираться? И какимъ образомъ, не высвободясь оттуда, найдутъ онѣ точку Архимеда, на которой бы могли утвердить свой рычагъ»? Объяснивъ нѣсколькими примѣрами, что сама оффиціальная наука проповѣдывала постоянно тѣ самыя начала, которыхъ практическія послѣдствія такъ пугаютъ теперь и правительства, и общества, Тютчевъ ставитъ такое положеніе: «Революція, разнообразная до безконечности въ своихъ степеняхъ и проявленіяхъ, едина и тождественна въ своемъ принципѣ, а изъ этого-то принципа,—надобно же наконецъ въ томъ признаться,—и вышла вся настоящая цивилизація Запада.... Мы не скрываемъ отъ себя необъятной важности такого признанія... Мы по всей вѣроятности—прибавляетъ онъ далѣе—

Присутствуемъ при банкротствѣ цѣлой цивилизаціи... Конечно, въ человѣческомъ обществѣ не все доктрина и правило; независимо отъ нихъ, есть интересы вещественные, которыхъ исполнѣ или почти достаточно въ обыкновенныя времена для огражденія ихъ правильнаго теченія... Есть наконецъ истиннѣе самосохраненія. Но истиннѣе самосохраненія, которымъ никогда не спасалась ни одна разбитая армія, въ состояніи ли онѣ, въ концѣ концовъ, уберечь дѣйствительнымъ образомъ общество разрушающееся?... На этотъ еще разъ предрекающія власти, и общество имъ во слѣдъ, отбили, правда, послѣдній натискъ Революціи, — но своими ли собственно силами, своимъ ли законнымъ оружіемъ защитилась новѣйшая цивилизація, эта либеральная цивилизація Запада, отъ нападавшихъ враговъ?!

Послѣ того, какъ Революція обнаружила свою страшную силу разрушенія и свою совершенную неспособность къ организаціи, къ воссозданію, пришла очередь — продолжаетъ Тютчевъ — и за правительствами показать міру, что «если они еще довольно сильны для противодѣйствія разрушенію, то не довольно сильны для созиданія. 1848 годъ подобенъ землетрясенію, которое конечно не всѣ поколебленныя имъ зданія превратило въ развалины, но за то тѣ, которыя устояли, дали такія трещины, что ежеминутно грозятъ паденіемъ».

Такова дилема, которая поставлена Западу историческою судьбою... Но чтобы сколько-нибудь предугадать будущія послѣдствія такого его положенія, необходимо, по мнѣнію Тютчева, сойти съ западной точки зрѣнія и постараться уразумѣть слѣдующую простую истину (*vérité vulgaire*):

Европейскій Западъ — только одна половина великаго органическаго цѣлаго (*d'un grand tout organique*); трудности, повидимому неразрѣшимыя, претерпѣваемыя Западомъ, обрѣтутъ себѣ разрѣшеніе только въ другой половинѣ...

Эта другая половина — Европейскій Востокъ, Россія. Вотъ основная тема всего сочиненія. Остальныя главы, по плану автора, должны были показать, какъ въ частности каждый западно-Европейскій вопросъ примыкаетъ къ Россіи и только въ ней одной находитъ себѣ настоящій отвѣтъ.

Слѣдующая затѣмъ II-я глава: «Римскій вопросъ и Пап-

ство» была напечатана отдѣльною статьею: она, какъ извѣстно читателямъ, указываетъ исходъ Римскому и папскому вопросу только въ возстановленіи древняго вселенскаго церковнаго единства, въ возвращеніи христіанскаго Запада къ учению и преданіямъ христіанскаго Востока.

III глава или черновой набросокъ III-й главы, посвященной Италіи, не болѣе какъ сжатая программа; но она тѣмъ не менѣе такъ замѣчательна, такъ, по нашему мнѣнію, сочна мыслью, что стоитъ цѣлой статьи и открываетъ новые горизонты историческому созерцанію. Вотъ эта программа:

Чего хочетъ Италія? Чтò въ этомъ хотѣніи правда, чтò ложь? Правда: независимость, муниципальное державство (*souveraineté municipale*) съ федеральною связью, — изгнаніе чужестранца, Нѣмца. Ложь: классическая утопія, единая Италія съ Римомъ во главѣ. Римская реставрація \*).

Откуда эта утопія? Ея происхожденіе; ея роль въ прошломъ и до нашихъ дней.

Двѣ Италіи: Италія народная, Италія массъ, дѣйствительная (*celle du peuple, des masses, de la réalité*). — Италія ученыхъ словесниковъ (*des lettrés savants, — книжниковъ*), революціонерствующихъ (*révolutionnaires*) съ Петрарки до Мадзини. Совершенно особенная роль этой тенденціи книжниковъ въ Италіи. Ея значеніе. Это преданіе древняго Рима, Рима языческаго. Почему въ этомъ подобіи, въ этомъ призракѣ болѣе дѣйствительности въ Италіи, чѣмъ гдѣ-либо индѣ (*pourquoi ce simulacre a plus de réalité en Italie qu'ailleurs*)?

Италія Римская была Италіею завоеванною. Вотъ почему и единство Италіи, какъ разумѣютъ его эти господа, Римское дѣло, а вовсе не Италіянское (*est un fait romain et nullement italien*). Италія въ тѣ времена была собственностью Рима, Римскою вещью, потому что Риму принадлежало Имперство (*parce que Rome avait l'Empire*).

Здѣсь мы должны пріостановиться для того, чтобы, такъ сказать, условиться съ читателями въ пониманіи слова: l'Empire. Мы встрѣчаемъ большое затрудненіе въ переводѣ этого слова на Русскій языкъ. По видимому, слово очень извѣстное, но въ этомъ-то и неудобство. У насъ слово *имперія* понимается только въ одномъ опредѣленномъ значеніи, — въ

---

\*) Авторъ разумѣетъ здѣсь попытку возобновить республику въ Римѣ, какъ было въ 1848 г., какъ бывало и въ Средніе вѣка.

этомъ же ходячемъ смыслѣ употребляется оно теперь и въ Западной Европѣ, именно въ смыслѣ *монархіи крупнаго размѣра*, чиномъ выше *королевства*. Между тѣмъ l'empire или Латинское imperium не только выражаетъ вообще идею власти (je n'ai pas d'empire sur moi-même, imperium alius contemner), но есть въ то же время терминъ историческій, означающій собою и историческій фактъ (Римскую Имперію), и связанный съ нимъ историческій, политическій принципъ. Тютчевъ употребляетъ слово l'empire именно въ этомъ смыслѣ,—и на этомъ историко-политическомъ терминѣ, какъ на оси, вращается вся основная мысль его сочиненія. На французскомъ языкѣ слово l'empire легко отвлекается отъ того узкаго значенія, въ которомъ оно обыкновенно употребляется въ наши дни и восстанавливается въ своемъ настоящемъ внутреннемъ объемѣ; по русски же за словомъ *имперія* установился одинъ только смыслъ, чисто внѣшній, не предполагающій никакого историческаго происхожденія. А между тѣмъ, въ этомъ-то историческомъ содержаніи слова вся и сила. Въ самомъ дѣлѣ, отчего Германія, сплотившись, поспѣшила пожаловать себя въ Имперію? почему Франція при Наполеонѣ величается Имперією? почему Султанъ — и тотъ даже считаетъ очень и очень лестнымъ для себя императорскій титулъ, которымъ, уже совершенно бессмысленно, чествуютъ его Европейцы? Причина въ томъ, что съ словомъ «Имперія» связывается представленіе объ Имперіи Римской, о великой *вселенской, единой* имперіи, которой образъ преподанъ Европейскому міру Римомъ и запечатлѣлся въ исторической памяти двухъ тысячелѣтій. Послѣ паденія Рима, въ средневѣковой исторіи, съ этимъ словомъ соединялось не только представленіе о Римской Имперіи, но и *притязаніе* на наслѣдіе Римскаго владычества, притязаніе на такое же *единое и верховное* господство въ мірѣ. Конечно, такіа притязанія теперь оставлены, даже забыты, и слово обратилось въ титулъ, не представляющій собственно никакого смысла. Иначе было бы трудно и объяснить, какъ могутъ въ Европѣ существовать другъ подлѣ друга и называться «Имперіями» три державы, когда самый историческій терминъ «Имперія» предполагаетъ только *одну*, а не нѣсколько Имперій, когда именно въ этомъ значеніи державы *единственно верховной*

и заключается весь смыслъ, все обаяніе титула. Но несмотря на противорѣчіе титула съ его дѣйствительнымъ современнымъ значеніемъ, онъ и понынѣ составляетъ предметъ честолюбивыхъ домогательствъ народовъ и королей, хотя никто не умѣлъ бы опредѣлить: какое количество квадратныхъ миль земли, какая цифра населенія и какая численность войска даютъ право на имперскій титулъ. Тютчевъ, въ своихъ статьяхъ, ищетъ возвратитъ слову «Имперія» его законный и реальный историческій смыслъ. «Имперія едина по своему существу» говоритъ онъ далѣе, въ одной изъ своихъ замѣтокъ: это названіе, со всѣми своими атрибутами, по его мнѣнію, можетъ принадлежать законно только одной державѣ—Россіи.

Мы сочли нужнымъ теперь же, во избѣжаніе недоразумѣній, опредѣлить то значеніе, какое придается Тютчевымъ слову: l'Empire, и для этого забѣжали нѣсколько впередъ, предваряя постепенное разъясненіе мысли автора въ послѣдующемъ рядѣ его черновыхъ замѣтокъ. Русское слово «царство» шире смысломъ иностраннаго слова «имперія» въ Русскомъ употребленіи; царствами называетъ Библія древнія всемірныя монархіи, предшествовавшія Римской (Ассирійское, Македонское и пр.); царями именovala древняя Русь и Византійскихъ императоровъ; но это слово лишено общеевропейскаго значенія, и сама Россія, при Петрѣ Великомъ, перевела для Европы свое названіе «Царства,» допускающее всевозможное разширеніе смысла, словомъ «Имперія», какъ названіемъ, выражающимъ, по понятіямъ Европы, наивысшее государственное могущество.—Мы будемъ переводить встрѣчающееся у Тютчева слово: l'Empire, словомъ: «Имперія» придавая ему условленный, объясненный нами смыслъ. Возвращаемся къ черновому наброску Тютчева объ Италіи:

Что такое Имперія? Это уполномочіе (c'est une délégation). — Права имъ сообщаемыя. Эти права утрачиваются вмѣстѣ съ Имперіей. Это и произошло съ Римомъ... Но такъ какъ престолъ Империі уже болѣе не въ Италіи, то нѣтъ долге и повода для ея искусственнаго единства. Въ ней, съ полнымъ правомъ, возвращаются и ея независимость и ея мѣстныя преданія.

Удаленіе Империі изъ Рима и перенесеніе ея на Востокъ, — это та

христіанская данная, которую языческая данная старается отрицать (*c'est la donnée chrétienne que la donnée païenne cherche à nier*). И вот почему эта послѣдняя и не разумѣетъ истины въ положеніи Италіи.

Италія возвращенная внутренней свободѣ, но лишенная Имперіи (*dérouillée de l'Empire*), — Италія лишенная Имперіи, но не способная обойтись безъ имперской власти. Имперская власть — это связка пука (*c'est le lien du faisceau*). Отчего эта власть никогда не получала того объема, на который имѣла право?

Она была парализована Папствомъ.

Борьба Папства съ Имперіей, ея послѣдствія для Италіи.

Римское Папство и Германская Имперія. Оба — похитители власти, узурпаторы относительно Востока: сначала сообщники, потомъ враги. Италія — ихъ спорная добыча. Оттуда все ея бѣдствія. Быстрый взглядъ на всю эту печальную исторію... Оба призываютъ въ Италію чужеземца, который въ ней и поселяется. — Папство, хотя и умаленное, все еще удерживаетъ Римъ — центръ міра. Имперія, обрушась, завѣщаетъ Италію Австрійскому владычеству. Послѣдняя борьба. Австрія болѣе чужая чѣмъ когда-либо (*plus étrangère que jamais*). Италія раздражаемая сильнѣе чѣмъ когда-либо.

По мѣрѣ сближенія Папства съ Австріей, дѣло (*la cause*) Итальянской независимости отождествляется все болѣе и болѣе съ дѣломъ Революціи. Величайшая опасность положенія.

Французское вмѣшательство въ интересъ Революціи способно лишь еще болѣе усилить эту опасность. Раздоръ, — внутренняя междоусобная борьба всѣхъ элементовъ. Положеніе безвыходное.

Единственный возможный выходъ:

Возстановленіе Имперіи. Секуляризація Папства.

Могутъ возразить, что выходъ нашелся, и не тотъ, какой указанъ Тютчевымъ, что свѣтская власть у Папы отнята, Италія объединена и наслаждается миромъ безъ возстановленія *той* имперіи, которую разумѣетъ авторъ. Но даже оставляя въ сторонѣ вопросъ о вѣрности выводовъ Тютчева, мы считаемъ нужнымъ замѣтить, что свѣтская власть Папы уничтожена только на фактѣ, путемъ насилія, а не въ принципѣ и не въ сознаніи католическаго міра; что единство Италіи едвали кто согласится признать дѣломъ рѣшеннымъ. Италія съ своимъ населеніемъ, совершенно равнымъ населенію Пруссіи, могла освободиться отъ чужеземца и объединиться только *благодаря Франціи и потомъ Пруссіи*, —

благодаря ихъ побѣдамъ и пролитой ими крови: предоставленная сама себѣ, Италія ознаменовала себя пораженіемъ при Кустоцѣ. Она не въ состояніи создать никакой грозной военной силы и не предъявляетъ никакихъ задатковъ серьезной политической жизни. Не усматривается никакой причины, никакого *raison d'être* быть ей единою монархіей. Но при отсутствіи элементовъ, способныхъ создать изъ нея крупный, исполненный значенія политическій организмъ, въ ней немало гнѣздится элементовъ внутренняго раздора, разрушительныхъ и революціонныхъ. Нельзя не вспомнить словъ Тютчева, что «Италія не можетъ обойтись *безъ имперской власти*, хотя сама лишена Имперіи», по тому поводу, что *Имперія* Французская дала ей настоящее бытіе, а *Имперія* Германская его довершила и доселѣ поддерживаетъ: пошатнись Германская Имперія, и положеніе Италіи станетъ снова ненадежнымъ: собственными силами и средствами она жить не можетъ.

Въ отдѣльныхъ замѣткахъ Тютчева мы находимъ еще слѣдующія строки относительно Италіи:

Есть двѣ вещи одинаково вообще ненавидимыя въ Италіи: *Tedeschi* и *Pretri* (Нѣмцы и Попы). Какая же держава была бы въ состояніи освободить Италію отъ тѣхъ и другихъ, не доставляя прибыли Революціи и не разрушая Церковь? Эта держава, если она существуетъ, естественная покровительница Италіи.

Не нужно, кажется, и объяснять, какую державу понимаетъ здѣсь Тютчевъ. Франція и Пруссія, если и освободили Италію отъ *Tedeschi* и *Pretri*, то вмѣстѣ съ тѣмъ и усилили стихію революціонную,—не только антиклерикальную, но и антихристіанскую, или по крайней мѣрѣ антицерковную.

Другая замѣтка, имѣющая связь съ статьею о Римскомъ вопросѣ:

Есть только одна свѣтская власть (*puvoir temporel*), опирающаяся на Вселенскую Церковь, которая могла бы преобразовать Папство, не разрушая Церкви. Такой власти никогда не существовало и не могло существовать на Западѣ. Вотъ почему всѣ свѣтскія власти Запада, отъ Гогенштауффеновъ до Наполеона, во всѣхъ своихъ расприхъ съ Папою, кончили тѣмъ, что приняли къ себѣ въ союзники принципъ антихри-

стіанскій, какъ поступили и такъ-называемые реформаторы, и по такой же причинѣ...

Это замѣчаніе поразительно вѣрно: въ борьбѣ съ Папою, свѣтскимъ властямъ Запада недостаетъ настоящей точки опоры: противъ искаженнаго церковнаго принципа должно быть выставлено знамя высшаго, истиннаго церковнаго начала, а его - то и недостаетъ... Но перейдемъ къ главѣ IV - ой: «Единство Германіи.» Она также написана въ формѣ программы, которую и приводимъ вполнѣ:

Что такое Франкфуртскій парламентъ? Взрывъ Германіи идеологовъ (l'Allemagne-idéologue). Германія идеологовъ; ея исторія.— Военная идея (l'idée militaire),—это ея собственное твореніе. Она исходитъ не отъ массъ, не изъ исторіи. Это доказывается утопій, отсутствіемъ чувства дѣйствительности, въ которомъ никогда нѣтъ недостатка у массъ, и всегда недостатокъ у внижниковъ.

Это мнѣніе, можетъ-быть и справедливое относительно затѣй Франкфуртскаго парламента 1848 года, которыми оно и вызвано, не представляетъ особеннаго современнаго интереса; но за то слѣдующія строки касаются самаго животрепещущаго изъ современныхъ вопросовъ:

Единство Германіи... Европейское преобразование... Но гдѣ же условія для этого? Чѣмъ была старая Германская Имперія во времена своего могущества? Имперією, у которой душа была Римская, а тѣло Славянское (завоеванное у Славянъ, conquis sur les Slaves). Въ томъ, что было Нѣмецкаго, не содержалось матеріала необходимаго для Имперіи.

Между Франціей, которая повисла надъ Рейномъ, и Восточной Европой, тяготящей къ Россіи, есть мѣсто для независимости, но нѣтъ мѣста для первенства... А такое политическое условіе бытія, почетное, но не дающее преобладанія, требуетъ федераціи и несовмѣстно съ единствомъ. Ибо единство, система объединяющая, предполагаетъ призваніе, а у Германіи его уже нѣтъ! (car l'Unité, le système unitaire, suppose une mission, et l'Allemagne n'en a plus!)...

Но даже и въ этихъ тѣсныхъ предѣлахъ возможно ли для Германіи органическое единство?

Дуализмъ присущій Германіи. Имперія была закликательною формулою, для него предназначенною; но эта формула оказалась недостаточною. Имперія осуществилась, но раздѣлившись между двумя: дуализмъ устоялъ

и сквозь Имперію (l'Empire réalisé à deux: le dualisme persistant à travers l'Empire).

Имперія. То, что было ее душою, разбито Реформаціей, и наоборот Реформаціей освященъ дуализмъ. Тридцатилѣтняя война дала ему организацію. Дуализмъ — ставшій нормальнымъ состояніемъ Германіи. Австрія—Пруссія. Такъ продолжалось и до нашихъ дней.—Россія, истинная Имперія, присоюзивъ ихъ къ себѣ, усыпила антагонизмъ, но не упразднила его.—Съ устраненіемъ Россіи, возобновляется и война. Единство невозможно по принципу, потому что: съ Австріей—нѣтъ единства; безъ Австріи—нѣтъ Германіи. Германія не можетъ стать Пруссіей, потому что Пруссія не можетъ стать Имперіей. Имперія предполагаетъ законность. Пруссія же незаконна (avec l'Autriche point d'unité; sans l'Autriche—point d'Allemagne. L'Allemagne ne peut pas devenir Prusse, parceque la Prusse ne peut pas devenir Empire. Empire suppose légitimité: la Prusse est illégitime).

Имперія — нѣтъ (l'Empire est ailleurs). Покаместъ будутъ двѣ Германіи. Это ихъ природное состояніе. Единство придетъ имъ извнѣ.

Въ числѣ отдѣльныхъ замѣтокъ есть слѣдующая замѣтка подъ заглавіемъ: «Единство Германіи», писанная также въ 1849 году.

Весь вопросъ объ единствѣ Германіи сводится теперь къ тому: рѣшится ли Германія стать Пруссіей... Само собою разумѣется, надобно, чтобы Германія захотѣла этого добровольно. Потому что принудить ее силою—Пруссія не въ состояніи. Чтобы принудить силою—имѣются только два средства: революція — средство невозможное для законнаго правительства; завоеваніе—невозможно по причинѣ сосѣдей.

Съ другой стороны, Пруссійскій король, по самому свойству своего происхожденія, никогда не можетъ быть императоромъ Германскимъ. Почему же это? По той же причинѣ, почему Лютеръ никогда бы не могъ сдѣлаться папой...

Слѣдуетъ ли, въ виду совершившихся фактовъ, признать соображенія и выводы Тютчева ошибочными?.. По видимому сбылось именно то, что ему казалось несбыточнымъ: вопреки его словамъ, Германское единство состоялось, и состоялось именно безъ Австріи и посредствомъ Пруссіи, и императоромъ Германскимъ сталъ никто другой, какъ Пруссійскій король... Дѣйствительно, Тютчевъ 1848 году не предвидѣлъ

событій ни 1866 г., ни 1870 года: «сосѣди» не помѣшали «завоеваніямъ» Пруссіи. Онъ упустилъ, можетъ быть, изъ виду логическую необходимость для протестантскаго раціонализма дойти, въ послѣдовательномъ своемъ развитіи, до *реального* своего выраженія въ государственной формѣ,—проявить наружу всю свою зиждительную силу, сколько ея у него имѣется. Взоръ Тютчева былъ очевидно устремленъ только на конечные результаты, не останавливаясь на возможныхъ промежуточныхъ случайностяхъ, способныхъ, по его мнѣнію, только задержать, но не отвратить развязку. Да и самое смѣлое воображеніе едва ли въ то время отважилось бы даже предположить картину тѣхъ ужасовъ, какихъ мы были зрителями въ 1866 году. Можно ли было ожидать, во второй половинѣ XIX вѣка, такого беззастѣнчиваго нарушенія трактатовъ, договоровъ, связей, однимъ словомъ—всѣхъ гарантій общественнаго бытія, какія придуманы пресловутою Европейскою цивилизаціей? Мыслима ли была внутренняя междоусобная, кровавая война въ мирной, просвѣщенной, многоученой и книжной Средней Германіи, гдѣ, казалось, каждая пушка упирается лафетомъ въ какой-нибудь университетъ, а дуломъ въ музей, бібліотеку, академію?

Германія повидимому объединилась и славить свое единство. Но на такое объединеніе не было того *добровольнаго согласія*, которое считалъ Тютчевъ необходимымъ. Она объединилась, выкинувъ за бортъ Австрію, но вмѣстѣ съ Австріей и Нѣмецкій элементъ Австрійской монархіи, сильный не столько числительностью, сколько историческими преданіями и своимъ значеніемъ историческаго политическаго центра для католическаго населенія Германіи. Германская новѣйшая Имперія возникла не органически, но чрезъ завоеваніе. Она скрѣплена не нравственными узами, не тяготѣніемъ, свободнымъ и естественнымъ, частей къ центру, а «кровью и желѣзомъ». «Кровь и желѣзо» возведены ею въ принципъ, оправданы теорією, поставлены на раціональныя основы. Ею не только проявлено на фактѣ, но и провозглашено какъ руководящее начало: право сильного. Наконецъ, по роковому закону логики, Германская Имперія объявляетъ сама себя несовмѣстимою съ свободою вѣрующей совѣсти и съ церковною стихіей христіанскаго общества, и пытается снова закрѣпо-

ститѣ, освобожденную христіанствомъ челоуѣческую личность, снова поработитъ христіанскій міръ языческому государственному принципу. На такомъ отрицаніи всѣхъ нравственныхъ органическихъ началъ не можетъ быть созидано ничего прочнаго,—несмотря ни на какую грозную вещественную силу, ни на какую безпощадную послѣдовательность раціонализма. Напротивъ, именно въ силу этой послѣдовательности,—непремѣннаго свойства раціонализма, — результаты внутреннего противорѣчія, которымъ проникнуто насильственное Германское единство, не замедлятъ оказаться наружу. «Антагонизмъ—повторимъ слова Тютчева — только былъ усыпленъ, но не упраздненъ»...

Можетъ-быть пройдетъ и не мало времени, прежде чѣмъ протестантскій раціонализмъ докажетъ и въ мірѣ политическомъ такую же свою зиждательную несостоятельность, какую проявилъ въ мірѣ духовномъ,—но настоящая историческая полоса, въ которую вступила Германія, по нашему мнѣнію, нисколько не колеблетъ ни основныхъ положеній, ни выводовъ Тютчева относительно будущности имперскаго единства Германіи.

Набросокъ V главы заключаетъ въ себѣ слѣдующую программу статьи объ Австріи.

Какое было значеніе Австріи въ прошломъ? Она выражала фактъ преобладанія одного племени надъ другимъ (*le fait de la prédominance d'une race sur une autre*): племени Нѣмецкаго надъ Славянскимъ. Какъ было возможно такое явленіе? При какомъ условіи?... Объясненіе этого явленія — объясненіе историческое — только династическое (*son explication historique, seulement dynastique*).

Фактъ Нѣмецкаго преобладанія надъ Славянами — ослабленный (*infirme*) Россіей—уничтоженный послѣдними событіями....

Тютчевъ писалъ это въ 1849 году, и по свойству своей мысли переносился, чрезъ времена и лѣта, къ крайнему исходу опознаннаго его анализомъ положенія дѣлъ. Начало уничтоженія Нѣмецкаго господства надъ Славянами онъ видѣлъ, какъ мы знаемъ изъ одной отдѣльной замѣтки и изъ напечатанныхъ его статей, въ событіи Венгерской войны, во вмѣшательствѣ Россіи во внутреннія дѣла Австріи, въ помощи

оказанной Россіей Хорватамъ и Сербамъ, возставшимъ противъ готовившагося имъ Мадьярскаго ига.

Что такое Австрія теперь и чѣмъ она думаетъ быть?.. Ставши конституціонною, Австрія провозгласила Gleichberechtigung, равноправность для различныхъ народностей... Какое же ея значеніе? Система ли это общаго неутралитета? Или чистое отрицаніе? Но существованіе большой державы, основанное на отрицаніи, возможно ли? Законъ конституціонный — законъ большинства, а такъ какъ большинство въ Австріи Славянское, то стало-быть Австрія—Славянское Будущее (l'Avenir slave)? Правдоподобно ли это, возможно ли даже?

Можетъ ли Австрія перестать быть Нѣмецкою, не переставъ быть вообще?... Отношенія между обоими племенами—политическія и фیزیологическія. — Нѣмецкій гнетъ не только гнетъ политическій, но во сто разъ хуже, ибо истекаетъ изъ той мысли, что преобладаніе Нѣмца надъ Славяниномъ—право естественное. Отсюда неразрѣшимое недоразумѣніе и вѣчная ненависть. Слѣдовательно — невозможность искренней равноправности... Такимъ образомъ провозглашенное Gleichberechtigung только обманъ.

Австрія — держава Нѣмецкая и останется Нѣмецкою. Что изъ этого выйдетъ? Непрестанная междоусобная брань различныхъ не-Нѣмецкихъ народностей съ Нѣмцами Вѣны, также какъ и самихъ этихъ національностей другъ съ другомъ, при посредствѣ конституціонной законности. И такимъ образомъ Австрійское господство, вмѣсто того чтобъ быть гарантіею порядка, послужить только закваскою для революціи.—Славянскія населенія—вынужденны стать революціонными, ради охраненія своей національности противъ Нѣмецкой власти....

Венгрія. Въ кругу Имперіи Славянской, она бы, вполнѣ естественно, удовольствовалась тѣмъ подначальнымъ мѣстомъ, которое ей указывается самимъ ея положеніемъ,—но согласится ли она отъ Австріи принять тѣ условія бытія, въ которыя послѣдняя замышляетъ ее поставить?..

Важныя затрудненія,—опасности протекающія отсюда для Россіи,—наконецъ совершенная для нея нестерпимость такого положенія (finalement impossibilité résultant de tout ceci pour la Russie).

Послѣ этого возможна ли Австрія? и для чего бы ей существовать?

Послѣднее размышленіе.

Австрія въ глазахъ Запада не имѣетъ другой цѣны, какъ быть антирусскою идеею,—противодѣйствіемъ Россіи (n'a d'autre valeur qu'une

conception antirussse), а между тѣмъ ей и существовать нельзя безъ помощи Россіи...

Въ отдѣльныхъ замѣткахъ Тютчевъ говоритъ въ томъ же смыслѣ:

Австрія не имѣетъ болѣе причины для бытія (raison d'être). Было сказано: «Еслибъ Австрія не существовала, нужно было бы ее выдумать»,—а зачѣмъ? Затѣмъ, чтобы создать изъ нея орудіе противъ Россіи? Но событія только-что доказали, что содѣйствіе, дружба, покровительство Россіи—условіе жизни для Австріи...

Событія не перестаютъ доказывать эту истину и теперь. Внутренній миръ Австріи зависитъ вполнѣ отъ Россіи. Нѣтъ силы способной заклясть эту зависимость, кромѣ доброй воли самой Россіи; потому что такое положеніе дѣлъ истекаетъ изъ естественныхъ ея свойствъ, какъ единой Славянской державы. Отдалясь отъ Россіи, Австрія потеряла Италію и свое мѣсто въ Германіи. Она вновь ищетъ сближенія съ Россією, т. е. ищетъ оградъ противъ новаго раздробленія извнѣ и домашнихъ междоусобій. Весь внутренній строй бытія этого государства характеризуется Тютчевымъ еще въ 1849 году такъ вѣрно, что къ этой характеристикѣ и въ наше время прибавить рѣшительно нечего, кромѣ того, что положеніе Австріи ухудшилось, и что вопросъ Славянской и вообще вопросъ о національностяхъ въ этой несчастной монархіи еще ярче явилъ свою неразрѣшимость, несмотря на всю отчаянную эквилибристику государственныхъ правителей. Австрія перестаетъ или уже перестала сама въ себя вѣрить. Вопросъ о существованіи Австріи, той Австріи, какую мы знаемъ, есть очевидно только вопросъ времени. Ея жизнь, если не спасти, то по крайней мѣрѣ продлить могло бы еще только открытое и искреннее признаніе себя христіанскимъ центромъ для Запада, оплотомъ церковной стихіи въ Европѣ,—но она упускаетъ изъ рукъ и эту единственную точку опоры, увлекаемая антихристіанскимъ и революционнымъ элементомъ Европейской цивилизаціи. Какая же судьба ея Славянскихъ племенъ?... Свое «послѣднее размышленіе» объ Австріи Тютчевъ заканчиваетъ слѣдующими словами:

Такое положеніе имѣетъ ли задатки жизни (т. е. служить, по мысли

Запада, противодѣйствию Россіи и жить только при помощи Россіи)? Вопросъ для Австрійскихъ Славянъ сводится къ слѣдующему: или о-статься Славянами, ставъ Русскими,—или же стать Нѣмцами, оставаясь Австрійцами (ou rester Slaves en devenant Russes,—ou devenir Allemands en restant Autrichiens).

Послѣдняя фраза вызоветъ, мы знаемъ заранѣе, цѣлую тучу недоразумѣній, возраженій и возгласовъ, преисполненныхъ либеральнаго негодованія. Автора обвинять заднимъ числомъ въ панславизмъ старой руки, въ узкости взгляда, въ завоевательныхъ замыслахъ, въ желаніи прикрѣпить къ Россіи всѣхъ Славянъ Австрійской имперіи. Такое обвиненіе будетъ совершенно ошибочно,—хотя, конечно, Тютчевъ никогда не раздѣлялъ тѣхъ воззрѣній на Славянскую политическую будущность, которыя въ такомъ ходу у вождей Чешской національной партіи и у такъ-называемой «интеллигенціи» прочихъ Славянскихъ народностей... Мы уже приводили выше одно письмо Тютчева къ Русской дамѣ въ Прагу, по поводу Славянъ. На основаніи этого письма и на основаніи другихъ данныхъ, мы можемъ удостовѣрить, что Тютчевъ подъ словомъ «стать Русскими» вовсе не разумѣетъ ни государственнаго закрѣпощенія, ни обрусѣнія въ тѣсномъ смыслѣ слова. Употребивъ это выраженіе, въ черновой замѣткѣ, для краткости, онъ даетъ ему тотъ смыслъ, что Славяне или должны стать гражданами Греко-Славянскаго міра, котораго душою, безъ сомнѣнія, можетъ быть и есть только Россія,—или же погибнуть прежде всего духовно, т. е. утратить свою нравственную народную самостоятельность. Мы впрочемъ уже и выше излагали сущность мнѣнія Тютчева, состоящую въ томъ, что Славяне неправославные могутъ спасти въ себѣ Славянскую народность только подъ условіемъ возвращенія къ православію: то-есть возстановленія единства и общенія церковнаго со всѣмъ православнымъ Востокомъ или, собственно говоря, съ Россіей. Только *тогда*, а не иначе, могутъ они надѣяться пріобщиться и къ судьбѣ Россіи,—а вѣдь только Россіи, по сознанію самого Запада, принадлежитъ будущность... Въ противномъ случаѣ, упорствуя въ сохраненіи латинства или протестантства, они естественно *обрекаютъ себя судьбѣ Западной Европы*, съ которою они и безъ того связаны своею исторіею и цивилизаціей,—судьбѣ народовъ ка-

толическихъ и протестантскихъ, въ которой только слѣпецъ можетъ не видѣть логическое развитіе двухъ міровыхъ факторовъ, двухъ просвѣтительныхъ началъ: церковно-Римскаго и Нѣмецко-протестантскаго. Слѣдовательно, отказываясь отъ объединенія съ Россіею въ вѣрѣ, Западные Славяне сами готовятъ себѣ участь, подготовленную Западу принципомъ Римскаго церковнаго авторитета и принципомъ Реформаціи,—т. е. раціонализмомъ съ его крайнимъ выраженіемъ въ Революціи и въ новѣйшей Германской имперіи. Эту ли участь жаждутъ раздѣлить съ западными иноплеменниками Австрійскіе Славяне? Если же нѣтъ, то на какую иную участь могутъ они надѣяться, съ такою гордостью отчужаясь Россіи? Не могутъ же они вообразить, что, допустивъ въ свою жизнь причины *общія* со всеѣмъ Западомъ, они однако же застрахованы отъ *общихъ* послѣдствій; что имъ однимъ удастся спастись среди историческаго стремительнаго потока, охватывающаго Западную Европу, и создать себѣ свою особенную политическую будущность,—создать притомъ съ помощью не какихъ-либо новыхъ, а старыхъ же, Европейскихъ же, элементовъ, и не во имя какого-либо высшаго духовнаго начала, а только во имя внѣшней племенной индивидуальности и филологическаго различія? Если даже Славяне и мечтаютъ о какой-либо федераціи могущей возникнуть на развалинахъ Австріи, то мыслимо ли, чтобъ эта федерація могла существовать ея собственными средствами, внѣ объединяющаго цемента—Россіи? Однимъ словомъ, вопросъ для Западныхъ Славянъ ставится просто и прямо: или объединеніе съ Россіей, или объединеніе полное и окончательное съ Западною Европою, т. е. утрата Славянской національности. При этомъ «объединеніе съ Россіей» вовсе не означаетъ ни бунта, ни другаго какого-либо насильственнаго дѣйствія относительно Австрійскаго правительства; оно предлагается Тютчевымъ вовсе не въ видѣ настоятельной практической мѣры: оно требуется только въ области Славянскаго самосознанія,—къ тому же прежде всего какъ объединеніе духовное, или точнѣе церковное. Вотъ что писалъ Тютчевъ въ письмѣ къ княгинѣ Е. Э. Трубецкой отъ 6 Декабря 1871 года въ Прагу:

Понятно, что въ Прагѣ не очень удовлетворены нашимъ политическимъ образомъ дѣйствій относительно Славянъ. Даже и здѣсь на мѣстѣ онъ

возбуждаетъ въ насъ, и во мнѣ не изъ послѣднихъ, нетерпѣніе и досаду. Конечно, было бы очень желательно, чтобы въ официальныхъ сферахъ нашей политики существовало разумнѣе нашихъ отношеній къ Славянамъ болѣе истинное, болѣе сознательное, болѣе національное. А между тѣмъ, вѣрнѣе, позади всего этого невѣжества и всего этого проявленія слабости, есть, даже почти и нескрытое, Провидѣніе. Въ виду послѣднихъ совершившихся обстоятельствъ, наше официальное воздержаніе всего лучше служить великому дѣлу, дѣлу Славянъ столько же, сколько и нашему. Болѣе прямое вмѣшательство съ нашей стороны ускорило бы стодниженіе, и это столкновение, въ случаѣ схватки, мало теперь вѣроятной, привело бы не то что къ преждевременнымъ родамъ, а къ положительному выкидышу... Въ настоящій часъ Россія, по отношенію къ Западу, по отношенію особенно къ Германіи, оказываетъ большую услугу Славянскимъ интересамъ своимъ всемогущественнымъ бездѣйствіемъ, чѣмъ какую могла бы оказать рѣшительнымъ дѣйствіемъ, которое теперь только бы прервало существенное дѣло Россіи, дѣло только еще начатое, объединенія и ассимиляціи. Помимо всякой дѣятельности официальной, самому Русскому обществу, той его сторонѣ, которая всего болѣе независима и національна, слѣдуетъ теперь способствовать довершенію этого важнаго дѣла, умножая всѣми возможными мѣрами взаимныя съ Славянами сношенія: въ области церковной, въ искусствахъ, художествахъ, — однимъ словомъ, всякаго рода общеніе: оно только одно можетъ примкнуть къ Россіи разсѣянныхъ членовъ великой семьи. То, что я говорю, совсѣмъ не ново; но если оно поймется широко и приложится къ дѣлу разумно и съ убѣжденіемъ, — то въ немъ вся сущность задачи. Великая, огромная служба, которую мы, своимъ образомъ дѣйствій, служимъ теперь Славянамъ, заключается въ предохраненіи ихъ отъ всякаго вмѣшательства извнѣ, отъ всякаго чужеземнаго нашествія, — въ обезпеченіи имъ всѣхъ шансовъ *fair-play*, какъ говорятъ Англичане. Нашъ договоръ, по ихъ поводу, напоминаетъ нѣсколько договоръ Господа съ дьяволомъ по поводу вѣрнаго раба Іова: дьяволу хоть и дозволено было тѣснить и мучить Іова всячески, но подъ условіемъ не касаться его души... А такъ какъ Россія, будучи тѣмъ что она есть, самую сдержанностью своею налагаетъ всѣмъ другимъ уваженіе къ международному праву, то будьте увѣрены: ни одна частичка Славянскаго племени, въ Турціи ли или въ Австріи, не можетъ уже отнынѣ политически погибнуть, т. е. лишиться своей народности (*se dénationaliser*), только чтобы умѣла и хотѣла бороться... Это положительно...

Кажется, это письмо служить достаточнымъ комментариемъ къ вышеприведеннымъ строкамъ V главы, и выставляетъ ихъ въ настоящемъ свѣтѣ. Намъ думается, что данная Тютчевымъ постановка вопроса не допускаетъ даже и возраженія,—потому что вопросъ сводится собственно къ тому: хотятъ ли Славяне остаться Славянами или нѣтъ? Здѣсь кстати привести слѣдующія строфы изъ его прекраснаго стихотворенія къ Славянамъ по случаю Славянскаго съѣзда въ Россіи въ 1867 году.

.....  
Не даромъ васъ звала Россія  
На праздникъ мира и любви;  
Но знайте, гости дорогіе,  
Вы здѣсь не гости, вы—свои!

Вы дома здѣсь, и больше дома,  
Чѣмъ тамъ, на родинѣ своей,—  
Здѣсь, гдѣ господство не знакомо  
Иноязыческихъ властей!

Здѣсь, гдѣ у власти и подданства  
Одинъ языкъ, одинъ для всѣхъ,  
И не считается Славянство  
За тяжкій первородный грѣхъ...

Хотя враждебною судьбиной  
И были мы разлучены,  
Но все же мы—народъ единый,  
Единой матери сыны!

Но все же братья мы родные...  
Вотъ, вотъ что ненавидятъ въ насъ:  
Вамъ—не прощается Россія,  
Россіи—не прощаютъ васъ...

Давно на почвѣ Европейской,  
Гдѣ ложь такъ пышно разрослась,  
Давно наукой фарисейской  
Двойная правда создалась.

Для нихъ—законъ и равноправность,  
Для насъ—насилие и обманъ,

И закрѣпила стародавность  
Ихъ какъ наслѣдіе Славянъ...

Опально-міровое племя,  
Когда же будешь ты народъ?  
Когда же упразднится время  
Твоей и розни и невзгодъ,

И грянетъ кличъ къ объединенью  
И рухнетъ то, что дѣлать насъ?..  
Мы ждемъ и вѣримъ Провидѣнью:  
Ему извѣстны день и часъ...

И эта вѣра въ правду Бога  
Ужъ въ нашей не умретъ груди,  
Хоть много жертвъ и горя много  
Еще мы видимъ впереди...

Онъ живъ—Верховный Промыслитель,  
И судъ его не оскудѣлъ,  
И слово—царь-освободитель—  
За Русскій выступить предѣлъ!

Въ этихъ строфахъ выражена задушевная дума всей жизни Тютчева,—та же самая, что и въ черновой его рукописи,— съ тою разницею, что въ послѣдней онъ чертилъ себѣ самыя отдаленныя, конечныя логическія выводы изъ основныхъ положеній. Въ томъ же 1867 г., по случаю того же сѣзда, онъ сдѣлалъ слѣдующую приписку въ посланіи къ Ганкѣ, писанномъ еще за границей:

Такъ взывалъ я, такъ гласилъ я.  
Тридцать лѣтъ съ тѣхъ поръ ушло:  
Все упорнѣе насилье,  
Все назойливѣе зло.

Ты, стоящій днесъ предъ Богомъ,  
Мужъ добра, святая тѣнь:  
Будь вся жизнь твоя зологомъ,  
Что придетъ желанный день.

За твое же постоянство  
Въ нескончаемой борьбѣ,

Первый праздникъ всеславянства  
Приношеньемъ будь тебѣ!

Возвращаемся снова къ предположенному Тютчевымъ сочиненію: «Россія и Западъ»,—именно къ главѣ: «Россія и Наполеонъ», т. е. Наполеонъ I. Хотя она въ рукописи поставлена VII-ю, а не VI-ю, однако мы считаемъ удобнѣе, при нашемъ изложеніи, измѣнить этотъ порядокъ, руководясь общимъ ходомъ его мысли, который состоитъ, кажется, въ томъ, чтобы сначала раскрыть истинное политическое положеніе западныхъ странъ и неизбежную, роковую связь ихъ судебъ съ судьбою Россіи,—затѣмъ уже опредѣлить значеніе и призваніе Россіи, самой въ себѣ. Къ наброску о Наполеонѣ мы присоединяемъ и отдѣльныя замѣтки.

Реторика по поводу Наполеона—говорить Тютчевъ—заслонила историческую дѣйствительность, смысла которой не поняла и поэзія. Это центавръ, который одною половиною своего тѣла—Революція... Исторія его помазанія на царство (*l'histoire de son sacre*)—символъ всей его исторіи. Онъ хотѣлъ въ своемъ лицѣ миропомазать (*sacrer*) Революцію, что и претворило его царствованіе въ пародію серьезнаго свойства, въ пародію Карла Великаго. Ему не доставало сознанія своего права, и вотъ отчего онъ всегда игралъ роль: именно эта примѣсь суетности (*ce quelque chose de mondain*) и отнимаетъ всякое величіе у его величія. Попытка возобновить Карла Великаго была не только анахронизмомъ, какимъ она была и для Людовика XIV и для Карла V,—но сама въ себѣ зазорнымъ противорѣчіемъ (*un scandaleux contre-sens*), ибо она производилась во имя власти—Революціи, которая самое существенное свое призваніе поставила именно въ томъ, чтобы стереть всякой слѣдъ, до послѣдняго, отъ творенія Карла Великаго.—Революція убила Карла Великаго; Наполеонъ хотѣлъ его передѣлать. Но со времени появленія Россіи, Карлъ Великій уже сталъ невозможенъ. Отсюда неизбежное столкновеніе между Россією и Наполеономъ.

Противорѣчія въ его чувствахъ относительно Россіи. Влеченіе и отвращеніе. Еслибъ онъ и хотѣлъ раздѣлить съ нею Имперію, онъ не могъ бы этого сдѣлать. Имперія—принципъ, она недѣлима (*l'Empire est un principe, il ne se partage pas*)... (Если исторія Эрфуртскаго свиданія вѣрна—то это была минута величайшаго уклоненія путей Россіи). Замѣчательно: личнымъ врагомъ Наполеона была Англія, а сокрушился онъ объ Россію: потому что истиннымъ его противникомъ была она. Борьба

между нимъ и ею была борьба между вѣнчанною Революціею и закон-  
ной Имперіей.

Революція 1789 года—была разложениемъ Запада. Она разрушила его политическую автономію (*l'autonomie de l'Occident*). Она убила на Западѣ власть внутреннюю, туземную, и вслѣдствіе того преклонила его подъ власть чужую, внѣшнюю. Ибо никакое общество не можетъ обойтись безъ власти; вотъ почему всякое общество, не способное извлечь ее изъ собственныхъ нѣдръ, осуждено, инстинктомъ самосохраненія, заниматься ее извнѣ.—Наполеонъ выражаетъ послѣднюю отчаянную попытку Запада создать себѣ туземную власть (*puvoir indigène*); эта попытка рушилась неизбѣжно, ибо невозможно извлечь принципъ власти изъ принципа революціоннаго. А Наполеонъ былъ самъ воплощеніемъ этого принципа и не могъ быть ничѣмъ инымъ.

Хотя Тютчевъ въ началѣ 1849 года и не предвидѣлъ еще другаго Наполеона, но и 18-лѣтнее существованіе во Франціи второй Имперіи нисколько не измѣнило постановки вопроса, которая относительно народовъ Романскаго происхожденія и Римско-католическаго исповѣданія намъ кажется безусловно правильною. Франція и Испанія истощаются въ попыткахъ создать у себя прочную власть и являютъ міру свою совершенную несостоятельность въ разрѣшеніи этой задачи. Да впрочемъ, такая задача—найти въ революціонномъ элементѣ основу для незыблемаго авторитета власти—помудренѣе чѣмъ задача о квадратурѣ круга. Могутъ явиться и новые Наполеоны,—на короткій срокъ цезаризмъ будетъ смѣнятися республикою и обратно—республика цезаризмомъ, король Амедей Альфонсомъ или республиканскими формами той или другой литературной системы: не измѣнится только, въ своемъ существѣ, единое державствующее въ этихъ странахъ начало,—революціонное; оно и дойдетъ неминуемо до крайняго предѣла своего развитія. О судьбѣ Италіи мы уже говорили выше: она и теперь въ сущности, а въ будущемъ и подавно, лишена самостоятельнаго политическаго значенія. Призовутъ ли эти страны власть извнѣ, или же просто будутъ покорены Германскому племени, увлекаемому въ своихъ судьбахъ роковою послѣдовательностью своего новаго политическаго девиза (потому что «Имперія» не просто титулъ, а принципъ и преданіе, невольно и безсознательно усвоенныя съ титуломъ)—объ этомъ гадать теперь трудно. Не-

сомнѣнно одно: совершенное оскудѣніе въ политическихъ тѣлахъ Романскаго племени внутренней зиждительной, политической силы.—Вопросъ можетъ еще считаться, такъ-сказать, открытымъ относительно одной Германіи. Повидимому, есть поводъ замѣтить, что Тютчевъ недостаточно взвѣсилъ внутреннюю зиждительную силу племени Германскаго, не на столько, по крайней мѣрѣ, чтобы предвидѣть заранѣе возможность той исторической фазы, въ которую вступила теперь Германія съ созданіемъ новой Германской Имперіи. Но эта историческая фаза не въ силахъ измѣнить ни основнаго положенія Тютчева, ни логическихъ изъ него выводовъ относительно конечной судьбы протестантскаго раціонализма, духомъ котораго порождена и движется эта Имперія,—какъ это уже и было объяснено.

Главу о Наполеонѣ и Россіи Тютчевъ заканчиваетъ слѣдующими строками.

Онъ самъ, на подобіе древнимъ (*à la manière antique*) пророчествовалъ о ней: «она увлекаема рокомъ; да свершатся же ея судьбы...» \*).

Онъ самъ на рубежъ Россіи,  
Проникнуть весь предчувствіемъ борьбы,  
Слова промолвилъ роковыя:  
«Да сбудутся ея судьбы!!!»

И не напрасно было заклинанье:  
Судьба откликнулась на голосъ твой;  
И самъ же ты, потомъ, въ твоемъ изгнаньи,  
Ты пояснилъ отвѣтъ имъ роковой...

Здѣсь Тютчевъ приводитъ свои собственные стихи о Наполеонѣ, написанные, кажется, еще въ 1841 году, но приводитъ ихъ не въ томъ видѣ, въ какомъ они были извѣстны и напечатаны. Въ печати читаемъ:

И ты стоялъ,—передъ тобой Россія,  
И вѣщій волхвъ, въ предчувствіи борьбы,  
Ты самъ слова промолвилъ роковыя, и проч.

---

\*) Слова о Россіи, приписываемыя Наполеону при переправѣ чрезъ Нѣманъ.

Здѣсь измѣненія совершенно незначительныя и внѣшнія,—но измѣненіе существенное въ слѣдующихъ двухъ стихахъ. Напечатано:

Но новою загадкою въ изгнаньи  
Ты возразилъ на отзывъ роковой...

Эта загадка разрѣшилась для Тютчева въ положительный «отвѣтъ»: дѣло идетъ объ извѣстныхъ словахъ Наполеона, сказанныхъ на островѣ Св. Елены: *dans cinquante ans l'Europe sera révolutionnaire ou cosaque*,—черезъ 50 лѣтъ (счетъ годовъ не важенъ) Европа будетъ или революціонною, или оказанною, т. е. подъ рукою Россіи...

Перейдемъ къ главѣ: «Россія». Вотъ она вся:

Люди Запада судящіе о Россіи—это что-то въ родѣ Китайцевъ судящихъ объ Европѣ, или скорѣе Грековъ судящихъ о Римѣ.

Таковъ, кажется, законъ историческій: никогда никакое общество, никакая цивилизація не понимали того общества, той цивилизаціи, которыя должны были ихъ замѣстить. Что еще болѣе вводитъ въ заблужденіе—это западная колонія образованныхъ Русскихъ, въ которыхъ отдается Западу его собственный голосъ. Это *насмѣшка эхо...* (*c'est la colonie occidentale des Russes civilisés, qui leur (aux Occidentaux) renvoient leur propre voix... La moquerie de l'écho*).

Для Запада, который до сихъ поръ видитъ въ Россіи только матеріальный фактъ, только вещественную силу,—Россія есть дѣйствіе безъ причины (*un effet sans cause*). То есть: идеалисты — они не узнаютъ идеи; ученые и философы — они въ своихъ историческихъ воззрѣніяхъ упустили цѣлую половину Европейскаго міра. Однакоже откуда является въ нихъ, предъ лицомъ этой чисто вещественной будто бы силы, какое-то особенное ощущеніе, нѣчто—среднее между уваженіемъ и страхомъ, чувство называемое по англійски *awe*, которое испытываютъ только относительно верховной авторитетной власти (*le sentiment de l'awe, qu'on n'a que pour l'Autorité*)? Здѣсь опять инстинктъ разумнѣе науки. Что же такое Россія? Что представляетъ собою она? Двѣ вещи: Славянское племя—Православную Имперію.

1) Племя... Панславизмъ, ставшій достояніемъ революціонной фразеологіи. Употребленіе во зло понятія о національности,—маскарадный костюмъ для Революціи. Панслависты литературные такіе же точно Нѣмецкіе идеологи. Настоящій панславизмъ (*le panslavisme réel*) въ мас-

сахъ. Онъ проявляется при встрѣчѣ Русскаго солдата съ первымъ попавшимся Славяниномъ, изъ простонародья, Словакомъ, Сербомъ, Болгаринномъ,—и даже Мадыромъ: они всѣ солидарны между собою по отношенію къ Нѣмцу.

Панславизмъ также и въ этомъ:

Не можетъ быть никакой для Славянъ политической національности внѣ Россіи.

Здѣсь самъ собою ставится вопросъ Польскій.

Польскій вопросъ рѣшался для Тютчева степенью вѣрности Польскаго народа Славянской народности и Славянскимъ церковнымъ, т. е. восточнымъ или вселенскимъ преданіямъ. Но изъ всѣхъ вѣтвей Славянскаго племени, Польская сильнѣе всѣхъ отторглась отъ Славянскаго братства,—отрекшись отъ существеннѣйшихъ стихій Славянства, измѣнивъ духу Славянскому, предавшись на сторону Запада, принявъ въ душу, въ кровь и плоть своей національности, латинство и такимъ образомъ связавъ свою судьбу съ судьбою всего латинствующаго западнаго міра. Католики впрочемъ не одни Поляки, а также и Чехи, и Хорваты; но у Чеховъ былъ Гусъ; гуситствомъ только и сбереглась и опредѣлилась Чехія, какъ Славянская земля; у Хорватовъ же до сихъ поръ, особенно въ простомъ народѣ, чрезвычайно живы преданія православія. Восколько Славяне искренніе католики, во столько они, иногда сами того не понимая, отступники Славянскаго духа: отъ Славянства имъ остается только одно: племенное кровное чувство — но на такомъ скудномъ, грубомъ, *физиологическомъ* основаніи ничего не создается, ничего и не можетъ быть создано. Вопросъ о Польшѣ сводится къ вопросу: въ какой степени способна она стать снова Славянскою и православною? Это для нея вопросъ жизни и смерти.

Продолжаемъ изложеніе программы Тютчева.

2) Имперія. Вопросъ племенной (*la question de race*), только второстепенный, или вѣрнѣе: это не принципъ, а стихія (*élément*). Принципъ: православное преданіе.

Россія еще болѣе православная чѣмъ Славянская земля. Собственно какъ православная, и является она залогохранительницею Импе-

pin (la Russie est orthodoxe plus encore que slave. C'est comme orthodoxe qu'elle est dépositaire de l'Empire).

Что же такое Имперія? Ученіе объ Имперіи (doctrine de l'Empire).

Имперія не умираетъ; она передается. Дѣйствительность этой передачи.—Четыре Имперіи—были; пятая—окончательная (définitif). Такое преданіе отрицается революціонною школою на томъ же основаніи, какъ отрицается преданіе въ Церкви; это Индивидуализмъ отрицающій Исторію, а между тѣмъ идея Имперіи была душою всей исторіи Запада: Карлъ Великій, Карлъ V, Людовикъ XIV, Наполеонъ. Революція убила ее, чѣмъ и началось разложеніе Запада. Но Имперія на Западѣ никогда не была ничѣмъ инымъ, какъ похищеніемъ власти, узурпаціею... (Mais l'Empire en Occident n'a jamais été qu'une usurpation). Это добыча (une déronille), которую Папы подѣлили съ Кесарями Германіи; отсюда всѣ ихъ распри.—Законная Имперія осталась прикованною къ наслѣдію Константина. Показать и доказать историческую реальность всѣхъ этихъ положеній.

Чѣмъ была Имперія Восточная, переданная Россіи (фальшивые взгляды западной науки на Восточную Имперію)?

Только въ качествѣ Императора Восточнаго Царь есть Императоръ Россіи. «Воли мѣ за Царя Восточнаго Православнаго», говорили Малороссы \*) и говорятъ всѣ православные Востока, Славяне и другіе.

Что касается Турокъ, то они заняли православный Востокъ для того, чтобы прикрыть его отъ Западныхъ, пока организуется законная Имперія.

Имперія Едина.

Душою ей—Православная Церковь; тѣломъ—Славянское племя. Если бы Россія не дошла до Имперіи, она бы лопнула. Восточная Имперія—это Россія въ окончательномъ видѣ....

Присоединимъ сюда же и остальные отдѣльные замѣтки: ихъ двѣ. Первая носитъ заглавіе: «Другая программа».

1) Въ чемъ состоитъ общее мѣсто о Всемирной Монархіи? (qu'est-ce que le lieu commun sur la Monarchie Universelle)? Откуда оно?

2) Политическое равновѣсіе въ Исторіи отвѣчаетъ раздѣленію властей въ правѣ государственномъ. То и другое — послѣдствіе съ точки

---

\*) Такъ отвѣчали Малороссы на вопросъ предложенный Богданомъ Хмѣльницкимъ, кому хотятъ они отдаться въ подданство. См. Собр. Госуд. Грам. и Догов.

зрѣнія революціонной,—отрицаніе съ точки зрѣнія органической.

3) Всемирная Монархія—это Имперія. Имперія же существовала всегда, только мѣняла властителей.

4) Четыре Имперіи: Ассирійская, Персидская, Македонская, Римская. Съ Константина начинается пятая... Имперія окончательная (définitif)—Имперія Христіанская.

5) Нельзя отвергать Имперію Христіанскую, не отвергая Христіанскую Церковь. Обѣ между собою въ соотношеніи (sont corrélatifs); въ обоихъ случаяхъ это значило бы отвергать Преданіе.

6) Церковь, освящая Имперію, ее себѣ приобщила (se l'est associé); слѣдовательно сдѣлала ее окончательною (par conséquent l'a rendu définitif). Отсюда и выходитъ, что все, отрицающее христіанство, часто очень могуче какъ разрушеніе, но ничтожно какъ созиданіе, потому что это въ то же время бунтъ противъ Имперіи.

7) Но эта Имперія, которая по принципу непреходима, въ дѣйствительности способна испытывать ослабленія, затмѣнія, перерывы.

8) Что такое исторія Запада, начинающаяся съ Карла Великаго и заканчивающаяся предъ нашими глазами? Это исторія Имперіи захваченной, узурпованной (c'est l'histoire de l'Empire usuré).

9) Папа, возмущаясь противъ Всемирной Церкви, похитилъ права Имперіи, которыя и подѣлилъ какъ добычу между собою и такъ-называемымъ Императоромъ Запада.

10) Отсюда и вышло то, что обыкновенно случается между сообщниками.

Долгая борьба схизматическаго Римскаго Папства съ узурпованною Западною Имперіей заканчивается для перваго Реформаціей,—то есть отрицаніемъ Церкви; для второй—Революціей, то есть отрицаніемъ Имперіи...

Другая замѣтка.

.... Съ 1815 года Имперія Запада уже не на Западѣ. Имперія вся перешла и сосредоточилась туда, гдѣ во всѣ времена жило преданіе объ Имперіи... Возстановленію Имперіи должны содѣйствовать два великихъ дѣла, которыхъ совершеніе уже началось. Въ области свѣтской: образованіе Греко-Славянской Имперіи; въ области духовной: воссоединеніе обѣихъ церквей.

Первое изъ этихъ дѣлъ началось фактически въ день, когда Австрія, чтобы сохранить себѣ подобіе бытія, прибѣгла къ помощи Россіи \*). Ибо

---

\*) Тютчевъ разумѣетъ здѣсь Венгерскую войну 1849 года.

Австрія, спасенная Россіей, по силѣ вещей, есть Австрія поглощенная (*absorbée*) Россіей (немного ранѣе, немного поздиѣе). Поглощеніе же Австріи есть не только необходимое восполненіе Россіи, какъ Славянскій Имперіи, но и подклоненіе подъ ея руку Германіи и Италиі, этихъ двухъ Имперскихъ земель.

Другое дѣло, начало воссоединенія церквей—это лишеніе Папы свѣтской власти.

Мы передали читателямъ рукопись Тютчева вполнѣ. Эти бѣглыя замѣтки, набросанныя для себя и про себя, вводятъ насъ какъ бы въ самую лабораторію его исторической думы,—раскрываютъ намъ внутреннюю, *черновую* работу его мысли, ея первоначальный очеркъ и размахъ; мы видимъ, какія широкія задачи осаждали этотъ умъ, какіе величавые образы будущаго, и именно будущаго Россіи, возставали предъ мыслителемъ-поэтомъ. Но мы должны помнить, что не имѣемъ никакого права относиться къ этой рукописи строго-критически, какъ отнеслись бы къ труду вполнѣ законченному, удостоенному одобренія, *признанному* самимъ авторомъ. Этого авторскаго признанія ей именно и недостаетъ. Напротивъ, есть основаніе полагать, какъ мы уже и высказались, что Тютчевъ не даромъ оставилъ начатую имъ работу вчернѣ, и не перевелъ ее *на блго*; что онъ не случайно и не напрасно, передавая незадолго до своей послѣдней болѣзни рукописи своихъ статей издателю «Русскаго Архива», не только не включилъ этой рукописи въ число тѣхъ своихъ произведеній, появленіе которыхъ въ Русской печати, даже и чрезъ 30 лѣтъ по написаніи, онъ считалъ неизлишнимъ,—но даже ни словомъ не помянулъ о ней,—точно также какъ не рассказывалъ о ней никогда ни близкимъ, ни знакомымъ. Однакоже мы лишены возможности съ точностью опредѣлить, какія именно, изъ существеннѣйшихъ положеній программы замышленнаго имъ въ 1849 году труда, были бы имъ отвергнуты или въ какомъ видѣ были бы измѣнены. Достоверно одно, что мысль объ освобожденіи Славянъ, о призваніи Россіи стать цѣлымъ особымъ Греко-славянскимъ міромъ, о будущемъ историческомъ значеніи въ лицѣ Россіи просвѣтительнаго начала Православной Церкви,—эта мысль находитъ себѣ отголосокъ и въ самыхъ позднѣйшихъ его стихотвореніяхъ и письмахъ; онъ остался ей вѣренъ до смерти. Но

нельзя того же сказать про другія, не менѣ существенныя положенія его программы, именно объ его «единой Христіанской Вселенской Имперіи», состоящей въ соотношеніи (corrélatif) съ Христіанскою Вселенскою Церковью,—«Имперіи окончательной (définitif)».... Въ его письмахъ къ женѣ во время послѣдней Восточной войны, письмахъ совершенно частнаго, домашняго свойства, помѣщенныхъ нами ниже, въ VII отдѣлѣ, встрѣчаются мѣста, какъ бы повторяющія именно эти черновыя замѣтки, и почти въ тѣхъ же словахъ; но по окончаніи войны, со вступленіемъ Россіи въ новую историческую фазу, уже ни въ стихахъ, ни въ письмахъ не попадаетъ даже и намекъ на «Вселенскую Имперію, подручницу Вселенской Церкви»... Тютчевъ не принадлежалъ къ числу тѣхъ мыслителей, которые, установивъ себѣ однажды кругъ воззрѣній, не въ состояніи уже отъ него отрѣшиться или раздвинуть его въ виду новыхъ явленій. Онъ не переставалъ вглядываться въ смыслъ совершавшихся предъ нимъ событій,—а надобно признаться, что событія послѣднихъ 15-ти лѣтъ были богаты историческимъ откровеніемъ, что многое неожиданное и негаданное повѣдалъ намъ ихъ краснорѣчивый языкъ. Если въ программѣ Тютчева приняты въ соображеніе и послужили какъ данныя многія политическія обстоятельства того времени, сравнительно и не очень важныя, какъ напримѣръ Венгерская кампанія 1849 года и т. п.,—то тѣмъ болѣе должны были имѣть значеніе для его историческаго міросозерцанія (и стало-быть для его исторической программы) такіе громадныя факты, какъ объединеніе Германіи, паденіе Австріи, паденіе Франціи, возникновеніе Германской Имперіи, уничтоженіе системы политическаго равновѣсія. Съ такими фактами нельзя было не считаться и нельзя было, конечно, довольствоваться умозаключеніями, построенными на однихъ *прежнихъ* данныхъ. Мы уже привели одно письмо Тютчева, 1872 года, въ Парижѣ, гдѣ онъ говоритъ, что если Тьеру удастся упрочить во Франціи республику, то онъ этимъ однимъ возстановитъ прежнее преобладаніе Франціи, потому что—прибавляетъ Тютчевъ—«нечего отъ себя скрывать: при современномъ состояніи умовъ въ Европѣ, то изъ правительствъ, которое бы смѣло взяло на себя починъ великаго преобразованія открытіемъ республиканской эры въ Евро-

пейскомъ мірѣ, далеко бы опередило (*aurait une grande avance*) всѣхъ своихъ сосѣдей, друзей или недруговъ. Ибо чувство династическое, безъ котораго немыслима монархія, повсюду въ упадкѣ (*en baisse*)....» Перспектива такой *республиканской* эры въ Западно-Европейскомъ мірѣ, — которую Тютчевъ, какъ должно полагать, отличаетъ отъ явленій чисто-революціоннаго духа, — эта перспектива хотя и не состоитъ въ прямомъ противорѣчій съ его программю 1849 года, однакоже съ трудомъ находитъ себѣ въ ней мѣсто, — очевидно не представлялась его уму, когда онъ чертилъ свои замѣтки о Вселенской *Монархіи*, и уже во всякомъ случаѣ измѣнила бы ихъ терминологию...

Но если положительно нельзя видѣть въ упомянутой рукописи Тютчева окончательное, послѣднее слово его историко-политической теоріи, то едвали вполнѣ справедливо возлагать за эту рукопись полную отвѣтственность на автора, такъ сказать, заднимъ числомъ, какъ за выраженіе воззрѣній и мнѣній, которыхъ онъ держался когда-то, лѣтъ 25 или 20 тому назадъ. Отнестись такимъ образомъ позволительно лишь къ его напечатаннымъ статьямъ, а никакъ не къ рукописи: эти замѣтки не болѣе какъ намеки, алгебраическія формулы или гіероглифы, ключъ отъ которыхъ остался у автора, точный, несомнѣнный смыслъ которыхъ извѣстенъ только ему одному, и касательно которыхъ возможно для читателя только болѣе или менѣе гадательное истолкованіе. Конечно, есть немало замѣтокъ вполнѣ отчетливыхъ и бросающихъ лучи блестящаго свѣта; кромѣ того, при постепенномъ изложеніи программы предположеннаго Тютчевымъ сочиненія, мы по возможности обставляли многіе его частные выводы подробными примѣчаніями и разъясненіями, съ помощью которыхъ, смѣемъ думать, правда этихъ частныхъ выводовъ выставилась довольно ярко. Но что касается до *общаго* вывода, то для подробнаго его обсужденія и разбора мы не находимъ ни достаточныхъ данныхъ, ни достаточнаго повода — при совершенной неизвѣстности, былъ ли этотъ выводъ вполнѣ признанъ и удержанъ самимъ авторомъ, послѣ зрѣлыхъ размышленій послѣдовавшихъ двадцати лѣтъ. Тѣмъ не менѣе позволимъ себѣ оговорить тѣ нѣкоторые термины, которые способны возбудить наисильнѣйшія недоразумѣнія.

Было бы ошибочно, кажется намъ, соединять съ терминомъ Тютчева: «Вселенская Имперія» представленіе о какомъ-то воплощенномъ завоевательномъ принципѣ, ищущемъ поработить себѣ всѣ народы и страны, и проч. Такое представленіе есть именно то *общее мѣсто* о Всемирной Монархіи, которому Тютчевъ, по программѣ, долженъ былъ дать точное объясненіе (*qu'est-ce que le lieu commun sur la monarchie universelle?*). Къ сожалѣнію; этого объясненія имъ не дано. Но его будущая Имперія характеризуется тою особенностью, что духовное начало, которымъ она имѣетъ жить и двигаться, есть начало православное, т. е. христіанское церковное преданіе, сохранившееся теперь на Востокѣ, — однимъ словомъ начало, исключющее понятіе о завоеваніи и поработеніи. Напротивъ, судя по программѣ, Россія, по мнѣнію Тютчева, призвана поставить всѣ народы и страны въ правильныя, нормальныя условія бытія, освободить и объединить міръ Славянскій, міръ Восточный, вообще явить на землѣ силу земную, государственную, просвѣтленную или опредѣленную началомъ Вѣры, служащую только дѣлу самозащиты, освобожденія и добровольнаго объединенія: вспомнимъ его стихи, гдѣ онъ, обращаясь къ Славянамъ, говорить, что въ противоположность Бисмарку, спаявшему единство Германіи *ferro et igne*, «железомъ и кровью», — мы, т. е. Славяне, «попробуемъ спаять единство любовью, —

А тамъ увидимъ—что прочтѣй.

Въ такомъ собственно смыслѣ слѣдуетъ, кажется, разумѣть и его выраженія о будущемъ вселенскомъ государствѣ, «опирающемся (*appuyé*) на Вселенскую Церковь,» или «пріобращенномъ къ Церкви (*associé*)», а никакъ не въ смыслѣ какой-то солидарности или тождественности судьбъ Россіи или этой будущей «Имперіи» и Вселенской Церкви. Точно также и выраженіе, что эта «Христіанская Имперія будетъ окончательно (*l'Empire définitif*)», нужно, думаемъ мы, понимать такимъ образомъ, что этою «Имперіею» завершится историческое преданіе объ Имперіи, заключится рядъ преемственныхъ политическихъ формаций во образѣ и съ притязаніями имперскими, и вообще во образѣ *государства*, и что затѣмъ, послѣ извѣстнаго періода существованія, міръ, износивъ всѣ

существующія вѣдомыя намъ историческія формы общежитія, начнеть новое бытіе, въ формахъ новыхъ, невѣдомыхъ... Мы не входимъ въ разсмотрѣніе, въ какой мѣрѣ состоятеленъ такой предносившійся предъ воображеніемъ Тютчева идеаль, ни въ какой мѣрѣ и въ какомъ видѣ допускалъ онъ возможность сосуществованія церкви и государства въ тѣсномъ союзѣ между собою и безъ взаимнаго внутренняго противорѣчія,—другими словами: какая степень развитія собственно *государственного* элемента представлялась ему въ его «Имперіи». Мы припоминаемъ себѣ его строки въ письмѣ, диктованномъ за три мѣсяца до кончины, по поводу новѣйшихъ Прусскихъ законовъ объ отношеніи государства къ церкви: «c'est là le César qui sera éternellement en guerre avec le Christ»—и не думаемъ, вопреки какимъ-то намѣкамъ въ программѣ, чтобы соглашеніе, установившееся въ IV вѣкѣ между Имперією Кесаря Константина и церковною іерархією, или официальною, виѣшнею, историческою Церковью, служило для Тютчева прототипомъ для отношеній его «Имперіи» къ христіанской Церкви въ будущемъ... Но, впрочемъ, мы не можемъ не признать, что Тютчевъ, ставя на первомъ планѣ нравственную миссію Славянскаго племени и вообще Православнаго Востока, тѣмъ не менѣе, уже просто какъ поэтъ, невольно увлекался подчасъ величавымъ образомъ традиціонной Имперіи, государственнаго могущества, добровольно само себя смиряющаго предъ Церковью—исполинской державной силы, хотя и реальной, однако же преисполненной идеальныхъ стремленій... Невольно увлекался онъ и обаяніемъ историческаго титула, и мыслью о преемственности преданія въ исторіи. Точно также нельзя не замѣтить,—да мы это и замѣтили выше,—что съ его представленіемъ о Церкви въ тѣ годы, по крайней мѣрѣ до появленія извѣстныхъ брошюръ Хомякова, еще соединялось понятіе о какомъ-то высшемъ, пребывающемъ на землѣ, *внѣшнемъ* авторитетѣ въ формулѣ историческаго традиціоннаго *учрежденія*.

Но если въ идеаль будущаго у Тютчева входитъ болѣе внѣшняго, такъ сказать политическаго элемента, чѣмъ въ идеаль будущаго Россіи у Хомякова, все же сближеніе, встрѣча между собою этихъ обоихъ нашихъ поэтовъ въ области идеала,—поэтовъ совершенно различныхъ между собою

по своей личной внутренней судьбѣ,—является поразительною чертою въ исторіи Русскаго общественнаго самосознанія. «Будущая Имперія» Тютчева, несмотря на свой грозный титулъ, несетъ, по его словамъ, «глаголъ, жизнь и просвѣщеніе лучшимъ будущимъ временамъ.» Ниже, въ VII отдѣлѣ, мы приводимъ письмо его отъ 1855 года, гдѣ онъ рассказываетъ своей женѣ, какъ, взобравшись на платформу Ивана Великаго, онъ былъ словно охваченъ видѣніемъ будущаго: ему почудилось, что «долгая борьба Востока и Запада наконецъ прекратилась, что возникъ міръ новый, будущность народовъ опредѣлилась на многіе вѣки (pour des siècles), Судъ Божій совершился, Великая Имперія основана, и новыя поколѣнія, съ понятіями, убѣжденіями совершенно иными, вступили въ обладаніе міромъ и, довольныя пріобрѣтеннымъ, почти не помнили о горестяхъ, мукахъ и тѣсной тѣмѣ, въ которой мы пребываемъ въ настоящую минуту». Однимъ словомъ, эта новая эра представлялась поэту чуть ли не пришествіемъ Божія Царствія на землѣ... Хомяковъ, съ своей стороны, мечтая объ освобожденіи и объ объединеніи Славянъ, призывая Россію снять «цѣпь насилья» съ своихъ братьевъ, рисуя въ стихахъ общее паренье всѣхъ свободныхъ Славянскихъ орловъ, склоняющихъ однако же «мощную главу предъ старшимъ сѣвернымъ орломъ», вотъ какъ воображаетъ себѣ будущее міра:

Ихъ твердъ союзъ, горятъ перуны,  
Законъ ихъ властецъ надъ землею,  
И будущихъ Баяновъ струны  
Поютъ согласье и покой...

Онъ же говоритъ въ своихъ стихахъ, уже однажды приведенныхъ нами:

И другой странѣ смиренной,  
Полной вѣры и чудесъ,  
Богъ отдастъ судьбу вселенной....

Но эта судьба вселенной отдается Россіи съ тѣмъ, чтобы она

...всѣ народы  
Обнявъ любовію своей,

сказала имъ «таинство свободы и пролила имъ сіяніе вѣры», а въ заключеніе, въ томъ же стихотвореніи, такъ изображается эта будущая историческая эра, напоминающая отчасти видѣніе Тютчева въ Кремлѣ:

И солнце яркими огнями  
Съ лазурной свѣтитъ вышины,  
И осіянь весь міръ лучами  
Любви, святости, тишины...

Какъ бы мы ни были далеки отъ подобныхъ мечтаній въ настоящее время, но нельзя же однако не призадуматься надъ тѣмъ—какіе идеалы предносились, лѣтъ сорокъ и даже еще двадцать тому назадъ, предъ передовыми, замѣчательнѣйшими умами Русскаго общества,—нельзя же не принять ихъ къ свѣдѣнію и соображенію какъ знаменіе времени, какъ выраженіе чаяній и вѣрованій—самыхъ искреннихъ и завѣтныхъ; нельзя не поискать отвѣта на невольно возникающій вопросъ: откуда же и зачѣмъ они взялись?.. чѣмъ порождены?.. чѣмъ навѣяны? Отстраняя рѣчь о состоятельности этихъ чаяній и вѣрованій, обратимъ вниманіе читателя только на ту особенность, что подобной чистоты народныхъ идеаловъ, такихъ мужественныхъ идеаловъ вѣры, любви, свободы и тишины, не отыщется у поэтовъ западнаго Европейскаго міра, что инаго духа печатью они запечатлѣны... При всемъ томъ было бы совершенно несправедливо относиться къ этимъ поэтическимъ образамъ какъ къ какой-либо строго провѣренной и установленной доктринѣ, какъ къ кодексу положительныхъ рѣшеній,—несправедливо уже потому, что такъ не относились къ нимъ и сами поэты. Не слѣдуетъ забывать, что, мечтая о высшемъ христіанскомъ призваніи Россіи, Хомяковъ нисколько однакоже не обольщалъ себя на счетъ нашей современной дѣйствительности; что въ своихъ извѣстныхъ стихахъ, называя Россію, хотя и призванною, но «недостойною призванья», онъ требовалъ отъ нея строгаго очистительнаго покаянія; что Тютчевъ не переставалъ горькимъ и мѣткимъ словомъ изобличать скудость духа и самосознанія въ официальной Россіи,—что писалъ онъ между прочимъ и слѣдующіе стихи:

Ты долго-ль будешь за туманомъ  
Скрываться Русская звѣзда,  
Или оптическимъ обманомъ  
Ты разлетишься навсегда?  
Ужель навстрѣчу жаднымъ взорамъ,  
Къ тебѣ стремящимся въ ночи,  
Пустымъ и жалкимъ метеоромъ  
Твои разсыпятся лучи?  
Все гуще мракъ, все пуще горе,  
Все неминуемѣй бѣда....

## VII.

Можно себѣ представить, какое волненіе овладѣло душою Тютчева при наступленіи военной грозы 1853 года. Всѣ завѣтныя его думы, всѣ дорогія его сердцу мечты, всѣ историческія основы міра, всѣ задачи историческаго бытія Россіи, тысячелѣтній споръ Востока и Запада, все, казалось, обрѣло себѣ образъ, плоть и языкъ въ одномъ данномъ мгновеніи, въ одномъ событіи. Какъ жаломъ уязвлены были Русскіе люди внезапнымъ свѣтомъ обличившейся правды: нашею воочію явившеюся несостоятельностью — административною, военною, дипломатическою, однимъ словомъ массою тѣхъ нравственныхъ внутреннихъ, гражданскихъ долговъ всякаго рода, которыми оказалась обремененною Россія, которые всѣ разомъ потребовали расплаты, и которыхъ уплатить, въ тотъ критическій мигъ, было и некогда и нечѣмъ. Надобно впрочемъ сознаться, что Россія приняла посланное ей испытаніе со смиреніемъ, не поскупилась на самоосужденіе, и пораженіе свое обратила себѣ не только во благо, но и во славу. Защита Севастополя стала назидательною героическою легендой для всего Запада, и не прошло десяти лѣтъ послѣ окончанія борьбы, какъ значеніе Россіи возросло съ новой, небывалой силой... Но такого рода оборотъ дѣлъ совершился благодаря особенно нравственнымъ свойствамъ Русскаго народа, но никакъ не вслѣдствіе сознательнаго расчета или вѣрныхъ, дальновидныхъ соображеній, — напротивъ, вопреки недостойнству, вопреки слѣпотѣ людской, заправлявшей дѣлами Россіи

и постоянно сбивавшейся съ пути... Кстати припомнить здѣсь одво слово Тютчева, сказанное именно во время войны, по поводу слишкомъ извѣстныхъ упованій на «Русскаго Бога»: «il faut bien avouer que l'emploi du Dieu russe n'est pas une sinécure»...

Восторженные надежды Тютчева на скорое исполненіе его завѣтныхъ мечтаній смѣнились, какъ и слѣдовало ожидать, съ теченіемъ войны, горькимъ чувствомъ скорби, негодованія, даже унынія. Онъ многое понималъ и увидѣлъ яснѣе и прежде другихъ, но не переставалъ однакоже вѣрить въ окончательное торжество Россіи. Такъ какъ вся эта война тѣсно связана съ существеннѣйшими задачами, занимавшими Тютчева въ теченіи всей его жизни, то мы считаемъ необходимымъ, на основаніи имѣющихся у насъ данныхъ, раскрыть ближе его отношеніе къ этой исторической эпохѣ. Еще въ самомъ началѣ, какъ только-что стала заниматься заря грядущихъ событій и государь Николай Павловичъ обратился мыслію къ положенію дѣлъ на Востокѣ, Тютчевъ уже писалъ:

### Разсвѣтъ.

Не въ первый разъ кричить пѣтухъ,—  
Кричитъ онъ живо, бодро, смѣло;  
Ужъ мѣсяцъ на небѣ потухъ,  
Струя въ Босфорѣ заалѣла.

Еще молчать колокола,  
А ужъ Востокъ заря румянитъ:  
Ночь безконечная прошла,  
И скоро свѣтлый часъ настанетъ.

Вставай же, Русь! Ужъ близокъ часъ!  
Вставай Христовой службы ради!  
Ужъ не пора-ль, перекрестясь,  
Ударить въ колоколъ въ Царьградѣ?

Раздайся благовѣстный звонъ,  
И весь Востокъ имъ огласится!  
Тебя зоветь и будить онъ;  
Вставай, мужайся, ополчися!

Въ доспѣхи вѣры грудь одѣнь,  
И съ Богомъ, исполнишь державный!  
О Русь, великъ грядущій день—  
Всееленскій день и православный!

Возникшая дипломатическая распря съ Наполеономъ, лице-  
мѣрно убѣждавшимъ Россію не возбуждать страшилища «Вос-  
точного вопроса», вызвала у Тютчева новые стихи:

Иль всѣ святныя упованья,  
Всѣ убѣжденья истребя,  
Она (т. е. Россія) отъ своего призванья  
Вдругъ отречется для тебя?

То что обѣщано судьбами  
Ужъ въ колыбели было ей,  
Что ей завѣщано вѣками  
И вѣрой всѣхъ ея царей,

То что Олеговы дружины  
Ходили добывать мечомъ,  
То что орелъ Екатерины  
Ужъ прикрывалъ своимъ щитомъ,—

Вѣнца и скиптра Византіи  
Вамъ не удастся насъ лишить;  
Всемирную судьбу Россіи—  
Нѣтъ—вамъ ея не заградить!

Гроза росла,—вѣроятность успѣха была на сторонѣ Россіи,  
и онъ обращался къ Русскому царю съ такимъ призывомъ:

Не гулъ молвы прошелъ въ народѣ,  
Вѣсть родилась не въ нашемъ родѣ—  
То древній гласъ, то свыше гласъ:  
«Четвертый вѣкъ ужъ на исходѣ;  
«Свершится онъ, и грянетъ часъ!  
«И своды древніе Софіи  
«Въ возобновленной Византіи  
«Вновь осѣнятъ Христовъ алтарь!...»  
Пади предъ нимъ, о царь Россіи,  
И встань какъ всеславянскій царь!

Мы уже приводили выше стихи, написанные имъ въ это же время, когда

Всѣ богохульные умы,  
Всѣ богомерзкіе народы  
Со дна воздвиглись царства тьмы  
Во имя свѣта и свободы!

Ложь воплотилася въ булатъ,  
Какимъ-то Божьимъ попусценъмъ,  
Не цѣлый міръ, но цѣлый адъ,  
Тебѣ (т. е. Россіи) грозить ниспроверженъмъ...

Тебѣ они готовятъ плѣнь,  
Тебѣ готовятъ посрамленъе...

Это тѣ стихи, въ которыхъ высказывается его вѣра въ духовное просвѣтительное призваніе Россіи, и которые за-канчиваются такъ:

О, въ этомъ испытанъи строгомъ,  
Въ послѣдней роковой борьбѣ,  
Не измѣни лишь ты себѣ  
И оправдайся передъ Богомъ!

Они относятся къ Декабрю 1854 года; а канунъ 1855 года-за полтора мѣсяца до кончины государя Николая, онъ встрѣтилъ слѣдующими пророческими стихами:

#### На новый 1855 годъ

Стоимъ мы слѣпы предъ судьбою,  
Не намъ сорвать съ нея покровъ...  
Я не свое тебѣ открою,  
А бредъ пророческій духовъ.

Еще намъ далеко до цѣли,  
Гроза реветъ, гроза растеть,  
И вотъ въ желѣзной колыбели,  
Въ громахъ родится новый годъ.

Черты его ужасно строги,  
Кровь на рукахъ и на челѣ;  
Но не одинъ войны тревоги  
Принесъ онъ людямъ на землѣ.

Не просто будетъ онъ воеватель,  
Но исполнитель Божьихъ каръ,  
Онъ совершитъ, какъ поздній мститель,  
Давно задуманный ударъ.

Для битвъ онъ посланъ и расправы,  
Съ собой несетъ онъ два меча:  
Одинъ—сражений мечъ кровавый,  
Другой—сѣкира палача.

Но на кого?... Одна ли выя,  
Народъ ли цѣлый обреченъ?...  
Слова не ясны роковыя  
И смутенъ замогильный сонъ.

Не малый интересъ представляютъ и письма Тютчева за это время. Замѣтимъ кстати, что письма Тютчева, собранныя вмѣстѣ, стоили бы любаго, серьезнаго, многотомнаго литературнаго произведенія. Ему вообще не приходилось въ жизни обмолвиться какимъ-нибудь общимъ мѣстомъ или пошлою фразою, — и во всѣхъ его письмахъ, сколько мы ихъ ни знаемъ, даже въ письмахъ къ роднымъ, трактующихъ о самыхъ обыденныхъ предметахъ: погодѣ, здоровьѣ, хозяйствѣ, — во всѣхъ есть или оригинальная мысль, или оригинальный оборотъ рѣчи, или изящный образъ. Мы воспользуемся перепискою Тютчева, во время войны, съ его супругою и приведемъ изъ нея нѣсколько отрывковъ (вся переписка составила бы цѣлую книгу), — приведемъ въ подлинникѣ, потому именно, что при интимномъ характерѣ переписки получаетъ особенное значеніе и самая внѣшняя форма этой интимной бесѣды.

Зиму 1853—1854 года Э. О. Тютчева, по совѣту врачей, провела за границей въ Германіи, и Федоръ Ивановичъ писалъ ей изъ Петербурга въ Октябрѣ 1853 г.: «Je suis tout honteux de ne pouvoir dire écrivain d'ici, si nous sommes en guerre, oui ou non... Ah, le singulier milieu que

celui où je vis! Je parie que le jour du jugement dernier il y aura des gens à Pétersbourg qui feront semblant de ne pas s'en douter. Voilà pourtant ce qui paraît certain...\*)). Затѣмъ слѣдуютъ новости, а потомъ чрезъ нѣсколько дней Тютчевъ продолжалъ письмо такими строками: «Je ne suis pas étonné de la malveillance intime et bien essentiellement allemande, avec laquelle nos meilleurs amis d'Allemagne n'ont pas manqué d'accueillir la nouvelle d'un de nos désastres. Braves gens, je les reconnais bien là! C'est l'accent du pays, et je me sentirais désorienté en Allemagne, si je ne le retrouvais dans toutes leurs manifestations à notre égard. Quant à cette autre Europe, plus occidentale encore, quant à l'Angleterre et à la France, quant à cette presse — organe de la conscience publique, qui s'est faite turque avec rage et mensonge. il y a dans cette vocation de turpitude, dans ce *labarum* de boue que des sociétés soi-disant chrétiennes ont dressé contre la Croix, il y a dans tout ceci quelque chose de terriblement providentiel. Ce scandale devait avoir lieu, mais malheur à l'auteur du scandale! Quant à nous autres ici, contre qui toute cette rage se déchaîne, nous aussi nous aurons nos comptes à régler avec la Providence, et ils pourraient être lourds à solder... J'ai été, je crois, un des premiers à voir venir la crise actuelle; eh bien, j'ai la conviction intime que cette crise, si lente à venir, sera bien plus terrible et bien plus longue encore que je ne l'avais cru. Ce qui reste du siècle suffira à peine pour l'apaiser. La Russie en sortira triomphante, je le sais; mais bien des choses de la Russie actuelle y périront. Ce qui vient de commencer, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas de la politique, c'est un monde qui se constitue et qui, pour cela, doit avant toute chose retrouver sa conscience perdue... \*\*).

---

\*) ... Мнѣ совсѣмъ стыдно, что въ письмѣ отсюда не могу тебѣ сказать, война ли у насъ или нѣтъ. Ахъ странная среда, гдѣ мнѣ приходится жить! Бьюсь объ закладъ, что въ день Страшнаго Суда найдутся люди въ Петербургѣ, которые станутъ прикидываться, что ничего о немъ и не знаютъ. Но вотъ чтò, кажется, вѣрно...

\*\*) Ничего не дивлюсь тому задушевному и, конечно, чисто-нѣмецкому злорадству, съ которымъ наши друзья въ Германіи не преминули

23 Ноабря 1853 г. «Les préoccupations croissantes politiques dissipent visiblement la torpeur générale, où l'on était plongé jusqu'ici. Le réveil se fait, et l'on commence à comprendre... C'est au fond l'année 1812 qui recommence pour la Russie. et peut-être l'agression actuelle, dirigée contre elle, n'est-elle pas moins redoutable pour n'être pas résumée dans un seul homme, et dans un grand homme, comme était le premier Napoléon. Quant à l'ennemi, il est toujours le même — *c'est l'Occident*. Car je ne connais pas d'autre mot pour résumer tout cet ensemble d'influences, de passions et d'ententes hostiles conjurées contre nous. Et ce qui fait la faiblesse de notre position, c'est cette incroyable infatuation de la Russie officielle, qui avait si bien et si complètement perdu le sens et le sentiment de sa tradition historique que, loin de voir dans l'Occident son adversaire naturel et nécessaire, elle ne travaillait qu'à être sa doublure... » \*).

встрѣтитъ вѣсть о нашемъ пораженіи. Молодцы, какъ я ихъ узнаю въ этомъ! Это туземный акцентъ, и я сбился бы съ толку на счетъ Германіи, еслибъ онъ не звучалъ во всѣхъ ихъ манифестаціяхъ по нашему поводу. Что же касается до этой другой Европы, болѣе западной, до Англіи и Франціи,—что касается до печати—этого органа общественной совѣсти, которая вдругъ такъ живо и бѣшено себя потуречила,—то въ этомъ влеченіи къ срамотѣ, въ этой грязи, которую общества такъ-называемыя христіанскія выставили хоругвью противъ Креста,—во всемъ этомъ есть что-то странно провиденціальное. Этому соблазну подобало быть, но горе виновнику соблазна! Что же до насъ здѣсь, противъ которыхъ разнуздалась вся эта ярость, намъ также придется сводить счеты съ Провидѣніемъ, и, очень можетъ стать, тяжела будетъ расплата... Я одинъ изъ первыхъ предвидѣлъ наступленіе настоящаго кризиса, и я глубоко убѣжденъ, что этотъ кризисъ, такъ медленно наступавшій, будетъ несравненно ужаснѣе и продолжительнѣе, чѣмъ я думалъ. Всего остальнаго вѣка едва достанетъ, чтобъ утишить этотъ кризисъ. Россія, я знаю, выйдетъ изъ него торжествующею, но многое отъ настоящей Россіи сгинуетъ. То что теперь началось, это не война, это не политика, это цѣлый міръ слагающійся, и которому для этой цѣли, прежде всего другаго, нужно обрѣсти вновь—свою утраченную совѣсть...

\*) Возрастающія политическія заботы видимо разгоняютъ общее остоленіе, въ которое до сихъ поръ всѣ были здѣсь погружены... Про-

11 Декабря. «Eh bien, es-tu satisfaite de la manière dont nous avons répliqué par nos derniers bulletins à toute cette rage de déraison et de mensonge de nos chers adversaires?... Mais que nos ennemis se rassurent. Nos derniers succès ont pu être très mortifiants pour eux, mais ils seront tout aussi stériles pour nous. Il y a tant de gens ici qui ne demandent pas mieux que de leur donner toute satisfaction à cet égard, et qui sans avoir peut-être autant de haine qu'ils n'en ont contre la Russie, sont bien mieux placés pour lui faire du mal. Hélas, hélas, tout cela encore une fois ira aboutir à quelque ignoble et stupide replatrage. Il est impossible que cela se passe autrement, tant il y a d'inéptie, d'inintelligence intime et générale de la situation donnée... Il y a comme un cercle magique, où depuis deux générations nous avons emprisonné la conscience nationale de la Russie, et il faudrait vraiment que le bon Dieu daignât en personne nous détacher un violent coup de pied pour faire briser le cercle et nous laisser entrer dans notre voie...» \*).

бужденіе совершается, и начинают понимать... Въ сущности, вѣдь это для Россіи возобновленіе 1812 года, и нападеніе на нде направленное будетъ можетъ-быть такъ же грозно, даромъ, что оно не воплощается въ одномъ человѣкѣ, и такомъ великомъ человѣкѣ, каковъ былъ первый Наполеонъ. Что же до врага,—то онъ все тотъ же, Западъ. Потому что я не знаю другого слова, которое бы разомъ выразило всю эту совокупность вліяній, страстей, соглашеній враждебныхъ, замысленныхъ противъ насъ. И въ чемъ слабая сторона нашего положенія, это въ невѣроятномъ предубѣжденіи официальной Россіи, которая до того утратила всякій смыслъ и чувство своего историческаго преданія, что не только не примѣчала до сихъ поръ въ Западѣ своего естественнаго, неизбѣжнаго врага, но только о томъ и трудилась, какъ бы сдѣлаться его подкладкой...

\*) Ну что, довольна ли ты тѣмъ, какъ мы отвѣчали, въ нашихъ послѣднихъ бюллетеняхъ, на все это бѣшенство лжи и безумія нашихъ милыхъ враговъ?.. Но пусть они успокоятся. Наши успѣхи могли показаться имъ очень обидными,—но они будутъ очень безплодны и для насъ. Здѣсь столько людей, которымъ ничего такъ не хочется, какъ оказать имъ по этой части всяческое удовольствіе, и которые, даже не питая къ Россіи ихъ ненависти, лучше ихъ, по своему положенію, мо-

19 Декабря. «Il y a quelque chose qui cet hiver donne un peu plus de physionomie à la société, et certes ce quelque chose n'est pas peu de chose. C'est la préoccupation de la situation politique donnée, le sentiment de cette lutte longtemps conjurée et qui en dépit de tous les efforts brise l'un après l'autre tous les liens qui l'enchaînaient... Rien ne donne mieux la mesure de la haine que l'on porte à la Russie, comme toute cette rage burlesque des journaux français et surtout anglais depuis nos derniers succès. C'est le plus sérieusement du monde qu'ils lui font l'application de ce mot si connu à propos de je ne sais quel animal: qu'il était si féroce qu'il se défendait quand on l'attaquait. Quant à l'issue probable de la lutte, toute la question se réduit pour moi à ceci: la haine que l'Occident catholique, aussi bien que l'Occident révolutionnaire, serait-elle plus forte, oui ou non, que celle qui les divise entre eux? Toute la question est-là...» \*).

гутъ навредить ей. Увы, улы, за всѣми этими успѣхами послѣдуетъ еще разъ какое нибудь недостойное, желѣзное сглаживанье и смазыванье... Да и невозможно, чтобы было иначе: столько тупоумія, столько непониманія какъ внутренней сущности, такъ и всей общности даннаго положенія. Есть словно волшебный кругъ, въ который, вотъ уже два поколѣнія сряду, заключаемо нами національное самосознаніе Россіи, и право нужно бы, чтобы Господь соблаговолилъ дать намъ Самъ вѣрнѣе подзатыльника, для того чтобы разбился кругъ и вступили мы на нашъ истинный путь...

\*) Есть что-то, что нынѣшнею зимою придаетъ обществу болѣе жизни и краски,—и конечно это что-то вещь немаловажная. Это озабоченность политическимъ положеніемъ, это чувство борьбы, долго закливаемой, но наконецъ, наперекоръ всѣмъ усиліямъ, моравшей, оди за другиимъ, всѣ узы ее опутывавшія... Ничѣмъ лучше не опредѣляется жѣра ненависти къ Россіи, какъ этимъ грубымъ неистовствомъ журналовъ Французскихъ и особенно Англійскихъ, со времени нашихъ послѣднихъ успѣховъ. Нисерьезнѣйшимъ образомъ они вѣютъ Россіи эти успѣхи въ преступленіе и прилагаютъ къ ней это извѣстное изрѣченіе по поводу какого-то животнаго: «оно такъ свирѣло, что защищается, когда на него нападаютъ...» Что касается до исхода борьбы, то весь вопросъ сводится для меня вотъ къ чему: ненависть, которую питаетъ къ намъ Западъ,

1854 г. 16 Февраля... «Ce qui me faisait toujours attacher une si grande valeur à cette question d'Orient, c'est la conviction que j'avais qu'une fois soulevée, elle amènerait par contre-coup une grande crise morale à l'intérieur, et cette crise a commencé, Dieu soit loué. Et bientôt, Dieu et nos ennemis aidant, chacun à sa manière, le mouvement sera assez fort pour que rien ne puisse l'entraver ou l'interrompre. Sous ce rapport il est difficile de dire ce qui a le mieux servi ce mouvement, de la haine furieuse de l'Angleterre remorquant la France, ou de la demitrahison des puissances allemandes... Cette attitude de l'Autriche et de la Prusse et surtout les sentiments qui l'inspirent, sont un véritable triomphe pour le parti national, et puisqu'elles devaient en arriver là, la seule chose à regretter, c'est de n'en avoir pas assez fait pour elles... Quant à moi, qui par nature suis condamné à l'impartialité, ce n'est certes pas au point de vue de l'animosité nationale que je trouve la politique allemande misérable. Elle est misérable, parcequ'elle est un mensonge et une sottise. Ces puissances allemandes ont beau dire qu'unies entré elles, elles sont assez fortes pour sauvegarder leur neutralité... Mais c'est là qu'est le mensonge, parcequ'elles savent très bien qu'elles ne sont pas unies, et qu'en dehors de la Russie elles ne peuvent pas l'être, et qu'au fond du cœur l'une d'elles au moins, la Prusse, ne tenait à secouer le contrôle de la Russie que pour recommencer toutes ses petites trahisons qui lui ont toujours si bien réussi... Quant à cette pauvre Autriche, dont tout le corps n'est qu'un talon d'Achille, il est clair que ne pouvant se passer d'appui, soit à l'Orient, soit à l'Occident, elle avait à choisir pour s'asseoir entre un bon fauteuil à dossier, bien solide et bien rembourré, et un pal, solide aussi et très proprement aiguisé. Eh bien, je ne désespère pas que c'est en faveur du pal qu'elle se décidera»\*)

---

Западъ католическій, столько же, сколько и революціонный, сильнѣе ли она ненависти, которая ихъ самихъ между собою дѣлать? Весь вопросъ въ этомъ...

\*) Что всегда заставляло меня придавать такое значеніе Восточному вопросу, это именно убѣжденіе, что, разъ поднятый, онъ отдастся и у

24 Февраля. «J'ai assurément été un des premiers à voir venir et grandir cette effroyable crise, et maintenant qu'elle va saisir le monde pour le bröyer et le transformer, je ne puis me persuader que tout ceci est bien réel, et que nous ne sommes pas tous tant que nous sommes en proie à quelque horrible hallucination. Car enfin il n'y a plus à se donner le change, la Russie selon toute probabilité va se trouver aux prises avec l'Europe toute entière. Comment les choses en sont-elles venues à ce point? Comment ce fait-il qu'un Empire, qui depuis 40 ans et plus n'a fait que re-

насть, внутри, великимъ нравственнымъ переломомъ,—и этотъ переломъ уже начался, слава Богу. И скоро, съ помощью Бога и нашихъ враговъ (Богъ по своему, и враги по своему), движеніе станетъ настолькоъ сильно, что ничто не можетъ его задержать или прервать. Въ этомъ отношеніи трудно даже сказать, что наиболѣе послужило этому движению: бѣшенная ли ненависть Англіи, ведущей на буксирѣ Францію, или подлизмѣна Нѣмецкихъ державъ?... Положеніе принятое относительно насъ Австріей и Пруссіей, и особенно чувства его внушившія—истинное торжество для Русской народной партіи, и такъ какъ ужъ онѣ, эти державы, должны были къ тому придти, то остается только жалѣть, что не болѣе было для нихъ сдѣлано... Что же касается меня, который, по самой природѣ своей, обреченъ на безпристрастіе, то я, ужъ конечно не съ точки зрѣнія національной вражды, нахожу Нѣмецкую политику самою жалкою. Она жалка потому, что ложь и глупость. Эти Нѣмецкія державы какъ бы тамъ ни увѣряли, что онѣ, въ согласіи другъ съ другомъ, достаточно сильны для охраны своего нейтралитета,—но въ этомъ-то самомъ и кроется ложь: онѣ хорошо знаютъ, что нисколько не въ согласіи другъ съ другомъ, и не могутъ быть въ согласіи помимо Россіи, а въ глубинѣ души одна изъ нихъ по крайней мѣрѣ, Пруссія, только для того и добивалась высвободиться изъ-подъ контроля Россіи, чтобъ приняться снова за свои мелкіе, вѣроломные происки, которые ей всегда удавались... Что же до бѣдной Австріи, у которой все тѣло—Ахиллесова пятка, то ясно, что, при невозможности для нея обойтись безъ опоры либо Востока, либо Запада, ей приходилось, чтобы сѣсть, выбирать между хорошимъ кресломъ со спинкой, прочнымъ и мягко набитымъ,—и коломъ, тоже прочнымъ и очень гладко обвостреннымъ. Ну что же, я не теряю надежды, что она выберетъ именно—колъ...

culer et trahir ses propres intérêts pour servir et sauvegarder ceux d'autrui, se trouve tout à coup en butte à cette immense conspiration?... Et cependant c'était inévitable... En dépit de tout, raison, morale, intérêt, en dépit même de l'instinct de sa conservation, ce terrible conflit devait éclater... Et ce que l'amène, ce n'est pas seulement la sordide personnalité de l'Angleterre, ce n'est pas l'abjection de la France s'incarnant dans son aventurier, ce ne sont pas même les Allemands, c'est quelque chose de plus général et de plus fatal. C'est l'éternel antagonisme de ce, qu'à défaut d'autres expressions, il faut bien appeler l'Occident et l'Orient... Maintenant, si l'Occident était *un*, nous serions, je crois, perdus. Mais il y en a deux: le Rouge et celui qu'il doit dévorer. Nous le lui avons disputé pendant 40 ans, et nous voici sur le bord de l'abîme, — et c'est maintenant le Rouge qui va nous sauver à notre tour»\*)

\*) Конечно, я одинъ изъ первыхъ видѣлъ, какъ шелъ и росъ этотъ ужасный кризисъ, а теперь, когда онъ насталъ, когда онъ готовится перемотать и преобразовать міръ, мнѣ трудно себя увѣрить, что все это въ правду такъ, въ самомъ дѣлѣ, что это не какая нибудь страшная галлюцинація, которая завладѣла всѣми, всѣми нами безъ исключенія. Потому что — дольше себя обманывать нечего: Россія, по всей вѣроятности, скоро схватится со всею Европою. Какимъ образомъ дѣло дошло до этого, какимъ образомъ держава, которая болѣе 40 лѣтъ только и дѣлала, что устраняла и предавала свои собственные интересы, ради пользы и охраны чужихъ интересовъ, — она-то вдругъ и очутилась предметомъ обширнѣйшаго заговора?.. И однакожъ это было неизбежно. Наперекоръ всему — разсудку, нравственности, выгодѣ, даже инстинкту самосохраненія, — этому грозному столкновенію надобно было совершиться. И причиною этого столкновенія — не скаредный эгоизмъ Англіи, не гнусная низость Франціи, предавшейя авантюристу, — даже и не Нѣмцы, — а нѣчто болѣе общее и роковое. Это — вѣчное противоборство другъ съ другомъ того, что, за недостаткомъ другихъ выраженій, приходится называть Западомъ и Востокомъ. Затѣмъ: если бы Западъ былъ одинъ, мы бы, кажется, погибли. Но ихъ два: Красный — и тотъ, кого Красный имѣетъ поглотить. Сорокъ лѣтъ мы отбивали у Краснаго эту добычу, — но вотъ мы на краю бездны, и теперь-то именно Красный и спасетъ насъ въ свою очередь...

1 Апрель... «Il y aura des trêves, des haltes, des points d'arrêt dans le chaos où nous entrons maintenant et où nous allons nous enfoncer de plus en plus. Mais la paix n'en sortira qu'avec une Europe complètement transformée. Je sais bien que ce que je dis là a été mille fois dit et qu'à moins d'y attacher un sens précis, cette phrase n'est qu'une nauséabonde banalité. Or ce sens précis—le voici... La question d'Orient, telle qu'elle doit se poser, n'est pas moins qu'une question de vie et de mort pour trois choses, qui toutes trois ont jusqu'à présent fait voir au monde qu'elles avaient la vie dure. Ces trois choses: c'est l'Eglise d'Orient, la race Slave, la Russie. Car la Russie, elle entraîne nécessairement les deux choses dans sa ruine. Les ennemis de ces trois choses le savent bien, et de là leur rage contre la Russie. Mais qui sont ces ennemis et quel est leur nom propre? Est-il l'Occident? Peut-être—mais c'est surtout la Révolution, qui s'est incarnée dans l'Occident. Maintenant y a-t-il un seul élément de vie qui ne soit plus ou moins saturé et pénétré de Révolution? Est-ce l'Eglise? Mais elle est représentée par un clergé qui en 1848, après avoir béni les arbres de la liberté, vient en 1854 de bénir le drapeau turc. Est-ce l'Ordre? Mais il est représenté par Louis N. Bonaparte, frère de tous les souverains de l'Occident. Est-ce la Liberté? Mais c'est la Révolution même donnant une main à Mazzini et l'autre aux Turcs à la satisfaction générale du public Européen. Maintenant ce qui n'est pas Révolution en Occident peut-il se déclarer l'adversaire politique de la Russie sans être de toute nécessité l'allié, c'est à dire la proie de la Révolution? J'ai la conviction qu'il ne le peut plus et même qu'il ne le veut plus. Et voilà pourquoi c'est bien d'une lutte suprême entre l'Occident tout entier et la Russie qu'il s'agit. Il est très possible que celui-ci y succombe. Mais si par hasard ce n'était pas elle, ce qui sortirait vainqueur de la lutte ne serait plus la Russie—ce serait le *Grand Empire* (Великая Греко-Россійская Восточная Имперія). Tel est le dilemme où l'Europe vient de s'engager» \*).

\*) ...Будутъ перемирія, роздыхи, приостановки въ томъ хаосѣ, въ который мы теперь вступаемъ и въ который будемъ забираться все

8 Апрель. «Eh bien, nous voilà donc aux prises avec toute l'Europe coalisée contre nous. Coalition n'est par le mot,

глубже и глубже. Но миръ получится только виѣстъ съ Европою вполне преобразованною. Знаю, что все это было тысячу разъ сказано, и что если не приложить къ этимъ словамъ смысла самого опредѣленнаго,—они не болѣе какъ пошлость, возбуждающая даже тошноту. А опредѣленный, точный смыслъ таковъ:

Восточный вопросъ—въ томъ видѣ, какъ онъ долженъ быть поставленъ, не болѣе не менѣе какъ вопросъ жизни и смерти для трехъ существъ, которые воѣ трое показали міру, что крѣпко-живучи. Эти трое вотъ кто: Восточная Церковь, Славянское племя, Россія. Паденіе же Россіи влечетъ неминуемо паденіе и остальныхъ. Это хорошо знаютъ общіе ихъ враги, и вотъ откуда этотъ ихъ бѣшенный напоръ на Россію... Но кто же эти враги, какое ихъ настоящее имя? Западъ ли? Можетъ быть,—и особенно Революція, воплотившаяся на Западѣ. Теперь спрашивается: есть ли на Западѣ хоть одна жизненная стихія, которая бы, болѣе или менѣе, не была насыщена и пронята насквозь Революціею? Церковь ли? Но ее представляеть духовенство, то духовенство, которое въ 1848 году благословляло «деревя свободы», а въ 1854 году благословило Турецкое знамя. Порядокъ ли? Но его представитель Людовикъ Наполеонъ Бонапартъ, братъ всѣхъ Западныхъ государей. Свобода ли? Но чтѣ же она, какъ не сама Революція, подающая одну руку Мадзини, а другую Туркамъ, ко всеобщему удовольствію Европейской публики. Затѣмъ: то, чтѣ еще не есть Революція на Западѣ, можетъ ли оно стать политическимъ врагомъ Россіи, не ставши союзникомъ, то есть добычею Революціи? Я убѣжденъ, что не можетъ и даже этого уже и не домогается. Вотъ почему дѣло идетъ именно о верховной, послѣдней борьбѣ всего Запада съ Россіею. Очень можетъ быть, что Россія при этомъ погибнетъ. Но если бы случилось, что погибнетъ не она, то уже это будетъ не просто Россія, которая явится торжествующею побѣдительницею, это будетъ Великая Греко-Россійская Восточная Имперія. Такова дилемма, въ которую двинулась теперь Европа...

Мы должны здѣсь оговорить выраженіе, что «паденіе Россіи влечетъ за собою паденіе церкви». Очевидно Тютчевъ разуметь здѣсь виѣшнее положеніе церкви, какъ виѣшняго учрежденія, а не церковь въ ея внутренней непреходящей жизни. Нѣтъ сомнѣнія, напримѣръ, что взятіе Константинополя Турками имѣло значительное вліяніе на земныя судьбы Восточной Церкви,—и въ этомъ смыслѣ выраженіе Тютчева вѣрно.

c'est *conspiration* qu'il faut dire... Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, et cependant il est peut-être vrai qu'il n'y pas eu dans l'histoire d'antécédents d'une indignité tramée et commise dans de pareilles proportions. C'est tout un monde déshonoré... Le roi de Prusse vient d'écrire ici qu'en dépit du protocole qu'il a signé et du traité qu'il a conclu, il n'en reste pas moins fidèle à ses sympathies pour notre alliance, tandis que son collègue d'Autriche, le prenant sur un ton plus pathétique, nous déclare que c'est le *coeur saignant* qu'il passe du côté de nos ennemis. C'est comme le pamphlétaire, qui pour s'excuser d'avoir publié un libelle contre son bienfaiteur, disait: «il faut bien vivre...» à quoi on lui a répondu: je n'en vois pas la nécessité. Et telle est probablement la réponse que la Providence ne tardera pas de faire à cette ignoble politique autrichienne, aussi bête que perfide\*).

21 Апрель. «J'ai lu l'article de Forcade dans la Revue de Deux Mondes, où il est question de moi et que personne ici me semble avoir remarqué. Certes, ce n'est pas l'envie de parler qui me manque, mais elle est constamment refoulée par la conviction de plus en plus intime de l'impuissance, de l'inutilité radicale de la parole... plus vaine, plus

---

\*) Ну вотъ, мы въ схваткѣ со всею Европой, соединившейся противъ насъ общимъ союзомъ. Союзъ — впрочемъ невѣрное выраженіе, настоящее слово: заговоръ. Нѣтъ ничего новаго подъ солнцемъ, однако же едвали не справедливо, что въ исторіи не бывало примѣровъ гнусности замышленной и совершенной въ такомъ объемѣ. Это цѣлый міръ обезчещенный... Отъ Прусскаго короля получено писанье, что, несмотря на протоколъ имъ подписанный, на трактатъ имъ заключенный, онъ-де тѣмъ не менѣе пребываетъ вѣренъ своимъ симпатіямъ къ Русскому союзу. А коллега его, Австрія, тономъ болѣе патетическимъ, объявляетъ намъ, что лишь съ сердцемъ обливающимся кровью переходитъ она на сторону нашихъ враговъ. Это какъ тотъ памфлетчикъ, который, выпустивъ въ свѣтъ книжонку противъ своего благодѣтеля, говорилъ въ извиненіе: «вѣдь надо же мнѣ жить» на что ему отвѣчали: не вижу въ томъ никакой надобности. И таковъ по всей вѣроятности отвѣтъ, который не преминетъ дать Провидѣніе на эту коварную австрійскую политику, столь же глупую, какъ и вѣроломную.

impuissante que jamais dans le moment actuel. A ceux d'ici c'est superflu, même si c'était possible. Pour ceux de dehors c'est autrement impossible. Car la parole, la pensée, la réflexion, tout cela suppose un *terrain neutre*, et il n'y a plus rien de neutre entre eux et nous... Il y a longtemps que l'on pouvait pressentir que cette haine furieuse, cette haine de dogue à la chaîne, qui depuis trente ans s'irritait de plus en plus dans l'Occident contre la Russie, que cette haine un jour ou l'autre devait nécessairement rompre la chaîne. Ce jour est arrivé... Ce qui s'appelait la Russie en langage officiel a eu beau faire pour conjurer ce destin, elle a eu beau biaiser, transiger, cacher le drapeau, se renier enfin, rien n'y a fait. Est venu un moment, où pour la mettre en demeure de prouver sa modération d'une manière encore plus éblatante, on lui a tout bonnement proposé de se suicider, d'abdiquer sa raison d'être, de reconnaître qu'elle n'était autre chose dans ce monde qu'un fait brutal et absurde, rien qu'un abus demandant correction. Je ne sais trop ce qu'aurait fait la Russie officielle livrée à elle-même, et au delà de quelle arrièrelimite des limites elle aurait poussé son désintéressement et sa longanimité. Mais heureusement cette fois, de derrière le simulacre qui ne simulait plus rien du tout, on a entendu une voix très réelle prononcer très définitivement: Non. Et ce non, cette négation, si brutalement, si témérairement provoquée, c'est l'affirmation de quelque chose dont on n'a qu'une idée bien confuse en Europe. Ce quelque chose qui s'appelait la Russie en langage occidental, ce compromis entre des prétentions surannées, mais toujours flagrantes et cet Avenir constamment ajourné, ce compromis où il y avait autant de niaiserie et d'imbécilité d'une part que de mauvaise foi et d'iniquité de l'autre, cette combinaison là est bien décidément épuisée et ne renaîtra plus... C'est cet avenir réservé, cet avenir de l'Europe d'Orient, dont la Russie n'était que le dépositaire, qu'on a redemandé à elle, en lui mettant le couteau à la gorge... La bataille maintenant, qu'elle en sera l'issue? Pour la pressentir il faudrait savoir à quelle heure de la journée nous sommes sur le cadran de la chrétienteté. Mais si ce n'est pas encore la nuit, nous pourrions encore discerner de grandes et belles choses. Seulement la lutte

finie, ce n'est plus à la Russie qu'on aura à faire dans l'Occident, c'est à ce quelque chose de formidable et de définitif, qui n'a pas de nom encore dans l'Histoire, mais qui existe déjà et qui grandit à vue d'œil dans toutes les consciences contemporaines; amies ou ennemies n'importe... Ainsi soit-il» \*).

Статья Форкада, о которой говорит Тютчевъ, не только упоминала объ немъ, объ его брошюрѣ, извѣстной намъ подъ

\*) Я прочелъ статью Форкада въ *Revue des Deux Mondes*, гдѣ идетъ рѣчь обо мнѣ и которую кажется здѣсь никто не замѣтилъ. Конечно, не въ желаніи говорить у меня недостатокъ, но желаніе это постоянно сдвливается убѣжденіемъ, съ каждымъ днемъ укоряющимъ, въ безсиліи, въ совершенной бесполезности слова... Тщетно и неможно слово въ настоящую минуту, какъ никогда не бывало. Къ тому же, — съ кѣмъ говорить? Съ здѣшними — излишне, еслибы и было возможно. Съ вѣшними — невозможно по другой причинѣ. Слово, мысль, разсужденіе, все это предполагаетъ какую-нибудь нейтральную почву, а между нами и ими нѣтъ уже ничего нейтральнаго... Давно уже можно было предугадывать, что эта бѣшеная ненависть, — словно ненависть пса къ привязи, — ненависть, которая тридцать лѣтъ, съ каждымъ годомъ все сильнѣе и сильнѣе, разжигалась на Западѣ противъ Россіи, сорвется же когда-нибудь съ цѣпи. Этотъ мигъ и насталъ... То что на официальномъ языкѣ называлось Россіею — чего уже оно не дѣлало, чтобъ отвратить роковую судьбу: и вяляло, и торговалось, и прятало знамя, и отрицало даже самоё себя — ничто не помогло. Пришелъ таки день, когда отъ нея потребовали еще болѣе яркаго доказательства ея умѣренности, просто-напросто предложили самоубійство, отреченіе отъ самой основы своего бытія, торжественнаго признанія, что она не что иное въ мірѣ, какъ дикое и безобразное явленіе, какъ зло, требующее исправленія... Я не знаю навѣрное, что сдѣлала бы официальная Россія, предоставленная самой себѣ, и до какого бы крайняго предѣла предѣловъ довела бы она свое безкорыстіе и долготерпѣніе. Но къ счастью на сей разъ, изъ-за этого подобія, которое уже и по добиться чему-либо перестало, раздался голосъ — живой, настоящій, и произнесъ рѣшительное: «Нѣтъ»... Это «нѣтъ», это отрицаніе, вы званное такъ грубо, такъ дерзко — есть, въ то же время, положительное утвержденіе чего-то такого, о чемъ въ Европѣ имѣется самое смутное понятіе. То, что называлось Россіею на языкѣ западныхъ, эта сдѣлка, этотъ компромисъ между притязаніями устарѣлыми, но все

заглавіемъ «La Russie et la Révolution» и напечатанной въ 1849 году въ Парижѣ, но, не называя его имени, содержала въ себѣ нѣкоторые выписки изъ только-что приведенныхъ нами, и другихъ, не помѣщаемыхъ здѣсь, писемъ Тютчева къ его супругѣ. Ея братъ, баронъ Пфеефель, постоянно проживавшій въ Мюнхенѣ, гдѣ въ то время лѣчилась и Э. О. Тютчева, сообщалъ, безъ вѣдома автора, эти письма въ извлеченіяхъ своимъ знакомымъ въ Парижѣ, и между прочимъ Форкаду. Конечно, Тютчевъ былъ вовсе не прочь довести до слуха Французовъ—сужденія объ ихъ политикѣ и образѣ дѣйствій съ точки зрѣнія Русской. Такія же выписки помѣщены и въ другой статьѣ Форкада, въ томъ же журналѣ и въ томъ же году. Онъ любитъ и талантомъ, и силою внутренняго убѣжденія, которые ярко выступаютъ въ письмахъ, но въ то же время указываетъ на нихъ какъ на образчикъ—какіе опасны для Европейской цивилизаціи гнѣзятся въ Русскихъ умахъ исполинскіе помыслы—какъ много въ нихъ страстнаго и варварскаго пыла, и проч. — Въ письмахъ отъ Августа мѣсяца 1854 года, мы встрѣчаемъ у Тютчева, между прочимъ, слѣдующія строки: «J'ai sur ma table le № du 1 Juillet de la Revue des Deux Mondes, où je trouve toute ma correspondance. C'était assurément l'unique chance qu'eussent mes lettres d'être relues

еще живучими, и между Будущимъ постоянно отсрочиваемымъ, этотъ компромисъ, въ которомъ съ одной стороны было столько простодушной глупости и бессмыслицы, съ другой столько недобросовѣстности и неправды,—такая сочиненная система, конечно, теперь уже издержалась вся и больше не возобновится. Вотъ эту-то особенную будущность (будущность Европейскаго Востока, которой Россія только залогохранительница) и хотятъ отъ нея исхитить, приставивъ ножъ къ горлу... Какой же будетъ исходъ битвы? Чтобы предугадать его, надо бы знать—какой часъ дня стоятъ теперь на часовомъ кругѣ христіанства? Если еще не ночь, то намъ еще удастся увидѣть немало крупнаго и величаваго... Только когда окончится борьба, уже не съ Россіей собственно придется имѣть дѣло Западу, а съ чѣмъ-то исполинскимъ и окончательнымъ, чему еще нѣтъ имени въ Исторіи, но что уже живетъ и растетъ не по днямъ, а по часамъ, въ сознаніи всѣхъ современниковъ—друзей и недруговъ... Да будетъ такъ!..

par moi... L'autre jour chez la comtesse Bobrinsky on m'a regalé, sans savoir qu'elles étaient de moi, de la lecture des extraits de mes lettres, qui se trouvent reproduits tout au long dans un article de la Revue de Deux Mondes. Et ceci m'aurait presque donné envie d'écrire quelque chose de développé et de suivi sur l'ensemble de la question. Mais. .» \*).

Но и пламенные упования Тютчева на высокое призвание России не избавляли его от припадковъ тоски и унынія въ виду постоянныхъ нашихъ неудачъ, ошибокъ и всей страшной внутренней неурядицы, всплывшей на поверхности казеннаго нашего порядка и «благополучнаго обстоянія». Вотъ что читаемъ въ его письмахъ того же года: «Quant on se trouve en face d'une réalité qui blesse et brise tout votre être moral, quel est l'homme assez fort pour ne pas détourner la tête par moments et ne pas se voiler la tête d'illusions? Mais la terrible réalité se soucie fort peu d'être crue ou non, il lui suffit d'être... Elle est—elle marche—elle arrive... Il y aurait une sottise affectation de ma part à essayer de dissimuler mon profond, mon entier découragement. Tout n'est pas perdu peut-être, mais tout a été gaché, abîmé et pour longtemps compromis... Intelligence opprimée, comme tu te venges!...» \*).

Замѣчательно и слѣдующее его письмо изъ Москвы отъ

---

\*) У меня на столѣ лежитъ № отъ 1 Іюля R. des Deux M., гдѣ помѣщена вся моя переписка. Конечно—это была единственно возможная случайность, чтобы мои письма были перечтаны самимъ мною... На дняхъ у графини Бобринской меня угощали, не подозревая во мнѣ автора, моими собственными письмами, воспроизведенными въ извлеченіяхъ, въ одной статьѣ R. des Deux Mondes. И это почти возбудило во мнѣ желаніе написать что-нибудь послѣдовательное и болѣе полное о всей общности вопроса. Но...

\*) ... Когда стоишь лицомъ къ лицу съ правдою дѣйствительности, съ такою ея правдою, которая извѣтъ и сокрушаетъ все ваше нравственное существо,—у кого же достанетъ силъ, чтобы подчасъ не отвести въ сторону взора, не накрыться, какъ покрываломъ, мечтою? Но страшной правдѣ что за дѣло—вѣрять ли ей или не вѣрять: съ нея довольно быть. Она есть, она идетъ—она наступаетъ. Было бы глупымъ притворствомъ съ моей стороны скрывать мое глубокое, пол-

30 Ноября 1854 года: «А l'exception de quelques individus qui voient clair parcequ'ils ont toujours vu clair, ce qu'on appelle le public, ce faux peuple, cette contrefaçon du vrai pays, ici comme ailleurs, n'a qu'un profond sentiment de malaise et de déceptions sans nulle intelligence vraie de la situation. On comprend qu'on a fait fausse route parcequ'on se trouve embourbé. Mais où a commencé la déviation? Depuis quand? Comment rentrer dans la bonne voie? Et où est-elle, quelle est-elle cette bonne voie? Voilà, certes, ce que l'on est loin de deviner. Et il ne pouvait pas en être autrement, le genre de civilisation qu'on a infligé à ce malheureux pays tendant fatalement à ce double résultat: *instincts faussés, intelligence engourdie ou annulée...* Ceci encore ne s'applique qu'à cette classe de la société russe qui se prétend civilisée—le public. Car la vie nationale, la vie historique est encore intacte dans les masses. Elle attend son heure, et le moment venu elle ne manquera pas à l'appel et saura bien se faire jour en dépit de tout et de tous. En attendant il est clair pour moi que nous ne sommes qu'au début des déceptions et des humiliations de tout genre...»\*)

---

ное уныніе. Можеть-быть и не все потеряно, но все изгажено, перепорчено, подорвано въ своей силѣ надолго... Разумъ подавленный, какъ ты мстишь за себя!..

\*) ...Исключая нѣкоторыхъ лицъ, которыя видятъ ясно и теперь, потому что всегда видѣли ясно,—то что называется публикой—этотъ лже-народъ, эта фальшивая поддѣлка подъ Русскую землю,—здѣсь, какъ и всюду, испытываетъ только глубокое непріятное ощущеніе чего-то не по себѣ, вѣсть съ сознаниемъ обманутыхъ надеждъ,—но безъ всякаго истиннаго разумнiя дѣла. Догадываются о томъ, что шли не тою дорогой, только потому, что увязли. Но гдѣ же именно своротили съ пути? Съ какихъ поръ? Какъ попасть опять на правый путь, и гдѣ онъ, и что это за путь? Вотъ чего, конечно, отгадать не умѣютъ. Да и не могло быть иначе. Плодомъ той цивилизаціи особаго рода, которая была навязана нашей несчастной странѣ, должны были неминуемо явиться: искривленные инстинкты, — мысль заочечѣвшая или раздавленная. Это, конечно, относится только до той части Русскаго общества, которая величаетъ себя образованною, т. е. до публики; потому что жизнь народная, жизнь историческая, еще дѣльна

...«Et voilà les gens qui dirigent les destinées de la Russie (пишетъ Тютчевъ въ другомъ письмѣ) à travers la plus formidable crise qui ait jamais ébranlé le monde... Non certes, il est impossible de ne pas pressentir la fin prochaine et imminente de cet épouvantable contre-sens, épouvantable et grotesque à la fois, de cette contradiction à faire rire et grincer des dents, entre les hommes et les choses, entre ce qui est et ce qui devrait être... Nous en sommes toujours encore à la vision d'Ezéchiel. Le champ est tout couvert d'ossements arides. Ces ossements se ranimeront-ils? Seigneur, Tu le sais! Mais certes, il ne faudra pas moins que le souffle de Dieu—un souffle de tempête...» \*)

Бъ сожалѣнію, переписка прерывается именно на тѣ мѣсяцы, когда въ Россіи, въ лицѣ двухъ царей, одна историческая эпоха смѣнилась другою. Мы разумѣемъ кончину государя Николая Павловича и воцареніе Его Сына. Возобновившись весною, переписка продолжается въ прежнемъ духѣ и тонѣ; то страстное, напряженное состояніе, въ которомъ держала всю Россію одиннадцати-мѣсячная осада Севастополя, отражается въ письмахъ Тютчева во всей своей животрепещущей правдѣ; онъ уже не могъ «пѣть» въ римованныхъ стихахъ...

Теперь тебѣ не до стиховъ,  
О слово Русское, родное!

---

въ народныхъ массахъ. Она ждетъ своего часа, и когда настанетъ часъ—она на замедлитъ откликнуться на призывъ и съумѣетъ пробиться на свѣтъ Божій вопреки всѣмъ и всему... А между тѣмъ, для меня очевидно, что мы только въ самомъ началѣ разочарованій и униженій всякого рода...

\*) ...И вотъ какіе люди ведутъ теперь судьбы Россіи сквозь небывалый громади́йшій кризисъ!.. Нѣтъ, невозможно не чаять близкаго, неминуемаго конца этой страшной безсмыслицѣ, страшной и въ то же время потѣшной,—этому противорѣчію, разомъ вызывающему и хохотъ, и скрежетъ зубовой, между людьми и дѣломъ, между тѣмъ, что есть и что должно бы быть.... Предъ нами все еще видѣніе Іезекіиля: поле покрыто сухими костями... Эти кости—оживутъ ли? Ты вѣси, Господи! Но, конечно, оживить ихъ могло бы развѣ дыханіе Божіе—дыханіе бури...

сказалъ онъ еще въ началѣ 1854 года, и точно: у него уже не писались стихи по поводу громадныхъ кровавыхъ событий,—но слово его не умолкало ни въ обществѣ, ни въ частныхъ бесѣдахъ и письмахъ, восходя иногда до истиннаго пафоса и поражая своею прозорливостію. «L'Autriche—писалъ онъ къ одному знакомому — se brouille avec ses amis pour ne pas se compromettre vis-à-vis de ses ennemis. Peine inutile!... Le canon qui bat en brèche Sévastopol la chassera d'Italie» \*). Но какъ ни интересны за все это время тѣ письма Тютчева, которыя въ нашихъ рукахъ, мыслью и красотою рѣчи, мы должны однакоже прекратить наши выписки, чтобъ не переступить за края біографическаго очерка. Приведемъ только, въ заключеніе, еще нѣсколько отрывковъ.— Сильное нервное возбужденіе, уныніе, горькое сомнѣніе въ судьбахъ Россіи, все это какъ бы разрѣшилось у Тютчева съ паденіемъ Севастополя. Дѣйствительно, очистительная жертва была принесена, боль достигла крайняго своего предѣла,—отсюда должно было начаться выздоровленіе. На чуткой природѣ поэта такая перемѣна исторической атмосферы отдалась сама собою, прежде даже чѣмъ стала предметомъ его сознанія. Вотъ его письмо отъ 9 Сентября 1855 года изъ Москвы, гдѣ въ это время находился и «новый царь», т. е. Государь Александръ Николаевичъ, проѣздомъ на Югъ; оно стоить любого стихотворенія... «Ce qui est vraiment prodigieux et bien humiliant aussi, c'est qu'avec nos insignifiantes impressions il a suffi de 8 jours, sinon pour emporter, du moins pour affaiblir cette écrasante, cette foudroyante impression de la catastrophe de Sévastopol. Le fil du télégraphe que j'avais côtoyé pendant 600 werstes ne m'en avait rien dit, et c'est à mon arrivée, en venant chez mon frère, que j'ai appris par lui cette terrible nouvelle. Il est probable que si je l'avais écrite à l'instant-même, j'aurais dit des choses très éloquentes et très émouvantes. Maintenant il est trop tard... et d'ailleurs dans ce moment-ci un magnifique soleil du matin entre dans ma chambre... Il y avait assurément

---

\*) ... Австрія ссорится съ друзьями, чтобъ не компрометтироваться передъ врагами. Напрасный трудъ! Пушки, громящія теперь Севастополь, прогонять ее изъ Италіи...

quelque chose d'usité et d'original dans l'impression que faisait le Kremlin habité. En voyant tout ce va et vient de la vie affairée, tout ce mouvement de voitures, cette foule stationnant dans les cours du palais, et tout cela en vue d'un intérêt présent, — on avait le sentiment comme si le charme venait de se rompre et que la vie allait reprendre, après des siècles d'interruption... Et puis, lorsqu'on venait à rencontrer dans les escaliers ou les corridors toutes ces figures connues de Pétersbourg, N. N. O. O. etc., on sortait bien vite du rêve pour rentrer dans la réalité... Hier cependant, le 8, à l'heure où la messe se disait dans toutes les cathédrales, je suis monté sur la première plate-forme d'Iwan Vélikî, qui était couverte d'un monde qui était là à attendre; à tort ou à raison, l'apparition de l'Empereur sur le grand escalier intérieur ou Sa sortie d'une des cathédrales. Tout-à-coup ce sentiment de tantôt m'a ressaisi. Il m'a semblé que le moment présent était passé depuis longtemps, qu'un demi-siècle et plus avait passé par là-dessus; que la grande lutte qui commence, après avoir parcouru tout un cycle de vicissitudes immenses et avoir enveloppé et broyé dans ses replis des empires et des générations, était enfin terminée, qu'un nouveau monde en était sorti, que l'avenir des peuples était fixé pour des siècles, que toute incertitude avait disparu, que le Jugement de Dieu était accompli, le Grand Empire fondé... Il commençait sa carrière infinie là-bas dans d'autres régions sous un soleil plus brillant, — plus près des souffles du Midi et de la mer Méditerranée. Des générations nouvelles, avec des idées, des convictions toutes différentes, étaient en possession du monde, et fières du résultat acquis, se souvenaient à peine des tristesses, des angoisses et de l'étroite obscurité dans laquelle nous vivons en ce moment... Et alors toute cette scène du Kremlin, à laquelle j'assistais, cette foule si peu consciente de ce qui allait arriver, se poussant pour voir l'Empereur... toute cette scène m'a paru comme une vision du passé et d'un passé déjà lointain, et comme si les hommes que je voyais se mouvoir autour de moi avaient déjà depuis longtemps disparu de cette terre. Je me suis tout-à-coup senti le contemporain de leurs arrière-petits enfants... Et c'est cette disposition ha-

bituelle à mon esprit d'envisager la lutte dans ses proportions et ses développements gigantesques, qui me rend parfois moins sensible aux événements du moment, — bien que d'autres fois je me sente accablé de tristesse et de dégoût... » \*).

\*) ... Что истинно изумительно и въ то же время очень обидно, это ничтожность всѣхъ нашихъ впечатлѣній; восьми дней довольно было, чтобъ если не разсѣять совсѣмъ, то по крайней мѣрѣ ослабить страшное, подавляющее, какъ громъ низвергающее впечатлѣніе Севастопольской катастрофы... Телеграфная нить, вдоль которой я ѣхалъ 600 верстъ, ничего мнѣ о томъ не повѣдала, и только по прїѣздѣ моемъ, зайдя къ брату, узналъ я отъ него эту печальную вѣсть. Очень вѣроятно, что еслибъ я тотчасъ же принялся писать о ней, я бы наговорилъ много, весьма и весьма краснорѣчиваго, прониимающаго душу. Теперь уже поздно—и къ тому же въ эту самую минуту великолѣпное утреннее солнце вступило въ мою комнату... Было, конечно, что-то необычное и своеобразное въ томъ впечатлѣніи, которое производилъ Кремль—населенный. При видѣ всей этой бѣготни дѣловой жизни, этого движенія каретъ, этой толпы стоящей на дворцовыхъ дворахъ,—и все это ради интересовъ текущаго дня,—чувствовалось словно бы чары разбились и жизнь, послѣ цѣлыхъ вѣковъ перерыва, двинулась снова... А потомъ, при встрѣчѣ на лѣстницахъ или въ корридорахъ со всѣми этими знакомыми Петербургскими лицами, съ N. N., O. O. и пр., мечта быстро разлеталась, и обдавала дѣйствительность. Вчера однакоже, 8-го, когда шла обѣдня во всѣхъ соборахъ, я взобрался на первую площадку Ивана Великаго, набитую народомъ, ожидавшимъ, не знаю основательно ли или напрасно, появленія Государя на большомъ внутреннемъ крыльцѣ, или при выходѣ изъ собора. Вдругъ меня обхватило то, первое чувство. Мнѣ показалось, что настоящий мигъ миновалъ уже давно, что полвѣка и больше прошло за нимъ; что великая зачинающаяся теперь борьба, совершивъ весь кругъ громаднѣхъ превратностей, объявъ и перемоловъ, въ своихъ изгибахъ, цѣлыя царства и поколѣнія, уже наконецъ прекратилась,—что новый міръ возникъ изъ нея,—что будущность народовъ установилась на многіе вѣки, что всякая неопредѣленность исчезла, что Божій Судъ совершился, Великая Имперія основалась... Она вступала въ свое безконечное поприще тамъ, въ странахъ иныхъ, подъ солнцемъ болѣе яркимъ, ближе къ дуновеніямъ Юга и Средиземнаго моря. Новыя поколѣнія, съ мыслями, съ

«Это вторая *Пуническая* война Запада съ Россіей» — писалъ Тютчевъ, вслѣдъ за первымъ своимъ письмомъ изъ Москвы, называя первую Пуническою войною—1812 годъ. «Il s'agit de savoir si la plus nombreuse des trois races européennes, après avoir perdu contre les deux autres, depuis bientôt mille ans, toutes les affaires d'avant-garde, est destinée à être définitivement vaincue dans son principal corps d'armée et perdre dans cette bataille suprême toute son autonomie historique, — n'être plus *qu'un grand cadavre avec une âme d'emprunt!*...» \*).

Но онъ же и самъ отвѣчаетъ на этотъ вопросъ черезъ нѣсколько дней: «Non, certes, la méprise commise par l'empereur Nicolas n'a été que la conséquence dernière et suprême d'une déviation profonde et bien antérieure à lui dans la direction imprimée aux destinées de la Russie, — et c'est précisément cette circonstance d'une déviation aussi ancienne et aussi profonde qui me fait supposer que le redressement ne pourra s'obtenir que par de longues et de bien cruelles épreu-

убѣждениями совершенно иными, владѣли міромъ, и гордые всѣмъ пріобрѣтеннымъ и достигнутымъ, едва-едва помнили о печаляхъ, о мукахъ, о той тѣсной тѣмѣ, въ которой мы теперь обитаемъ... И тогда все это Кремлевское зрѣлище, при которомъ я присутствовалъ, эта толпа, такъ мало подозревающая что виситъ надъ нею въ будущемъ, давящая другъ друга, чтобъ только увидѣть Царя... все это зрѣлище показалось мнѣ какимъ-то видѣніемъ прошлаго, и уже далекаго прошлаго, — а люди, что около меня двигались, будто уже давно исчезли съ этой земли. Я вдругъ почувствовалъ себя современникомъ ихъ пра-правнуковъ... И вотъ эта-то склонность, обычная моему уму, обнимать взоромъ борьбу во всемъ ея исполнисконъ объемѣ и развитіи, — она-то и дѣлаетъ меня подчасъ менѣе впечатлительнымъ для событій настоящей минуты, — хотя въ другой разъ я изнемогаю отъ тоски и отвращенія...

\*) ... Дѣло идетъ о томъ, обречено ли многочислѣннѣйшее изъ трехъ племенъ Европейскихъ, которое до сихъ поръ, втеченіи почти тысячи лѣтъ, только проигрывало во всѣхъ своихъ авангардныхъ стычкахъ съ остальнымъ двумя племенами, — обречено ли оно претерпѣть окончательное поражение на своемъ главномъ войскѣ, утратить въ этой послѣдней битвѣ всю свою историческую автономію и стать не болѣе, какъ огромнымъ трупомъ съ заемною душою?...

ves. Quant au succès définitif de la lutte en faveur de la Russie, il me paraît aussi peu douteux maintenant qu'il l'a jamais été» \*).

Такими словами заканчивается эпопея послѣдней Восточной войны въ письмахъ Тютчева. Онъ, по всему видно, пришелъ къ убѣжденію, что рѣшеніе великаго Восточнаго вопроса отсрочено исторіею на долго, и что ни Европа еще не истощила всѣхъ жизненныхъ силъ своего духа, ни Россія еще не созрѣла для предназначеннаго ей, какъ думалъ Тютчевъ, призванія. Онъ, конечно, понималъ и не могъ не понять, что не на отдаленные горизонты будущаго, а на болѣе тѣсный горизонтъ ближайшаго настоящаго должны по преимуществу устремиться покуда Русскіе взоры и что чередъ, въ самой Россіи, не за исполинскими, міровыми, политическими задачами, а за дѣломъ, и за долгимъ дѣломъ, собственнаго внутренняго устроенія. Этимъ объясняется, почему съ окончаніемъ Восточной войны Тютчевъ почти совершенно замолкъ о своихъ историческихъ чаяніяхъ и вѣрованіяхъ, въ устныхъ бесѣдахъ и въ письмахъ. Только изрѣдка какой-нибудь стихъ или случайное слово намекали, что они еще живутъ въ его душѣ, глубоко затаенные, хотя, можетъ-быть, уже не въ прежней своей цѣльности и полнотѣ... Но Тютчеву довелось дожить и до послѣдняго эпилога Восточной войны. Лучъ лѣлѣемаго имъ будущаго снова сверкнулъ для него въ настоящемъ. Мы разумѣемъ возвращеніе себѣ Россіею свободы на Черномъ морѣ, т. е. ту декларацію, которою Русскій Кабинетъ, въ концѣ 1870 года, возвѣстилъ Европѣ, что перестаетъ считать для себя обязательными, въ отношеніи къ Чер-

---

\*) ... Нѣтъ, безъ сомнѣнія, ошибка, совершенная императоромъ Николаемъ, была только результатомъ послѣднимъ, крайнимъ, того рѣзкаго искривленія путей, которымъ, гораздо его ранѣе, было насильственно измѣнено направленіе Русскихъ судебъ, — и вотъ именно это обстоятельство, — т. е. что искривленіе совершилось такъ рѣзко и такъ уже давно, — оно-то и заставляетъ меня думать, что и выпрямленіе можетъ быть добыто лишь долгими и лишь необычайно-жестокими испытаніями... Что же касается до окончательнаго разрѣшенія борьбы, то успѣхъ Россіи также мало, кажется мнѣ, подлежитъ сомнѣнію нынѣ, какъ подлежалъ когда-либо и прежде.

ному морю, ограниченія въ правахъ, наложенныя на Россію Парижскимъ трактатомъ. Не могъ не вострепнуться душою, уже почти 70-ти-лѣтній, «не обманувшійся въ своей вѣрѣ», поэтъ, и отозвался двумя стихотвореніями, которыя впрочемъ нигдѣ не были имъ напечатаны, а одно изъ нихъ, согрѣтое вполнѣ искреннимъ чувствомъ, оставалось даже совсѣмъ неизвѣстнымъ до самой его кончины. Вотъ оно:

Пятнадцать лѣтъ съ тѣхъ поръ минуло,  
Прошелъ событій цѣлый рядъ—  
И вѣра насъ не обманула,  
И Севастопольскаго гула  
Послѣдній слышимъ мы раскатъ.

Ударъ послѣдній и громовый,  
Онъ грянулъ вдругъ, животворя,—  
Послѣднее въ борьбѣ суровой  
Теперь лишь высказано слово:  
То слово Русскаго царя.

И все что было такъ недавно  
Враждой воздвигнуто слѣпой,  
Такъ нагло, такъ самоуправно,—  
Предъ честностью Его державной  
Все рушилось само собой.

И вотъ: «свободная стихія»...  
—Сказалъ бы нашъ поэтъ родной—  
Шумишь ты, какъ во дни былые,  
«И катишь волны голубыя,  
И блещешь гордою красой»...

Пятнадцать лѣтъ тебя держало  
Насилъе въ западномъ плѣну,—  
Ты не сдавалось и роптало;  
Но часъ пробилъ,—насилъе пало:  
Оно пошло какъ ключъ ко дну.

Опять зоветь и къ дѣлу нудить  
Родную Русь твоя волна,  
И къ распрѣ той, что Богъ разсудить,  
Великій Севастополь будить  
Отъ заколдованнаго сна.

И то что ты во время оно  
Отъ бурныхъ скрыла непогодъ  
Въ свое сочувственное лоно,—  
Отдашь ты намъ, и безъ урона,  
Безсмертный Черноморскій флотъ.

Да, въ сердцѣ Русскаго народа  
Святиться будетъ этотъ день:  
Онъ—наша виѣшняя свобода.  
Онъ Петропавловскаго свода  
Освѣтитъ гробовую сѣнь...

Вотъ другое стихотвореніе, посланіе къ князю А. М. Горчакову:

Да, вы сдержали ваше слово:  
Не двинувъ пушки, ни рубля,  
Въ свои права вступить готова  
Родная Русская земля.

И намъ завѣщанное море  
Опять свободною волной,  
О прежнемъ позабывъ позоръ,  
Лобзаютъ берегъ свой родной.

Счастливъ въ нашъ вѣкъ, кому побѣда  
Далась не кровью, а умомъ;  
Счастливъ, кто точку Архимеда  
Умѣлъ найти въ себѣ самомъ...

## VIII.

Празднества коронаціи 1856 года привлекли, конечно, и Тютчева въ Москву, и хотя не имѣли власти надъ его поэтическимъ творчествомъ, то-есть не внушили ему никакихъ стиховъ, однакоже довольно подробно описаны въ его письмахъ къ женѣ. По своему званію камергера, онъ не только былъ зрителемъ, но даже дѣйствующимъ лицомъ въ разныхъ коронаціонныхъ церемоніяхъ и обрядахъ. Трудно себѣ представить придворнаго менѣе придворнаго, чѣмъ былъ Тютчевъ. Онъ дорожилъ своимъ камергерскимъ ключемъ именно какъ

ключёмъ, отпиравшимъ ему двери многихъ блистательныхъ сборищъ, куда нелегко было бы и попасть при иныхъ условіяхъ,—а жить всею полнотою внѣшней общественной жизни, отъ ея высшихъ сферъ и до низшихъ, было для него насущною потребностью. Но Тютчевъ и во дворцѣ, и на улицѣ, и на чердакѣ какого-нибудь бѣднаго литератора, былъ совершенно одинаковъ. И не потому только одинаковъ, что это—своего рода *le suprême bon genre*, обязательный для людей, какъ обыкновенно выражаются, «истинно - образованныхъ»: такая одинаковость, чисто внѣшняя, сама себя сознающая и сама себя внутренне похваляющая, очень часто не болѣе какъ снисхожденіе подъ маскою вѣжливости, какъ сдѣлка между гордостью и требованіями свѣтскаго приличія. Но Тютчеву не было надобности ни въ какой сдѣлкѣ съ самимъ собою; ему не приходилось бороться въ себѣ ни съ гордостью, ни съ тщеславіемъ, потому что въ этихъ обоихъ свойствахъ у него былъ, какъ мы уже объясняли, *положительный* недостатокъ: тутъ даже не было особенной заслуги съ его стороны. Ему было рѣшительно все равно, гдѣ бы онъ ни находился, только бы не было *скучно*,—только бы зрѣлище или бесѣда, чѣмъ бы они обставлены ни были, давали пищу его уму, возбуждали въ немъ участіе, представляли сами по себѣ живой увлекающій интересъ. Какъ пчела собираетъ медъ со всякихъ растений безъ разбора, съ полевыхъ и садовыхъ, такъ и Тютчевъ искалъ вездѣ и всюду, во всѣхъ явленіяхъ общественной жизни, внутренняго содержанія, скрытаго смысла, непосредственныхъ внѣшнихъ впечатлѣній, удовлетворенія потребностей своей поэтической духовной природы. Не онъ былъ данникомъ этой внѣшней жизни, а она была его данницею, гдѣ бы, на какой бы высотѣ или на какой бы низменности ни совершалась. Поэтому и былъ онъ не то что вездѣ какъ дома, а вездѣ одинъ и тотъ же, самъ собою, всегда и вездѣ независимъ, безъ аффектаціи, но независимъ не на показъ.

Письма его о коронаціи чужды какихъ-либо серьезныхъ отвлеченныхъ соображеній; но въ нихъ много легкихъ граціозныхъ очерковъ и остроумныхъ замѣтокъ. Вотъ, между прочимъ, его описаніе маскированного бала въ Большомъ Кремлевскомъ Дворцѣ:... «Je rentre à l'instant de ce fameux

bal masqué... Quant à moi, je dois l'avouer, tout ce mouvement, tout cet éclat, toute cette représentation grandiose et les pompes symboliques sous lesquelles on reconnaît tout à coup des figures si bien connues et si franchement, si humblement elles-mêmes, tout cela me fait l'effet d'un rêve: tant c'est vivant et en même temps incohérent et peu réel. Voici par exemple la vieille comtesse R. et la vieille T. (je nomme celles-la parce que ce sont les dernières aux quelles je viens de parler), et tout à côté des princes Mingréliens, Tatars, Iméretiens, très authentiques, avec leurs magnifiques costumes et leurs figures solennelles. et des histoires de sang après eux, et même, comme ce soir par exemple, deux Chinois vivants et réels, et puis à deux cents pas de ces salles resplendissantes de lumières et encombrées de cette foule si contemporaine, là-bas sous les voûtes, les tombeaux d'Iwan III et d'Iwan IV... Si par hasard on pouvait admettre que le bruit et le reflet de tout ce qui se passe dans leur Kremlin arrive jusqu'à eux,—comme ils doivent faire de grands yeux, tout morts qu'ils sont... Iwan IV et la vieille R.... Ah combien il y a du rêve dans ce que nous appelons la réalité...\*)

\*) ...Я только что вернулся съ этого пресловутаго маскированного бала... Что касается меня, я долженъ сознаться, что все это движеніе, весь этотъ блескъ, все это величавое представленіе, вся эта пышность символовъ, подъ которыми вдругъ опознаешь давно знакомыя лица, которыя такъ откровенно такъ смиренно они, они самыя, а не какія другія,—все это кажется мнѣ какимъ-то сномъ,—до такой степени все это полно жизни и въ то же время несообразно, непохоже на дѣйствительность. Вотъ напримѣръ старуха графиня Р... и старуха Т... (называю ихъ потому, что съ ними послѣдними только-что разговаривалъ), а тутъ рядомъ князья Мингрельскіе, Татарскіе, Имеретинскіе, самыя подлинныя, съ ихъ великолѣпными костюмами, ихъ торжественными фигурами и кровавыми исторіями за плечами,—и даже, какъ сегодня вечеромъ, два живыхъ, настоящихъ Китайца; а тамъ шагахъ въ двухъ-стахъ отъ этихъ залъ, залитыхъ свѣтомъ и загроможденныхъ людомъ самымъ наисовременнымъ,—тамъ, подъ сводами, гробницы Ивана III и Ивана IV... Если предположить, что шумъ и отблескъ всего, что происходитъ въ ихъ Кремлѣ, доходить и до нихъ, вотъ должно-быть тащить они глаза, какъ они тамъ ни мертвы... Иванъ IV и старуха

Приведемъ кстати его письмо, двумя годами позднѣе, съ описаніемъ его участія въ церемоніи освященія Исакиевскаго собора:

«...J'oubliais de mentionner la cérémonie de la consécration de l'église d'Isaac, dans laquelle j'ai figuré à titre de chambellan. C'était bien beau, mais malheureusement aussi bien long. Convoqués à 9 heures du matin au palais d'Hiver, à 11 heures nous stationnions encore dans la grande cour du palais, parqués dans neuf voitures respectives et attendant le signal du départ... Je me trouvais dans l'avant-dernière voiture du cortège, dorée sur toutes les coutures, attelée de six chevaux et escortée de la livrée à pied. J'avais en face de moi deux inconnus, plus anciens que moi à ce qu'il paraît, puisqu'ils étaient dans le fond de la voiture. Je me sentais encore plus ennuyé que ridicule. Vers une heure, la consécration étant finie, une procession dont j'avais bénévolement fait partie en côtoyant hors des rangs la personne d'A. D... était arrêtée dans l'église... C'est alors que me sentant accablé de fatigue et réduit à la dernière inanition, — m'étant d'ailleurs convaincu de la gratuité absolue d'une présence plus longue et ayant devant moi l'avenir vraiment effroyable d'une messe d'archevêque qui commençait à peine, suivie d'une панихида en mémoire des cinq souverains fondateurs et édificateurs de l'église (Pierre I, Cathérine II, Paul, Alexandre et Nicolas), et d'un Tedeum non moins solennel et non moins long... c'est alors, dis-je, sous le coup de toutes ces influences impérieuses et irrésistibles, que j'ai fait ce qu'il était profondément dans ma nature de faire, en prenant la clef des champs, toute clef de chambellan qu'elle était, et en m'en allant solitaire et superbe à travers les rues éblouies de mes splendeurs, pour gagner par le chemin le plus direct ma chambre, ma robe de chambre et mon déjeuner dont j'avais un pressant besoin...» \*).

Р.... Ахъ, сколько сновидѣнія въ томъ, что мы зовемъ дѣйствительностью!..

\*) ...Я забылъ упомянуть о церемоніи освященія Исакиевской церкви, въ которой я участвовалъ въ качествѣ камергера. Это было очень красиво, но къ несчастію и очень длинно. Созванные въ 9 часовъ утра

Съ заключеніемъ Парижскаго мира и съ воцареніемъ новаго Государя, Россія, какъ уже было сказано и какъ памятно еще всѣмъ, вступила въ новый періодъ бытія. Отъ хмѣля кичливыхъ самообольщеній, отъ самоупоенія виѣшнею Русскою силою и военною славою, общество, быстро и рѣзко, перешло къ иному угару, — угару самообличенія и переобразования; весь, несчетными годами накопившійся, соръ выметенъ былъ изъ избы; словно изъ кладовой, вытаскивался наружу старый и затхлый хламъ, вывѣтривался и выколачивался публично. Долго сдержанная мысль торопилась высказаться и, высказавшись, сиѣшила перейти къ дѣлу. И точно вскорѣ началась для Россіи пора такой практической, черствой работы, что людямъ только отвлеченной мысли, только слова,

въ Зимній Дворецъ, мы въ 11 часовъ еще пребывали на большомъ дворцовомъ дворѣ, размѣщенные въ девяти каретахъ по принадлежности и въ ожиданіи сигнала къ отѣзду... Я находился въ предпоследней каретѣ ноѣзда, позолоченной по всѣмъ швамъ, запряженной въ шесть лошадей и сопровождаемой пѣшимъ лакействомъ. Противъ меня сидѣли двое незнакомыхъ, должно-быть старше меня чиномъ, потому что они занимали мѣсто въ глубинѣ кареты. Я чувствовалъ себя еще болѣе соскучившимся, чѣмъ смѣшнымъ. Около часу освященіе окончилось, и процессія, въ которой я благосклонно принялъ участіе, идя бокъ о бокъ, въ рядовъ, съ княжной А. Д., стала въ церкви. Тогда-то, чувствуя себя разбитымъ отъ усталости и доведеннымъ до совершеннаго истощенія, — убѣдившись къ тому же, что присутствовать долѣе — совершенно напрасно, — имѣя предъ собой будущность по истинѣ ужасающую — архіерейской обѣднѣ, едва начинавшейся, а за нею вслѣдъ: паннихиды въ память пяти государей, основателей и создателей храма (Петра I, Екатерины II, Павла, Александра и Николая), и молебна не менѣе торжественнаго и не менѣе длиннаго, — тогда-то, говорю я, подъ напоромъ всѣхъ этихъ властительныхъ и непреодолимыхъ вліяній, я сдѣлалъ то, что сдѣлать было совершенно свойственно моей природѣ, — я утекъ \*) изъ церкви и отправился, величавый и одинокій, вдоль улицъ, озадаченныхъ моимъ пышнымъ блескомъ, прямою дорогой къ себѣ, къ своей комнатѣ, къ своему шлафроку и къ своему завтраку, въ которомъ я крайне нуждался...

\*) Здѣсь въ подлинникѣ непереводаемая игра словъ.

приходилось уступить мѣсто люду дѣловому и чернорабочему, или же самимъ браться за непривычную для нихъ, тяжелую службу въ разныхъ комиссіяхъ, канцеляріяхъ и комитетахъ, по разрѣшенію насущныхъ вопросовъ уже не мечтательной, а наличной дѣйствительности. Всего менѣе, повидимому, предъ-являлся запросъ на тѣ именно таланты, которыми обладалъ Тютчевъ,—и всего болѣе на тѣ способности и свойства, ко-торыхъ ему не доставало. Но Тютчеву удалось понести и свою долю исторической повинности, павшей на всю Рус-скую умственную силу. Конечно, самое присутствіе такого человѣка въ высшей общественной Петербургской средѣ не могло оставаться совершенно безполевымъ, не могло не освѣ-жать, хоть изрѣдка, ея спертый воздухъ и не пропускать лучей умнаго свѣта въ ея тусклое и ужъ всего менѣе національ-ное сознаніе. Частыя бесѣды Тютчева съ главнѣйшими дѣяте-лями той эпохи, съ которыми онъ былъ близокъ или по преж-нимъ своимъ связямъ или по своему положенію въ обществѣ, были также, безъ сомнѣнія, своего рода *дѣломъ*... Но, кромѣ того, Тютчевъ сослужилъ и положительную службу Русскому просвѣщенію своимъ заступничествомъ за Русскую печать и своею дѣятельностью въ званіи Предсѣдателя Комитета Ино-странный Цензуры и члена Совѣта въ Главномъ Управленіи по дѣламъ печати. Это заступничество, если не за полную свободу, то за болѣйшій просторъ Русскаго печатнаго слова, выразилось прежде всего въ формѣ письма къ нынѣшнему канцлеру, князю Горчакову, которое ходило тогда по рукамъ, въ спискахъ, и въ прошломъ 1873 году помѣщено, во Фран-цузскомъ подлинникѣ и въ переводѣ, въ «Русскомъ Архи-вѣ», подъ заглавіемъ: «Записка о Цензурѣ». Ближайшій по-водъ къ этому письму былъ слѣдующій.

Съ порывомъ къ новой усиленной жизни, объявшимъ всю Россію, естественно, что и Русская печать получила небы-валое до тѣхъ поръ значеніе; администраціи приходилось съ нею считаться и волей-неволей отводить мѣсто въ ряду за-конныхъ отправленій общественнаго организма. Вопросъ былъ только объ *объемѣ* отводимаго мѣста... Разумѣется, съ одной стороны хотѣли сдѣлать этотъ объемъ неизмѣримо-малымъ, почти призрачнымъ; съ другой домогались ширины безпре-дѣльной... Между тѣмъ Герценская «вольная Русская печатня

въ Лондонѣ» не могла не смутить официальные сферы и заставила ихъ серьезно призадуматься: какими бы средствами противодействовать ея вліянію? Но какими же средствами? Всѣ запреты, всѣ полицейскіе способы возбранить пропускъ «Колокола» оказались безсильными. «Колоколъ» читался всею Россіей, и обаяніе единственно-свободнаго, впервые раздаваемаго Русскаго слова было неотразимо. Въ правительственныхъ сферахъ пришли наконецъ къ мысли, что наилучшимъ средствомъ вывести и общество, и себя изъ такого фальшиваго положенія было бы учрежденіе въ самомъ Петербургѣ Русскаго литературнаго органа, такого органа, который, издаваясь при содѣйствіи, покровительствѣ и денежномъ пособіи отъ правительства, но въ то же время съ пріемами и развязностью *почти* свободной газеты, боролся бы съ Герценомъ и направлялъ бы общественное мнѣніе на истинный путь... Для редакціи такого журнала предполагалось пригласить благонамѣренныхъ, благонадежныхъ, но однакоже авторитетныхъ литераторовъ... Этотъ-то проектъ, сообщенный Тютчеву на предварительное разсмотрѣніе, и послужилъ поводомъ къ его письму. Какъ ни очевидна была для Тютчева, а также, безъ сомнѣнія, и для лица, къ которому письмо было адресовано, несостоятельность подобнаго проекта, но письмо предназначалось для обращенія въ нѣкоторыхъ извѣстныхъ кругахъ; а потому ее, эту несостоятельность, требовалось доказать, и притомъ доказать *деликатно*,— а это, въ свою очередь, давало благовидную возможность преподавать нѣкоторое общее, болѣе здравое понятіе о свойствахъ предмета, такъ сильно озабочивавшаго администрацію, т. е. печати. Задачу свою Тютчевъ исполнилъ очень искусно, и письмо его было въ то время истинною гражданскою заслугою; но конечно, само по себѣ, это письмо ни для кого, кромѣ тѣхъ, кого оно имѣло въ виду, не представляло, да и не могло представить, какихъ-либо новыхъ, блестящихъ соображеній. Напротивъ, при чтеніи письма, трудно защититься отъ невольнаго чувства сожалѣнія къ положенію этого просвѣщеннаго, высокаго ума, вынужденнаго принизиться до уровня почти дѣтски-наивнаго разумѣнія,—усиливающагося наисерьезнѣйшимъ образомъ втолковать своимъ предполагаемымъ читателямъ, что гласность вещь полезная, а угнетать искренность слова —

вредно, и вообще тому подобныя истины, давно для всѣхъ людей, сколько-нибудь зрѣлыхъ мыслью, ставшія непререкаемыми аксіомами. Зная Тютчева, можно себя вообразить, какъ долженъ онъ былъ стенать и страдать внутренно, обставляя всѣми возможными предосторожностями и оговорками простую, безхитростную правду своихъ рѣчей, и выдавая чуть не за оригинальное открытіе то, что въ его собственныхъ глазахъ было, — употребимъ его же выраженіе, — не болѣе какъ «une banalité pauséabonde»... Тѣмъ не менѣе «письмо» или «записка» Тютчева и до сихъ поръ, къ сожалѣнію, не утратило значенія современности, и такъ какъ оно притомъ написано остроумно и относительно-смѣло, то это обязываетъ насъ изложить его содержаніе.

«Если правда, какъ вы сказали, князь (такъ пишетъ Тютчевъ), что практическій умъ, при извѣстномъ положеніи, можетъ желать лишь того, что дѣйствительно осуществимо по отношенію къ лицамъ (*eu égard aux personnes*), то не менѣе справедливо, что было бы недостойно истинно-практическаго ума желать чего-либо несомѣстнаго съ естественными условіями его существованія (*en dehors des conditions naturelles de son existence*)». Если, — продолжаетъ онъ, — какой-либо очевидной истинѣ научилъ тяжелый опытъ послѣднихъ годовъ, такъ несомнѣнно слѣдующей:

Намъ было жестоко доказано, что нельзя налагать на умы слишкомъ рѣшительнаго, слишкомъ продолжительнаго стѣсненія и гнета безъ существеннаго вреда для всего общественнаго организма. Оказывается, что всякое ослабленіе, всякое уменьшеніе умственной жизни въ обществѣ служить къ выгодѣ матеріальныхъ наклонностей и гнусно-эгоистическихъ инстинктовъ. Даже сама Власть съ теченіемъ времени не можетъ уклоняться отъ неудобствъ подобной системы. Голая степь, громадная умственная пустота образуется вокругъ самой Власти, и правительственная мысль, не находя вѣ себя ни контроля, ни указанія, ни какой-либо точки опоры, кончаетъ тѣмъ, что приходитъ въ смущеніе и изнемогаетъ подъ собственнымъ бременемъ еще прежде, чѣмъ сокрушать ее роковыя событія!

«Къ счастью, этотъ жестокій урокъ не пропалъ даромъ», прибавляетъ Тютчевъ и, указывая на наступившее въ Россіи, съ новымъ царствованіемъ, ослабленіе прежней чрез-

мѣрной суровости въ отношеніи къ мысли и печати, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ, сильнымъ и убѣдительнымъ словомъ, представляетъ заслугу новой современной литературы. Какъ воспользовалась литература тою нѣкоторою свободою, которая была ей дана, спрашиваетъ Тютчевъ, къ чему устремилась она, почуявъ больше простора?... «Къ тому только, — отвѣчаетъ Тютчевъ, — чтобы сколь возможно лучше и вѣрнѣе выразить настоящее мнѣніе страны. Вмѣстѣ съ живымъ чувствомъ настоящей дѣйствительности, съ талантомъ нерѣдко весьма замѣчательнымъ, литература проявила не менѣе живую заботливость о всѣхъ насущныхъ нуждахъ, о всѣхъ интересахъ, о всѣхъ язвахъ Русскаго общества. Относительно подлежащихъ улучшеній, она, какъ и сама страна, озабочивалась только тѣми, которыя были возможны, существенны, практичны, ясно указаны, — не увлекаясь утопій — этимъ въ высшей степени литературнымъ недугомъ». Какія-нибудь частныя уклоненія, излишества, крайности не представляютъ, по мнѣнію Тютчева, никакой важности при этомъ общемъ, господствующемъ характерѣ литературнаго движенія. Ни одинъ классъ въ обществѣ, объясняетъ онъ, не питаетъ такого сочувствія къ Верховной Власти въ ея борьбѣ со всяческими злоупотребленіями, какъ именно люди пера и мысли, такъ-называемые литераторы; никто болѣе ихъ не одушевленъ рвеніемъ помогать ей въ ея благихъ намѣреніяхъ... Я знаю, впрочемъ, продолжаетъ Тютчевъ, что мои слова будутъ многими встрѣчены съ недовѣріемъ «въ нѣкоторыхъ слояхъ нашего оффиціального міра», и при этомъ остроумно замѣчаетъ, что

въ этомъ мірѣ во всѣ времена существовало какое-то предвзятое чувство недовѣрія и недовольства (*de tout temps il y a eu dans ce monde-là comme un parti pris de défiance et de mauvaise humeur*), и это очень легко объясняется спеціальностью ихъ точки зрѣнія. Есть люди, которые о литературѣ знаютъ столько же, сколько полиція въ большихъ городахъ о народѣ ею охраняемомъ, т. е. только тѣ несообразности и безпорядки, которымъ иногда предается народъ...

Затѣмъ Тютчевъ напоминаетъ своему собесѣднику примѣръ Германіи, до и послѣ 1848 года, и ту перемѣну, какая произошла въ отношеніяхъ Нѣмецкихъ правительствъ

къ журналистикѣ. «Тѣ же самыя правительства, говорить онъ, которыя смотрѣли на печать какъ на *необходимое* зло, которое приходилось по неволѣ терпѣть, хотя и ненавидя, рѣшились наконецъ поискать въ ней себѣ вспомогательную силу» и не ошиблись въ расчетѣ. Если это возможно было въ странахъ, потрясенныхъ и зараженныхъ революціоннымъ духомъ, то какъ неизмѣримо легче положеніе правительства въ Россіи, гдѣ, «несмотря на недуги насъ удручающіе и пороки насъ искажающіе, таятся въ душахъ сокровища разумной готовности и преданной дѣятельной мысли, которыя ждутъ не дождутся, чтобы чья-нибудь сочувственная рука умѣла ихъ признать, собрать и употребить въ дѣло». Но, оговаривается Тютчевъ, такое искреннее отношеніе между правительствомъ и умственными силами страны, такое серьезное, «честно-сознанное» и свободное руководство общественными умами возможно лишь при нѣкоторыхъ условіяхъ. А именно, относительно нашей страны, слѣдовало бы правительству.

прийти наконецъ къ тому сознанію, къ которому съ такимъ трудомъ приходятъ родители относительно дѣтей вырастающихъ у нихъ на глазахъ, а именно, что настаетъ наконецъ такой возрастъ, гдѣ мысль также мужаетъ и требуетъ, чтобы съ нею обращались какъ съ совершеннолѣтнею.

Такое признаніе Русской общественной мысли совершеннолѣтнею должно быть искреннее и полное. Дѣло вовсе не въ томъ,—поясняетъ Тютчевъ,—«чтобы на семь основаній допустить вмѣшательство публики въ совѣщанія Государственнаго Совѣта, или въ томъ, чтобы устанавливать вмѣстѣ съ печатью программу дѣйствій правительства». Существенно важно, по мнѣнію Тютчева, чтобы само правительство ощутило потребность проводить свои идеи и убѣжденія въ самую глубь народнаго сознанія... «Было бы необходимо—говорить онъ—

въ виду тяжкихъ, дававшихъ насъ затрудненій, чтобы само правительство сознало, что безъ этого искренняго общенія съ самою душою страны, безъ полнаго и всецѣлаго пробужденія всѣхъ ея нравственныхъ и умственныхъ силъ,

безъ ихъ добровольнаго и единодушнаго содѣйствія въ общемъ дѣлѣ, — правительству, предоставленному собственнымъ своимъ средствамъ, не совершить ничего, какъ внѣ Россіи, такъ и внутри, какъ для своего, такъ и для нашего блага (le gouvernement, réduit à ses propres forces, ne peut rien, pas plus au dehors, qu'au dedans, pas plus pour son salut que pour le nôtre). Однимъ словомъ, слѣдовало бы всѣмъ, какъ обществу, такъ и правительству, постоянно твердить себѣ, что судьба Россіи подобна кораблю сѣвшему на мель, который никакими усиліями экипажа не можетъ быть сдвинуть съ мѣста и который только воздымающійся приливъ народной жизни способенъ приподнять и спустить на воды (que seule la marée montante de la vie nationale parviendra à soulever et à mettre à flot...).

Было бы ошибочно думать, — толкуетъ далѣе Тютчевъ — что для такого привлеченія умственныхъ и нравственныхъ силъ подѣ знамя правительства, это послѣднее «должно обратиться въ проповѣдника и произносить поученія предѣ безмолвною толпою». Пусть подѣ свободнымъ воздѣйствіемъ не его слѣва, а его духа, творится подѣ его сѣнью прямодушная пропаганда. Но такая «спасительная пропаганда предполагаетъ честную и серьезную свободу обсужденія»: ибо — «нужно ли въ сотый разѣ напоминать фактъ такой рѣзкой очевидности — прибавляетъ Тютчевъ — что въ наше время тамъ, гдѣ свободы преній не существуетъ въ размѣрахъ достаточно обширныхъ, ничто не возможно, *рѣшительно ничто*, въ смыслѣ умственномъ и нравственномъ». Здѣсь разумѣется возникаетъ вопросъ объ опредѣленіи размѣровъ этой свободы, и вопросъ о цензурѣ. Тютчевъ, по его словамъ, относится совершенно безпристрастно, безъ предубѣжденія и непріязни, къ вопросу о печати, «не питаетъ даже чрезмѣрно враждебнаго чувства и къ цензурѣ, хотя она, въ эти послѣдніе годы, тяготѣла надѣ Россіей какъ истинное общественное бѣдствіе»; но онъ главнымъ образомъ обвиняетъ цензуру въ томъ, что она нисколько не достигаетъ цѣли въ смыслѣ истинныхъ нуждъ и интересовъ нашего отечества. Впрочемъ, говоритъ Тютчевъ, «дѣло не въ мертвой буквѣ регламентовъ и инструкцій, а въ *духѣ* ихъ оживляющемъ; дѣло все въ томъ, какъ само правительство,

въ глубинѣ своей совѣсти, смотритъ на свои отношенія къ печати; *какую*, большую или меньшую долю законности признаётъ оно за частною, личною мыслью... Покуда правительство у насъ, въ самомъ обычномъ складѣ своей мысли, существенно не измѣнитъ своего настоящаго воззрѣнія на отношенія къ себѣ печати, покуда оно, такъ-сказать, не порветъ со всѣмъ этимъ окончательно, нѣтъ ни малѣйшей вѣроятности успѣха ни для какихъ попытокъ совершить что-либо серьезное, истинно-дѣйствительное, — и надежда приобрести вліяніе на умы, съ помощью печати, *такимъ способомъ* направляемой, всегда окажется призракомъ...

Затѣмъ Тютчевъ переходитъ къ Русской заграничной печати и къ изданіямъ Герцена въ особенности, и въ громадномъ успѣхѣ послѣднихъ видитъ вовсе не выраженіе особеннаго сочувствія къ Герценовскимъ политическимъ и социальнымъ теоріямъ, а выраженіе нашей Русской настоятельной потребности, не имѣющей съ ними ничего общаго. «Будемъ имѣть мужество, — увѣщаетъ онъ, — понять настоящій смыслъ, настоящее значеніе этого вліянія: ни чѣмъ невозбранное распространеніе Герценовскихъ изданій — это, на фактъ, равняется совершенному уничтоженію цензуры, къ выгодѣ вліаній дурныхъ и враждебныхъ. Но при всемъ томъ, не наберется двухъ изъ сотни его читателей, сколько-нибудь умственно-развитыхъ, которые бы относились серьезно къ его доктринамъ и не смотрѣли на нихъ какъ на мономанію, которой самъ Герценъ подчинился, болѣе или менѣе невольно»... «Вся сила, по мнѣнію Тютчева, въ томъ, что журналъ Герцена представляетъ для насъ свободу обсужденія, конечно при условіяхъ ненависти и пристрастія, но однакоже настолько свободныхъ (отчего же этого не признать?), что на страницахъ этого журнала допускаются и другія мнѣнія, болѣе умѣренные, болѣе разсудительныя, а нѣкоторыя и положительно разумныя»... «Какъ скоро мы поняли, въ чемъ состоитъ тайна его силы и вліянія, намъ уже не трудно опредѣлить, *какого свойства* должно быть оружіе, которымъ мы можемъ съ нимъ сражаться».

Очевидно, что газета, — приводимъ подлинныя слова Тютчева, — «газета, которая бы приняла на себя такую миссію, могла бы рассчитывать на успѣхъ только при условіяхъ су-

ществованія сколько-нибудь сходныхъ съ условіями своего противника. Возможны ли, мыслимы ли они у насъ, въ данномъ положеніи? Тѣ люди—съ убѣжденіями искренними, съ талантами и съ рвеніемъ, которые бы приняли участіе въ изданіи такой газеты, не пожелали ли бы они прежде всего несомнѣнно увѣриться въ томъ, что призываются не къ полицейскому дѣлу, а къ дѣлу совѣсти (*pas à une oeuvre de police, mais à une oeuvre de conscience*)? Не сочли ли бы они себя въ правѣ требовать для себя всей той полноты свободы, которую предполагаетъ всякое серьезное обсужденіе, безъ которой оно немислимо и недействительно? Благодарите же взвѣситъ (съ такими словами обращается Тютчевъ къ своему собесѣднику), въ какой мѣрѣ тѣ вліятельныя силы, которыя бы приняли на себя основаніе подобнаго журнала и покровительство его успѣхамъ, согласились бы закрѣпить за нимъ потребную ему мѣру свободы, и не пришли ли бы онѣ, быть-можетъ, къ убѣжденію, что изъ благодарности за оказанную ему поддержку и изъ нѣкотораго уваженія къ своему привилегированному положенію, этотъ журналъ, на который бы онѣ смотрѣли какъ на свой собственный, былъ бы обязанъ соблюдать еще большую сдержанность и умѣренность, чѣмъ всѣ другія изданія въ государствѣ?...

По справедливости слѣдуетъ признать,—и наши читатели это конечно признаютъ,—что нельзя было лучше, полнѣе, откровеннѣе, тверже и мужественнѣе, и въ то же время съ большею вѣжливостію, съ большимъ приличіемъ и достоинствомъ, высказать мнѣніе по такому жгучему вопросу, какъ вопросъ о печати, почти предъ лицомъ власти и особенно при условіяхъ даннаго времени. Повторяемъ: это своего рода гражданскій подвигъ. Нѣтъ сомнѣнія, что это письмо много содѣйствовало къ нѣкоторому облегченію того гнета, который тяготѣлъ надъ Русскою печатью, и къ водворенію нѣсколько большаго простора для мысли и слова,—но, конечно, не въ той мѣрѣ, какой желалъ и какую совѣтовалъ нашъ просвѣщенный писатель. Та перемѣна во внутреннемъ сознаніи, перемѣна въ самомъ воззрѣніи на значеніе печати, перемѣна радикальная, искренняя,—на чемъ особенно настаивалъ Тютчевъ,—была очевидно несбыточна, потому что

могла совершиться не иначе, какъ путемъ органическаго духовнаго перерожденія цѣлой среды, одновременно съ подъемомъ ея умственнаго уровня. Но въ Тютчевѣ, какъ мы уже знаемъ, поэтическая мечта почти всегда переступала, въ своемъ полетѣ, предѣлы текущей исторической ежедневности. Истина, имъ проповѣданная, не только не могла всѣми и во всей своей полнотѣ быть «носима» въ то время, пятнадцать лѣтъ тому назадъ, но не можетъ еще «быть носима и нынѣ», и Тютчеву, въ этомъ отношеніи, готовились горькія разочарованія...

Тѣмъ болѣе чести лицамъ, которыя этого поэта поставили во главѣ Комитета Иностранной Цензуры. Въ то время, какъ Тютчевъ назначенъ былъ предсѣдателемъ Комитета, это учрежденіе состояло еще при Министерствѣ Народнаго Просвѣщенія, и только впослѣдствіи, съ передачей цензуры въ вѣдомство Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, отошло къ этому послѣднему. Тютчевъ замѣнилъ въ Комитетѣ слишкомъ знаменитаго и даже воспѣтаго Пушкинымъ Красовскаго, который, въ качествѣ предсѣдателя, тридцать лѣтъ сряду чудесилъ и куролесилъ въ этой немаловажной, кажется, области управленія... Тридцать лѣтъ почти полновластнаго надъ Русскою и Европейскою литературою бѣснованія этого маньяка, одержимаго свободобоязнью и какою-то гипертрофіею подозрительности, представляютъ, конечно, немалый интересъ для патологической исторіи Русскаго общества, но вмѣстѣ съ тѣмъ и одинъ изъ самыхъ мрачныхъ эпизодовъ въ исторіи Русскаго просвѣщенія. Можно себѣ представить, какимъ воздухомъ, съ назначеніемъ Тютчева, повѣяло отъ того учрежденія, которое Красовскій умѣлъ обратить въ душный и смрадный вертепъ; какъ ожили, какъ обрадовались всѣ, кому были дороги умъ и знаніе,—какъ благодарили они ту власть, которая ввѣрила обязанность предсѣдателя такому европейски-образованному и благородно-мыслящему человѣку, какимъ былъ Тютчевъ. Это было тѣмъ болѣе важно, что предсѣдатель Комитета Иностранной Цензуры, уже по самому званію, имѣлъ право голоса въ совѣщаніяхъ по дѣламъ цензуры отечественной... Около Тютчева сгруппировалось скорѣ въ Комитетѣ нѣсколько молодыхъ людей изъ числа нашихъ литераторовъ, между прочимъ извѣстные поэты Полонскій и

Майковъ. На нихъ лежитъ обязанность почтить благодарною памятью своего бывшаго предсѣдателя-поэта, и обнародовать для свѣдѣнія Русской публики подробныя воспоминанія (на-сколько, или когда это будетъ возможно) объ его служебной дѣятельности въ Комитетѣ, о борьбѣ и столкновеніяхъ, которыя ему приходилось выдерживать... Мы съ своей стороны замѣтимъ только, что эта дѣятельность была для Русскаго просвѣщенія и Русской печати чрезвычайно благотворна въ началѣ, но что положеніе Тютчева измѣнилось нѣсколько къ худшему съ того времени, какъ Комитетъ выбылъ изъ-подъ непосредственнаго начальства Министерства Народнаго Просвѣщенія; что, наконецъ, права предсѣдателя, которыми Тютчевъ пользовался съ полнотою и свободою, приличными чело-вѣку его ума и образованія,—эти права были постепенно суживаемы, а въ послѣдніе годы его жизни сужены и очень значительно. Объясненіе причинъ такого явленія не входитъ въ нашу задачу.

Въ концѣ 1857 года уже поднялась надъ Русскимъ народомъ заря освобожденія отъ крѣпостнаго рабства. О томъ, что Тютчевъ всѣмъ сердцемъ, всѣмъ существомъ своимъ сочувствовалъ съ этимъ величайшимъ дѣломъ нашего вѣка, было бы странно и говорить. Къ сожалѣнію, у насъ нѣтъ въ виду писемъ или вообще полного письменнаго изложенія его мыслей и ощущеній по поводу этого событія; но въ числѣ его стихотвореній есть двѣ небольшія піесы, внушенныя ему — одно еще готовящимся, другое — уже совершившимся преобразованіемъ. Первое было написано еще въ 1857 году, слѣдовательно въ самомъ началѣ толковъ и преній, волновавшихъ тогда всю Россію, и служить какъ бы отвѣтомъ на слышавшіяся со всѣхъ сторонъ опасенія, что уничтоженіе крѣпостнаго права только раздражитъ въ народѣ его дикіе инстинкты и побудитъ его къ мести. Въ этихъ стихахъ сказалась завѣтная вѣра поэта въ христіанскую стихію Русскаго народнаго духа. Онъ понималъ, что громадная историческая неправда не можетъ быть упразднена однимъ внѣшнимъ формальнымъ закономъ, — что разрѣшеніе задачи не исчерпывается точностью регламентовъ и правильностью расчетовъ,—что никакія матеріальныя вознагражденія не въ состояніи были бы возмѣстить, если бы въ самомъ дѣлѣ потре-

бовалась уплата, тѣхъ невещественныхъ потерь и золъ, которыя были неизбѣжнымъ для крестьянства послѣдствіемъ крѣпостныхъ отношеній; что наконецъ главнымъ историческимъ факторомъ, главнымъ мирнымъ рѣшителемъ и свершителемъ всего дѣла долженъ явиться и явится самый духъ народа, духъ той земли, которую всю, по выраженію его же, Тютчева,

Въ рабскомъ видѣ Царь Небесный  
Исходилъ благословляя...

Вотъ эти стихи:

Надъ этой темною толпой  
Непробужденнаго народа,  
Взойдешь ли ты когда, свобода,  
Блеснетъ ли лучъ твой золотой?  
Блеснетъ твой лучъ и оживить,  
И сонъ разгонить, и туманы...  
Но старыя, гнилыя раны,  
Рубцы насилій и обидъ,  
Растлѣныя душъ и пустота,  
Что гложетъ умъ и въ сердцѣ поетъ—  
Кто ихъ излѣчитъ, кто прикроетъ?..  
Ты, риза чистая Христа!..

Самый же великій день *19 Февраля 1861 года* онъ привѣтствовалъ слѣдующимъ четверостишіемъ, обращеннымъ къ настоящему Виновнику преобразованія, Императору Александру II-му:

Ты взялъ свой день... Замѣченный отъ вѣка  
Великою Господней благодатью,—  
Онъ рабскій образъ сдвинулъ съ человѣка  
И возвратилъ семьѣ меньшую братью...

Хотя мы достаточно, кажется намъ, охарактеризовали Тютчева какъ поэта и какъ политическаго мыслителя и писателя; однако же сочли неизлишнимъ коснуться, по возможности, и другихъ, общественныхъ сторонъ его жизни и дѣятельности, насколько онѣ раскрываются намъ изъ письменныхъ свидѣтельствъ, изъ его стиховъ, статей и переписки съ род-

ными и друзьями. Послѣдняя далеко не собрана; она, конечно, могла бы представить, почти день за день, отраженіе нашей общественной исторіи за послѣднія 10—15 лѣтъ, со всѣми ея важными и мелкими чертами, ея сѣрые будни и торжественные—радостные и горестные дни... Но такая полнота чрезмѣрно расширила бы предѣлы нашего очерка и немного бы прибавила къ характеристикѣ Тютчева. Поэтому мы и ограничиваемся самыми крупными или самыми видными событіями политическими и общественными, совершившимися въ теченіи послѣдняго, Петербургскаго періода жизни Тютчева. Указавъ на отношеніе его къ Восточной войнѣ, на значеніе для него, наступившей съ новымъ царствованіемъ, новой исторической эры въ Россіи, на дѣятельное участіе его въ попыткахъ дать болѣшую свободу Русской печати и, на его поэтический откликъ дѣлу освобожденія закрѣпощенныхъ крестьянъ,—послѣдуемъ теперь за нимъ далѣе, въ порядкѣ времени.

Въ 1859 году онъ провелъ лѣто въ чужихъ краяхъ и посѣтилъ Францію, которой давно не видѣлъ: этотъ годъ былъ самымъ блестящимъ годомъ имперіи Наполеона III-го. Война съ Австріей за Италію только-что окончилась, и Франція, въ упоеніи отъ побѣдъ и громкихъ фразъ, еще не сознавала вполнѣ того невыгоднаго, фальшиваго положенія, которое создавалось для нея въ Италіи двусмысленною политикою императора. Хотя Тютчевъ въ то время еще опасался за участь Германіи въ случаѣ ея столкновенія съ Франціей, однако вотъ что онъ между прочимъ писалъ о тогдашнемъ Французскомъ общественномъ строѣ, если не сотворенномъ, то старательно поддержанномъ и взлелѣянномъ самимъ императорскимъ правительствомъ. Еще въ Вильдбадѣ встрѣтилъ онъ одного изъ членовъ Парижскаго общества, состоявшаго въ близкихъ отношеніяхъ съ Наполеоновымъ дворомъ, и могъ по этому лицу и по его рассказамъ достовѣрно судить о новѣйшихъ Французскихъ нравахъ:

«Il est assurément très curieux à entendre sur le chapitre du régime actuel en France, régime qu'il connaît nécessairement en détail et dont il parle avec une bonhomie et une sincérité d'appréciation qui ne laisse que mieux voir le fond des choses... et quel bas-fond que ce fond-là! C'est un ré-

гиме redevenu pour ainsi dire primitif à force de corruption. C'est presque l'état de nature,— comme dans les bains publics en Russie. Et quand on pense qu'une force matérielle aussi écrasante se trouve aux ordres de toute cette dépravation morale et intellectuelle, de tout ce mensonge si brutalement cynique, alors, ma foi, il y a de quoi frémir pour l'avenir du monde...» \*).

Далѣе, изъ Парижа:

«Ah, c'est bien certainement l'enfant terrible de l'Europe que ce charmant et absurde peuple qui vous inspire tous les sentiments possibles, à l'exception d'un seul, celui du *respect*... Je quitterai Paris fort content assurément de l'avoir vu, mais sans le moindre regret. Il y a, et certes ce n'est pas d'aujourd'hui que j'en ai fait l'expérience, il y a dans toute cette engeance française quelque chose qui, après vous avoir amusé, intéressé et momentanément séduit, finit par vous choquer, vous irriter et vous déplaire... Pour supporter à la longue les Français, il faudrait pouvoir toujours les considérer comme des enfants, mais ils sont trop robustes et trop peu candides pour que cette illusion puisse être longtemps maintenue...» \*).

---

\*) ...Его, безъ сомнѣнія, очень интересно послушать о современномъ нравственномъ общественномъ строѣ во Франціи, который ему по необходимости извѣстенъ во всей подробности, и о которомъ онъ разсуждаетъ съ такимъ простодушіемъ и искренностью, что можешь видѣть самую глубь, самое дно всѣхъ этихъ порядковъ, — и какіе же поддопки — это дно! Это нравственный строй, какъ бы возвращенный развратомъ къ степени первобытности. Это почти уже состояніе натуральности какъ въ публичныхъ баняхъ Россіи. И когда подумаешь, что у всего этого нравственного и умственного растлѣнія, у всей этой грубо-цинической жи состоитъ въ распоряженіи такая грозная матеріальная сила... есть отъ чего содрогнуться за будущность міра...

\*) ...Да, безъ сомнѣнія, онъ—бѣдовое дитя Европы, этотъ милый и сумасбродный народъ, способный внушать вамъ всевозможныя чувства, кромѣ одного—уваженія... Я оставлю Парижъ довольный тѣмъ, что я его видѣлъ, но безъ малѣйшаго сожалѣнія. Въ этой Французской породѣ (и, конечно, не съ нынѣшняго только дня я испыталъ это) есть

Зачавшееся въ 1861 г. волненіе въ Царствѣ Польскомъ и въ Сѣвернозападной окраинѣ Россіи, — разрѣшившееся скорѣ открытымъ мятежомъ, при сочувственныхъ кликахъ Европы, — охватило всю душу Тютчева, какъ Русскаго и какъ поэта, и сосредоточило на себѣ его страстное вниманіе. Какъ ни противно было его добродушной природѣ всяческое насиліе, однако Польскій вопросъ былъ для него давно разрѣшенъ въ принципѣ. Онъ высказалъ, какъ мы знаемъ, свое мнѣніе о Польскихъ притязаніяхъ еще за 20 лѣтъ предъ послѣднимъ возстаніемъ, въ 1844 году, въ письмѣ къ редактору Всеобщей Аугсбургской Газеты. Польша, фанатически католическая, примыкающая всѣмъ существомъ своимъ не только вообще къ Европейскому, но въ частности даже къ Романскому міру; Польша, неистово враждебная православію, внѣ котораго немислима Славянская духовная самобытность, — враждебная Россіи, враждебная всѣмъ Славянскимъ племенамъ, даже и неправославнымъ, но сохранившимъ память о своемъ общемъ племенномъ единствѣ; Польша, служащая аванпостомъ Латино - Германскому Западу противъ Славянской Россіи, поборницею его замысловъ противъ цѣлости и самостоятельности Славянства; Польша, предъявляющая притязанія на исконныя Русскія земли, ставящая свое національное дѣло подъ знамя ненавистницы Славянъ — Европы; Польша шляхетная, презирающая крестьянина, — такая Польша казалась Тютчеву отступницею Славянства, измѣнницею своей собственной народности и по мнѣнію его подлежала лишь изверженію изъ Славянской семьи. Не подлежалъ, конечно, этому изверженію самый Польскій народъ, или, какъ выразился Тютчевъ, Польская племенная особенность (*l'originalité de la race polonaise*), — но та «фальшивая Польская національность», которую сочинила Польская шляхта, а въ особенности эмиграція, и которую приняли подъ свое покровительство Папство и Революція, — эта фальшивая на-

---

что-то такое, что, позабавивъ, заинтересовавъ и прельстивъ васъ на минуту, васъ подъ конецъ оскорбляетъ, раздражаетъ и отталкиваетъ. Чтобы переносить долго Фринцузовъ, нужно бы умѣть всегда относиться къ нимъ какъ къ дѣтямъ, но они слишкомъ дюжи, слишкомъ мало-невинны, такъ что подобная иллюзія продержаться долго не можетъ.

ціональність, въ глазахъ Тютчева, была осуждена исторіей на неминуемую гибель. Впрочемъ корифеи Польской національной партіи сами изрекли себѣ смертный приговоръ, предъявивъ Россіи такую дилемму: все или ничего, т. е. или восстановление Польши въ ея древнихъ границахъ, простѣравшихся когда-то до Чернаго Моря съ Києвомъ включительно, или никакой Польши; другими словами: или быть Польшѣ, или быть Россіи. Такая предъявленная Поляками дилемма значительно упростила для Русской общественной совѣсти рѣшеніе вопроса и устранила колебанія свойственныя Росекому благодушію и сострадательности.

Но, конечно, самымъ злымъ, самымъ гибельнымъ ударомъ для Польскихъ затѣй — былъ вызванный Поляками дипломатическій крестовый походъ на Россію всей Западной Европы (кроме Пруссіи), съ разными угрозами и требованіями. Вся Россія изъ конца въ конецъ подвиглась негодованіемъ — и, вмѣстѣ съ блистательнымъ дипломатическимъ отпоромъ Европѣ, поспѣшила покончить и съ притязаніями Польской шляхты. Зная Тютчева, можно себѣ представить, что переживалъ, что испыталъ Тютчевъ въ виду того остревнѣнія, съ какимъ оспаривалось Западомъ и этою шляхтою историческое призваніе Россіи. Вотъ какими стихами характеризуетъ онъ Польское возстаніе и всю эту тревожную эпоху:

Ужасный сонъ отяготѣлъ надъ нами,  
Ужасный, безобразный сонъ:  
Въ крови до пятъ, мы бьемся съ мертвецами,  
Воскресшими для новыхъ похоронъ.

Осьмой ужъ мѣсяцъ длятся эти битвы.  
Геройскій пылъ, предательство и ложь,  
Притонъ разбойничій въ дому молитвы,  
Въ одной рукѣ Распятіе и ножъ...

И цѣлый міръ, какъ опьяненный ложью:  
Всѣ виды зла, всѣ ухищренія зла...  
Нѣтъ, никогда такъ дерзко правду Божью  
Людская кривда къ бою не звала.

И этооъ кличъ сочувствія слѣпago,  
Всемирный кличъ къ нехстойвой борьбѣ,

Развратъ умовъ и искаженъе слова—  
Все поднялось, и все грозитъ тебѣ,

О край родной! Такого ополченъя  
Міръ не видалъ съ первоначальныхъ дней...  
Велико знать, о Русь, твое значенъе,—  
Мужайся, стой, вѣрнись и одолѣй!..

За то немало былъ онъ и утѣшенъ отвѣтными депешами нашего Кабинета. Объ этомъ дипломатическомъ подвигѣ упоминаетъ онъ, между прочимъ, и въ слѣдующихъ стихахъ къ князю Горчакову, написанныхъ, если не ошибаемся, по другому поводу, по поводу грозившихъ Русской печати новыхъ стѣсненій:

Вамъ выпало призванъе роковое.  
Но тотъ, кто призвалъ васъ и соблюдать.  
Все лучшее въ Россіи, все живое  
Глядитъ на васъ, и вѣрить вамъ, и ждать.  
Обманутой, обиженной Россіи  
Вы честь спасли—и выше нѣтъ заслугъ;  
Днесь подвиги вамъ предстоятъ иные:  
Отстояте мысль ея, спасите духъ...

Впрочемъ, въ числѣ стихотвореній Тютчева есть одно, въ семи строчкахъ, писанное, кажется, гораздо ранѣ Польскаго возстанія:

Тогда лишь въ полночь торжествѣ  
Въ Славянской міровой громадѣ  
Строй вождедѣнный водворится,  
Какъ съ Русью Польша помирится.  
А помирится-жъ эти двѣ—  
Не въ Петербургѣ, не въ Москвѣ,  
А въ Кіевѣ и въ Цареградѣ...

Мы узнаемъ въ этихъ стихахъ уже извѣстный намъ и Тютчевымъ съ такою постоянною любовью лелѣянный образъ историческаго будущаго Россіи, или вѣрнѣе всего Православно-Славянскаго міра. Оставляя въ сторонѣ вопросъ о Русской и Славянской будущности, не можемъ не замѣтить, по поводу этихъ стиховъ, что послѣ послѣдняго Польскаго мятежа вы-

ступили въ исторіи новыя событія, способныя и призванныя, кажется намъ (если только умѣть ими воспользоваться), значительно облегчить дѣло искренняго мира между Русью и враждебными ей стихіями Польской народности, — дѣло не одного насильственнаго, но свободнаго соединенія, — забвеніе обидъ, заживленіе ранъ, нанесенныхъ вѣковою борьбою. Мы разумѣемъ: новое положеніе, принятое Римскимъ католицизмомъ съ провозглашеніемъ догмата о папской непогрѣшимости, — смущеніе и расколъ, внесенные этимъ догматомъ въ сознаніе вѣрующихъ католиковъ, — а также новѣйшее политическое переустройство Западной Европы, ослабившее Францію, выдвинувшее на политическую арену міръ Германскій въ грозной политической силѣ и противопоставившее ему міръ Славянскій въ лицѣ Россіи.

Возстаніе Грековъ на древнемъ Критѣ въ 1867 г. и ихъ отчаянное сопротивленіе мусульманской силѣ, ихъ геройскіе подвиги, сочувственный трепетъ, пробѣжавшій по всѣмъ христіанскимъ племенамъ, еще томящимся подъ турецкимъ игомъ, все это волновало Тютчева не менѣе чѣмъ и Польское дѣло. Но въ этомъ его тревожномъ участіи было что-то еще болѣе задушевное; въ его стихахъ и рѣчахъ слышался голосъ давно-наболѣвшаго сердца. Дорогая мечта сго съ давнихъ лѣтъ, чаяніе всей его жизни, сначала громко и смѣло возвѣщаемое, потомъ надолго схороненное въ груди, — однимъ словомъ — пробужденіе Востока было повидимому близко, уже совершалось воочію. Какъ будто милостивою судьбою давалось вѣщему поэту, на самомъ закатѣ лѣтъ, видѣть своими глазами зарю того историческаго дня, который онъ призывалъ всѣми силами души съ самой ранней юности, въ наступленіе котораго не переставалъ вѣрить, но котораго уже не надѣялся дожидаться, — о которомъ, казалось, забыли и думать, въ современной дѣловой суетѣ, новѣйшія поколѣнія:

Опять Востокъ дымится свѣжей кровью,  
Опять рѣзня! Повсюду вой и плачъ,  
И снова правъ пирующій палачъ,  
А жертвы преданы злословью!

такъ писалъ онъ по поводу Кандійскаго возстанія, — такъ зывалъ онъ къ Россіи, напоминая ей объ ея призваніи:

Все гуще мракъ, все пуще горе,  
Все неминуемѣй бѣда...  
Взгляни: чей флагъ тамъ гибнетъ въ морѣ?  
Проснись, теперь—или никогда!..

Къ этой - то эпохѣ принадлежитъ и его стихотвореніе:  
«Молчитъ сомнительно Востокъ».

Состраданіе бѣдствующимъ на Критѣ православнымъ Грекамъ, открыто и прямо высказанное съ высоты Русскаго Престола, заступничество Россіи за христіанскія племена, подвластныя Исламу, выразившееся въ цѣломъ рядѣ депешъ и въ дипломатическомъ обращеніи къ Европѣ,—однимъ словомъ—весь образъ дѣйствій Русскаго Кабинета преисполнилъ Тютчева самою искреннею, радостною благодарностью, излившеюся въ слѣдующихъ стихахъ:

Хотя бъ она сошла съ лица земнаго,  
Въ душѣ царей для правды есть пріютъ:  
Кто не слыхалъ торжественнаго слова?  
Вѣка вѣкамъ его передаютъ!

И что-жь теперь? Увы, что видимъ мы?  
Кто пріютитъ, кто призритъ гостью Божью?  
Ложь, злая ложь, растлила всѣ умы  
И цѣлый міръ сталъ воплощенной ложью!...

.....  
О, этотъ вѣкъ, воспитанный въ крамолахъ,  
Вѣкъ безъ души, съ озлобленнымъ умомъ,  
На площадяхъ, въ палатахъ, на престолахъ,  
Вездѣ онъ правды личнымъ сталъ врагомъ!

Но есть еще одинъ пріютъ державный...

Вотъ что писалъ онъ «по прочтеніи депешъ нашего Кабинета, напечатанныхъ въ Journal de St.-Petersbourg».

Когда свершится искупленіе  
И озарится вновь Востокъ,  
О, какъ поймутъ тогдазначенье,  
Великолѣпныхъ этихъ строкъ!

Какъ первый яркій лучъ денницы  
Коснувшись ихъ воспламенить,  
И эти вѣщія страницы  
Озолотить и освѣтить!

И въ изліяньи чувствъ народныхъ,  
Какъ Божья чистая роса,  
Племень признательно-свободныхъ  
На нихъ затеплится слеза.

На нихъ записана вся повѣсть  
О томъ, что было и что есть:  
Изобличивъ Европы совѣсть,  
Онѣ спасли Россіи честь...

Въ томъ же 1867 году написаны Тютчевымъ и стихи на юбилей князя А. М. Горчакова. Для насъ особенно важна въ нихъ послѣдняя строфа, которая выражаетъ и самого Тютчева, т. е. обычное направленіе его мысли, и показываетъ намъ, чѣмъ онъ особенно дорожилъ въ дѣятельности Русскаго канцлера:

Въ тѣ дни кроваво-роковые,  
Когда, прервавъ борьбу свою,  
Въ ножны вложила мечъ Россія,  
Свой мечъ иззубренный въ бою,—

Онъ волей призванъ былъ державной  
Стоять на стражѣ, и онъ сталъ,  
И бой отважный, бой неравный  
Одинъ съ Европой продолжалъ.

И вотъ, двѣнадцать лѣтъ ужъ длится  
Упорный поединокъ тотъ:  
Иноплеменный міръ дивится,  
Одна лишь Русь его пойметъ:

Онъ первый угадалъ въ чемъ дѣло,  
И имъ впервые Русскій духъ  
Союзной силой признанъ смѣло,  
И вотъ вѣнецъ его заслугъ.

Въ этихъ стихахъ, написанныхъ въ 1867 году, подразу-

мѣваются между прочимъ дипломатическія побѣды нашего Кабинета, которыя были одержаны именно потому, что Русская политика рѣшилась открыто и смѣло опереться на общественное мнѣніе Россіи, что было въ то время новостью или забытою бывальщиною, и чѣмъ по преимуществу было ознаменовано уже минувшее двѣнадцатилѣтіе воспѣтое Тютчевымъ.

Мы считаемъ неизлишнимъ упомянуть кстати и о стихахъ Тютчева по случаю другаго юбилея — Карамзина. Они достойны примѣчанія по той мысли, которая слышится и чувствуется въ самой похвалѣ Карамзину, и которую выразить, по мнѣнію Тютчева, особенно было полезно въ тѣ годы, въ отпоръ разнымъ страннымъ понятіямъ, господствовавшимъ въ нѣкоторыхъ высшихъ сферахъ Петербургскаго общества. Въ этихъ сферахъ «гуманное», или «человѣческое» приурочивалось только къ европеизму и казалось несовмѣстнымъ съ Русскимъ народнымъ чувствомъ, такъ что одно исключало другое: по убѣжденію этихъ представителей Россіи, Русское чувство должно было быть всегда приносимо въ жертву принципу общечеловѣчности, разумѣмому, конечно, сквозь призму Европейской (т. е. Французской, Нѣмецкой или Англійской) оцѣнки. Точно также, въ извращенномъ сознаніи этихъ высшихъ общественныхъ круговъ, интересы власти, какимъ-то особеннымъ процессомъ мышленія, отдѣлялись отъ интересовъ Русской земли, и не только отдѣлялись, но даже перевѣшивали ихъ, въ случаѣ ихъ взаимнаго противорѣчія. На эти-то странныя понятія нашихъ высокопоставленныхъ европеистовъ, переходившія даже и въ область практики, напримѣръ по Польскому и Балтійскому вопросамъ, и намекаетъ Тютчевъ въ своихъ стихахъ «на юбилей Карамзина», изъ которыхъ мы приводимъ нѣсколько строфъ:

Какой пошлемъ тебѣ привѣтъ —  
Тебѣ, нашъ добрый, чистый геній,  
Средь колебаній и сомнѣній  
Многотревожныхъ этихъ лѣтъ?

При этой смѣси безобразной  
Безсильной правды, дерзкой лжи —

Такъ ненавистной для души  
Высокой и ко благу страстной...

Мы скажемъ: будь намъ путевой,  
Будь вдохновительной звѣздой;  
Свѣти въ нашъ сумракъ роковой,  
Духъ цѣломудренно-свободный,

Умѣвшій все совокупить  
Въ ненарушимомъ, полномъ строѣ,  
Все человѣчески-благое,  
И Русскимъ чувствомъ закрѣпить,—

Умѣвшій, не сгибая выи  
Предъ обаяніемъ вѣнца,  
Царю быть другомъ до конца  
И вѣроподаннымъ—Россіи...

Приведенные нами стихи и выписки изъ писемъ, кажется, достаточно характеризуютъ общественное значеніе Тютчева, особенно въ послѣднія пятнадцать-двадцать лѣтъ его жизни. Онъ ревниво сторожилъ интересы Русской народности, преимущественно въ области внѣшней политики, ближе ему знакомой; онъ живо чувствовалъ всякій ущербъ наносимый не только Русской чести, но и Русской исторической, народной правдѣ; онъ откликался на всякую общественную Русскую скорбь и радость; онъ указывалъ настоящую Русскую точку зрѣнія на современныя событія міра, и между тѣмъ какъ всюду разлеталось, переносясь изъ устъ въ уста, его мѣткое, острое изреченіе, воплощавшее иногда въ двухъ-трехъ словахъ, въ художественной метафорѣ, цѣлый новый кругозоръ мысли и всю полноту сужденія о данномъ предметѣ, — онъ и самъ нерѣдко пытался, въ долгихъ бесѣдахъ и подчасъ запальчивыхъ спорахъ, разъяснять Петербургской свѣтской средѣ истинный взглядъ на призваніе и обязанности Россіи. Но если большею частью тщетны были его усилія въ отношеніи къ свѣтской средѣ, — въ которой тѣмъ не менѣе онъ былъ какъ бы будильникомъ народной мысли и совѣсти, — его мнѣнія цѣнились въ кругу дипломатовъ, какъ можно заключать по статьѣ о Тютчевѣ, напечатанной въ *Journal de St.-Petersbourg*. Вотъ что между прочимъ говоритъ эта

небольшая статья, неизвѣстно кѣмъ написанная, но въ которой каждое слово обличаетъ и высокій умъ, и привычную, искусную руку мастера (она появилась черезъ нѣсколько дней послѣ кончины Тютчева):

Что въ особенности отличало Федора Ивановича, это не только его умъ, но и пламенное сердце—истинный двигатель всей его дѣятельности. Онъ вносилъ въ самыя серьезныя дѣла жизни, даже въ холодную область политики, горячій потокъ струившійся изъ сердца, подобный теплымъ теченіямъ голъфстрѣма, отъ которыхъ таютъ льдины крайняго Сѣвера, разливается тепло и жизнь. Вотъ что даетъ ему такое видное мѣсто между его современниками и чѣмъ опредѣляется то громадное вліяніе, которымъ онъ пользовался до послѣднихъ своихъ дней... Чувство, въ которомъ сосредоточивалась (*se résu-mait*) вся его душа, вся его природа умственная и нравственная,—это его патріотизмъ, его вѣра безграничная въ будущее Россіи, въ ея судьбы, въ ея миссію историческую и провиденціальную. Этотъ патріотизмъ, простирая свои корни до самаго дна народной жизни и просвѣщаясь извнѣ самою космополитическою культурою, составлялъ одну изъ главныхъ прелестей и одно изъ серьезнѣйшихъ достоинствъ покойнаго... \*)

Намъ нѣтъ надобности слѣдовать за Тютчевымъ далѣе, сквозь рядъ событій наставшихъ съ 1866 года, — событій необычайной важности, которыя возникали и совершались одно за другимъ предъ страстно-жадными взорами поэта, до самыхъ крайнихъ дней его жизни, и на которыя на всѣ откликнулся онъ и мыслью, и чувствомъ, и прозою, и стихами; нѣтъ надобности потому, что мы уже рассказали въ своемъ мѣстѣ, въ другихъ отдѣлахъ, болѣе или менѣе подробно, его отношеніе ко всѣмъ этимъ историческимъ вопросамъ и явленіямъ. Мы разумѣемъ здѣсь: Славянской стѣзды въ Россіи и вопросъ Славянской; военныя побѣды и возвеличеніе Пруссіи, вмѣстѣ съ политическимъ исключеніемъ Австріи изъ Германіи; созваніе вселенскаго собора въ Римѣ, провозглашеніе догмата о папской непогрѣшимости и возникновеніе раскола въ Католической Церкви во образѣ старо-католиковъ; войну Германіи съ Франціей, паденіе Наполеоновой Имперіи, созданіе новой Имперіи Германской, возвращеніе себѣ Рос-

---

\*) См. эту статью въ приложеніи.

сією Чорнаго моря, неистовства коммуну во Франції, пожаръ Парижа, занятіе Рима королемъ Італіи, фактическое уничтоженіе свѣтской власти папы, борьбу протестантскаго Германскаго міра, вѣнчавшагося императорскою короною, съ Римско-Католическою Церковью, и возрастающую силу раціонализма... Всѣ эти событія отразились въ сознаніи Тютчева не только своими крупными очертаніями и окончательными выводами, но по мѣрѣ того какъ творились, во всей дробности своего ожедневнаго процесса, со всею своею мелочною и случайною, будничною обстановкою, которая,—не застилая для Тютчева ихъ міроваго значенія,—тѣмъ не менѣе и сама по себѣ привлекала его сочувствіе и вниманіе. Онъ ни на минуту не переставалъ быть участникомъ и общникомъ *текущаго* историческаго дня. Вопросъ о конечныхъ судьбахъ Европейской цивилизаціи, и посѣщеніе Константинополя императрицею Евгеніею,—последнее слово Германской философіи, и пожалованіе султану Англіійскою королевою ордена Подвязки,—антагонизмъ двухъ просвѣтительныхъ духовныхъ началъ, западнаго и восточнаго, и забаллотированіе въ Русской Академіи Наукъ Русскихъ ученыхъ съ народнымъ направленіемъ въ наукѣ,—на всѣ многосложные, разнообразные интересы современной ему эпохи, общіе и частные, всемірные и мѣстные, — на все отзывался и отзывался этотъ не оскудѣвавшій ни мыслію, ни словомъ, не старившійся съ годами, никогда не повторявшійся, всегда одинаково привлекательный, но всегда своеобразный, сильный, острый, поэтический умъ \*).

\*) По поводу путешествія императрицы Евгеніи было написано Тютчевымъ прекрасное стихотвореніе, напечатанное въ «Голосѣ»: «Флаги вѣютъ на Босфорѣ». Пожалованіе королевою ордена Подвязки султану внушило, безъ сомнѣнія ему же, слѣдующее Французское четверостишіе, ходившее въ то время по рукамъ въ высшемъ общественномъ кругу, анонимное:

Lorsqu'un noble prince, en ces jours de démence,  
Décora de sa main le bourreau des chrétiens,—  
Pourrait-on dire encore, ainsi qu'aux temps anciens:  
«Honny soit qui mal y pense?»

Поступокъ Академіи, отказавшей въ избраніи, т. е. забаллотировавшей

Прекрасно и вѣрно выразился о Тютчевѣ князь Вяземскій въ слѣдующихъ строкахъ одного своего частнаго письма:

Бѣдный Тютчевъ! Кажется, ему ли умирать? Онъ пользовался и наслаждался жизнью и въ высшей степени даннымъ отъ Провидѣнія чело-  
вѣку даромъ слова. Онъ незамѣнимъ въ нашемъ обществѣ. Когда бы не бояться изысканности, то можно сказать о немъ, что если онъ и не златоустъ, то жемчужноустъ. Какую драгоценную нить можно на-  
низать изъ словъ, какъ бы безсознательно спадавшихъ съ языка его! Надо составить по нимъ Тютчевіану, прелестную, свѣжую, живую, современную антологию. Малѣйшее событіе, при немъ совершившееся,

нашего извѣстнаго, теперь уже покойнаго, ученаго А. Ѳ. Гильфердинга, послужилъ поводомъ къ слѣдующему посланію Тютчева на имя Гильфердинга:

Спѣшу поздравить съ неудачей:  
Она—блестательный успѣхъ,  
Для васъ почетна наипаче  
И назидательна для всѣхъ.  
Что Русскимъ словомъ, столько лѣтъ,  
Вы славно служите Россіи,  
Про это знаетъ цѣлый свѣтъ—  
Не знаютъ Нѣмцы лишь родные...  
Ахъ нѣтъ, то знаютъ и они.  
И что въ Славянскомъ вражьемъ мірѣ  
Вы совершили,—вы одни,—  
Все вѣдають, et inde igitur..  
Во всемъ обширномъ этомъ краѣ  
Они встрѣчали васъ не разъ,  
Въ Балканахъ, Чехахъ, на Дунаѣ,  
Вездѣ, вездѣ встрѣчали васъ.  
И какъ же мотъ бы безъ измѣны,  
Высокодоблестный досель,  
Въ академическія стѣны,  
Въ завѣтную ихъ цитадель,  
Казною Русскою содержимый  
Для этихъ славныхъ оборонъ,—  
Васъ, васъ впустить—непобѣдимый,  
Нѣмецкій храбрый гарнизонъ?

17 Дек. 1869.

каждое лице, мелькнувшее предъ нимъ, иллюстрированы и отчеканены его яркимъ и мѣткимъ словомъ...

Можетъ-быть когда-нибудь и удастся составить такую Тютчевіану. Было бы желательно, чтобы всякій, знавшій Тютчева лично, занесъ на бумагу все слышанное отъ него, — но почти не можетъ быть и сомнѣнія, что во всѣхъ современныхъ мемуарахъ или запискахъ, которыя конечно ведутся многими, уже удѣлено мѣсто воспоминаніямъ о Тютчевѣ и его острымъ и мѣткимъ словамъ. Намъ случалось встрѣчать и въ статьяхъ иностранцевъ о Россіи многіе его отзывы и mots. Какъ замѣчаетъ князь Вяземскій, такая Тютчевіана была бы не простымъ сборникомъ остроумныхъ выраженій, а иллюстраціей современной исторіи и современнаго общества; но мы скажемъ болѣе: она была бы не только иллюстраціей, но художественною критикою, — судомъ, шутивымъ по формѣ, но почти всегда серьезнымъ и строгимъ по своему содержанію. Иное мѣткое слово Тютчева, повторяемъ, скрывало въ себѣ какъ въ зернѣ — цѣлое стройное міросозерцаніе, какъ будто вставляло новыя очки, освѣщало внезапно сокровенную основу предмета. Мало того: если собрать вмѣстѣ всѣ его изреченія и замѣтки, то нельзя будетъ не признать въ нихъ общаго, кореннаго единства мысли. Не то, чтобъ они были тенденціозны и односторонни, — напротивъ; но, свидѣтельствуя о высшемъ, европейски-просвѣщенномъ умѣ автора, о широтѣ и свободѣ его взглядовъ, они въ то же время раскрываютъ одну общую точку зрѣнія, на которую стать могъ онъ только какъ Русскій, и съ которой виднѣе чѣмъ съ какой-либо другой представлялась ему сущность современныхъ явленій.

Но собрать всѣ замѣчательныя «слова» Тютчева нѣтъ, разумѣется, никакой возможности, какъ потому, что эти устные, пускаемые на воздухъ произведенія никогда не удерживались въ его собственной памяти и имъ не повторялись, такъ и потому, что онъ лично не дорожилъ ими, не приберегалъ ихъ для избранныхъ слушателей, а расточалъ ихъ вездѣ и всюду, когда и какъ придется. Само собою разумѣется: гдѣ обмѣнъ мыслей былъ свободнѣе, гдѣ вся окружающая обстановка воодушевляла его сочувствіемъ, или раздражала его нервы, тамъ сильнѣе оживлялось его слово, и оживленное

ярче и чаще сверкало блескомъ поэзіи и остроумія. Но онъ не пренебрегалъ, какъ уже было не разъ сказано, ничьей бесѣдой, въ какихъ бы общественныхъ слояхъ она ни происходила: ни погода, ни соображенія гигиеническія не въ силахъ были удержать его дома и помѣшать ему явиться тамъ, гдѣ представлялся ему какой-либо живой интересъ для его мысли или для его души. Кругъ его знакомыхъ не суживался съ лѣтами, а постоянно расширялся, безъ различія возрастовъ, партій и общественныхъ положеній. Съ каждымъ годомъ Тютчевъ становился популярнѣе въ Петербургѣ: — вездѣ, несмотря на разность направленій, онъ былъ самымъ дорогимъ и сочувственнымъ гостемъ, какъ среди чиновныхъ стариковъ, въ великосвѣтскомъ салонѣ, такъ и въ кругу трудящейся и пишущей молодежи, и вездѣ вносилъ своимъ присутствіемъ свѣтъ и свѣжесть безусловно-свободной, всегда оригинальной, широкой мысли. Справедливо также выразился о Тютчевѣ авторъ некролога, помѣщеннаго въ «Русской Старинѣ» \*), что онъ «обладалъ рѣдкою, можно такъ сказать, *любезностью сердца*, состоявшею не въ соблюденіи свѣтскихъ приличій (которыхъ онъ никогда и не нарушалъ), но въ *деликатномъ человѣческомъ вниманіи* къ личному достоинству каждаго, къ его праву участвовать въ общемъ общеніи мнѣній и убѣжденій, къ его свободѣ».

Шли годы, наступали недуги старости, подагрическіе припадки чаще и чаще перечили страсти и привычкѣ Тютчева къ подвижности, къ ежедневнымъ, неоднократнымъ, пѣшимъ прогулкамъ на вольномъ воздухѣ; подступи измѣняла прежняя упругость и твердость; дрожали пишущія руки. Но, кромѣ этихъ внѣшнихъ примѣтъ, Тютчевъ казался какъ бы непричастнымъ условіямъ и дѣйствию возраста: до такой степени не было ничего старческаго ни въ его умѣ, ни въ духѣ, ничего развѣ навсегда заведеннаго, отвердѣвшаго въ складкахъ и изгибахъ его мысли и его души; никакихъ предвзятыхъ съ молодости и по самой своей давности ставшихъ «любезными сердцу» воззрѣній; никакихъ сжившихся съ человѣкомъ, освященныхъ годами, предубѣжденій и предразсудковъ. То не былъ «маститый, величавый, почтенный старецъ»: такихъ

---

\*) 1873 г. № 7. Статья А. И. Никитенна.

эпитетовъ не рѣшился бы приложить къ нему ни одинъ изъ самыхъ рьяныхъ его хвалителей, инстинктивно чувствуя, какъ неумѣстны они въ отношеніи къ Тютчеву, какъ претили ему всякіе внѣшніе знаки почтительности и предупредительнаго вниманія. Но то не былъ и «молодащійся старикъ»; не было въ немъ ни того, что называютъ Французы *une verte vieillesse*, ни крѣпкой старости, ни старости съ «вѣчно-юнымъ сердцемъ», чего-то въ родѣ стариковскаго лица съ рововымъ на щекахъ румянцемъ. По наружности Тютчевъ казался даже дряхлѣе чѣмъ былъ на самомъ дѣлѣ; «вѣчно же юнаго», т. е. чего-то вѣчно-наивнаго, «вѣчно-прекраснодушнаго», пылко-опрометчиваго — не было въ Тютчевѣ и въ самой ранней его молодости, потому что съ самой ранней своей молодости онъ отличался замѣчательною, преждевременною зрѣlostью ума и серьезнымъ мышленіемъ. Необыкновенная страстность сердца и быстрая воспламенимость поэтическаго творчества были въ немъ не принадлежностью возраста и приличнаго юности жара, а независящими отъ лѣтъ свойствами самой его нравственной природы, чуждыми всякаго *юношескаго* закала. Какъ не было никогда и прежде отпечатка юности, такъ не было потомъ и отпечатка старости на его внутреннемъ, духовномъ существѣ. Въ разговорахъ съ этимъ сѣдовласымъ или почти безвласымъ, нерѣдко хворымъ, чуть не семидесятилѣтнимъ старикомъ, почти всегда забнувшимъ и согрѣвавшимъ спину пледомъ, не помнилось объ его лѣтахъ, и никто никогда не относился къ нему какъ къ старику. Выдающеюся, преобладающею стихіей въ Тютчевѣ была *мысль*, — а мысль, по самому существу своему, не то что вѣчно юна, но вѣчно зрѣла или точнѣе сказать не вѣдаетъ возраста. Конечно, и мысль въ человѣкѣ бываетъ заклеимена его индивидуальными особенностями или, вѣрнѣе, ограничена, задержана въ своей дѣятельности вслѣдствіе старости и разныхъ иныхъ личныхъ, нравственныхъ условій. Многіе гениальные мыслители, обогативъ умственный капиталъ человѣчества своими соображеніями, обращались потомъ, *отмысливъ*, въ живыя кладовыя своихъ собственныхъ, однажды высказанныхъ и оформленныхъ мыслей: они удовлетворялись своимъ собственнымъ, однажды навсегда сложеннымъ міросозерданіемъ, — имъ казалось, что на всѣ вопросы дали они себѣ отвѣты, всѣмъ за-

дачамъ прискакали разрѣшеніе; въ горделивомъ самообольщеніи вкушали они самодовольный покой и, съ вершинъ своей человѣческой мудрости, глядѣли и величались Зевсами-олимпийцами.

Ничего подобнаго не было въ Тютчевѣ. Напомнимъ еще разъ, что всякое самодовольство было противно его природѣ, и что онъ не только никогда не зналъ пресыщенія, но и сытости, никогда не давала ему никакая умственная трапеза. Это былъ пламень, мгновенно пожиравшій всякое встрѣчавшееся ему и имъ самимъ творимое явленіе мысли, и непрерывно вновь самъ изъ себя возгаравшійся. Не можемъ не повторить здѣсь его собственныхъ стиховъ:

О Небо! если бы хоть разъ  
Сей пламень разлился по волѣ,  
И не томясь, не мучась долѣ,  
Я просіялъ бы и—погасъ!

Вотъ къ этому-то «развитію по волѣ» и порывался постоянно его пламенѣющій духъ: могъ ли онъ когда-либо счастливо успокоиться и, самодовольно просіявъ, пребывать просіяннымъ и самоублажаться?...

Обо всемъ этомъ мы уже говорили и прежде, и полагаемъ, что, ознакомясь съ политическими и историческими взглядами Тютчева, читатели подтвердятъ и сами вѣрность сдѣланной нами, въ началѣ очерка, его нравственной характеристики; но тѣмъ не менѣе, нѣкоторыя дополнительныя черты окажутся, можетъ-быть, нелишними...

Никогда и нигдѣ не переставали предноситься предъ Тютчевымъ идея и образъ безконечности; его душѣ были сочувственны и близки всѣ нравственные идеалы христіанства. Его умъ, какъ мы знаемъ, не только не отвергалъ, но всегда признавалъ и ограниченность человѣческаго я, и недостижимую умомъ истину вѣры. Но какъ и гдѣ положить, внѣшнимъ образомъ, предѣлы этой ограниченности? Какъ обозначить край познаванію истины? Какъ удержать пылкость бдящаго духа? Не то, чтобы Тютчеву приходилось смирять кичливость или гордость разума и «плѣнять его въ послушаніе вѣры»: онъ слишкомъ живо чувствовалъ его недостаточность и томился этою недостаточностью. Но онъ не могъ ни загасить,

ни ослабить сжигавшаго его пламени, ни смирить тревожных запросовъ мысли, — онъ не могъ удовлетвориться дешевой сдѣлкой между постигаемымъ и непостижимымъ и, добровольно зажмурясь, даже не заглядывая по ту сторону, наслаждаться умѣренно и съ комфортомъ умственной дѣятельностью въ болѣе тѣсныхъ и скромныхъ рамкахъ. Человѣку, въ которомъ живо сознаніе высшей, надземной, сверхъестественной истины, уже невозможно, *внѣ ея*, обрѣсти то Олимпійское спокойствіе, то равновѣсіе духа, которымъ красовались нѣкоторые знаменитые мужи даже новѣйшихъ временъ, въ своей, нѣсколько-языческой мудрости. Такого зрѣлища довольной мудрости и мирно-величавой старости не представляла старость Тютчева.

Но не суждено было ему обрѣсти и того мира, который если и дается инымъ, то дается лишь *дѣйствіемъ* вѣры, — не однимъ теоретическимъ признаніемъ ея истины; той мудрости, которая создается не отвлеченными только соображеніями разума, и не порывами только христіанскаго упованія, а равномѣрнымъ, соотвѣтственнымъ развитіемъ и дѣятельностью въ человѣкѣ всѣхъ его нравственныхъ силъ... Такого равномѣрнаго развитія въ Тютчевѣ не было, а потому не могло быть и внутренняго, дающаго миръ, равновѣсія. Его «пламень» не былъ въ немъ тѣмъ свѣтлымъ «горѣніемъ духа», къ которому призываютъ людей учителя христіанства; онъ палилъ и жегъ его самого, не согрѣвая его души, постоянно алкалъ новой пищи, и быстро испепеливъ все мыслимое, имъ охваченное, обрѣтался снова въ пустотѣ... Потому что эта пустота въ человѣкѣ, если не христіанскихъ вѣрованій, то христіанскихъ убѣжденій, какимъ былъ несомнѣнно Тютчевъ, могла быть наполнена лишь однимъ высшимъ содержаніемъ — *дѣятельностью*, — дѣятельностью не одной мысли, но и другихъ нравственныхъ сторонъ духа. Умъ Тютчева парилъ въ даль и въ высь, въ самыхъ отвлеченныхъ областяхъ мышленія, — а самъ онъ, будто свинцовыми гирами, прикованъ былъ, какъ любятъ выражаться поэты, долѣ: немощью воли, страстями, избалованностью — ненавистницею работы и усилія. Мыслитель дѣятельный и серьезный, онъ велъ жизнь, если взглянуть на нее съ внѣшней ея стороны, почти праздную, чуждую и дѣла, и плана, и цѣли; при его необыкновенныхъ

талантахъ, онъ далъ неизчислимо менѣе чѣмъ, казалось, способенъ былъ произвести; возвышенный строй его думъ не общался его душевному строю; крѣпость умозрительныхъ выводовъ не давала крѣпости духу; ему недоставало *труда*, постоянного занятія, *Beschäftigung*, какъ говоритъ Шиллеръ,

... die nie ermattet,

Die langsam schafft und nie zerstört \*).

Баронъ Пфеффель заканчиваетъ свою статью о Тютчевѣ такими словами:

...«Такъ говорилъ этотъ человѣкъ, рожденный для размышленія, для кабинетнаго труда, и котораго жизнь, по странному противорѣчію судьбы, почти около пятидесяти лѣтъ протекла—въ гостиницъ! Родись и живи онъ во Франціи, онъ безъ сомнѣнія оставилъ бы по себѣ памятники, которые бы увѣковѣчили его имя. Родясь и живя въ Россіи, не имѣя другой аудиторіи, кромѣ общества, отличающагося скорѣе любопытствомъ, чѣмъ познаніями, онъ разсѣялъ на вѣтеръ, въ разговорахъ, сокровища своего ума и мудрости, еще быстрѣе забытыя, чѣмъ распространенныя \*\*).

Въ этихъ словахъ, конечно, много правды; но мы не можемъ не оговориться и не напомнить, что Тютчевъ, доятаго десятка лѣтъ, 22 года прожилъ не въ Русскомъ обществѣ, а въ Германіи и вообще за границей, и хотя много обязанъ Западной Европѣ воздѣланностью своего ума и вкуса, однако, по свидѣтельству всѣхъ его знавшихъ, даже и въ Германіи не показывалъ расположенія къ усидчивому труду. По возвращеніи же его въ Россію, условія для умственной

---

\*) ... Трудъ, который никогда не расслабляетъ, медленно творить и никогда не разрушаетъ.

\*\*) ...Ainsi parlait cet homme né pour la méditation, pour le travail du cabinet et dont la vie, par une singulière contradiction du sort, s'est écoulée pendant près de cinquante ans dans les salons. Né et vivant en France, il aurait sans nul doute laissé après lui des monuments qui eussent perpétué sa mémoire. Né et vivant en Russie, ayant pour unique auditoire une société plus curieuse qu'instruite, il a jeté aux quatre vents de la conversation des trésors d'esprit et de sagesse encore plus vite oubliés que répandus...

дѣятельности были для него, безъ всякаго сомнѣнія, уже совершенно неблагоприятны, по недостатку не только сочувственной, но даже и понимающей среды; но не въ этихъ только условіяхъ, а въ условіяхъ отчасти личной природы Тютчева, и главное—въ условіяхъ историческаго и бытоваго строя, даваго ему *первоначальное* воспитаніе, слѣдуетъ искать причину той сравнительно-скудной производительности, которую проявили на землѣ его богатые таланты. Въ этомъ отношеніи замѣчаніе Пфеффеля оказывается вполнѣ вѣрнымъ. Старый дворянскій бытъ, т. е. *обезпеченность*, порождаяшая *безмечность*, которую давало крѣпостное право,—въ особенности же слабость народнаго самосознанія, и вслѣдствіе того отсутствіе всякой духовной самобытности въ просвѣщеніи и умственномъ развитіи общества—все это не только не вырабатывало въ Русскихъ людяхъ способности къ настойчивому, послѣдовательному труду, къ строгому и самостоятельному мышленію, къ духовной инициативѣ, но тяготѣло камнемъ надъ всякимъ даровитымъ умомъ, надъ всякимъ благороднымъ порывомъ воли. Отъ вреднаго воздѣйствія этихъ условій каждому таланту приходилось избавляться уже собственными средствами и усиліями,—перевоспитываться съизнова, самому обрѣтать или созидать себѣ твердое духовное основаніе, твердый и большею частью *одинокій*, умственный и нравственный Standpunkt, какъ выражаются Нѣмцы. Въ такой трудной работѣ пропадало, конечно, не мало времени и растеривалось много, много силъ.

Но здѣсь-то и обнаруживается, какъ великъ и важенъ былъ подвигъ нѣкоторыхъ нашихъ поэтовъ и дѣателей мысли. Если съ одной стороны справедливы слова Пфеффеля о вредномъ влияніи на Тютчева Русской общественности, то съ другой стороны—совершенно невѣренъ его выводъ о значеніи того дѣла, которое дѣлалъ Тютчевъ... Дѣйствительно Тютчевъ велъ жизнь, по видимому, совершенно-пустую и праздную,—но умъ его никогда не былъ празденъ, никогда не переставалъ мыслить. Пусть другія стороны его духа не получили въ немъ должнаго развитія, пусть воля его была немошна, и эта немошь, вмѣстѣ съ другими его нравственными недостатками, служила ему самому казнью, лишала его внутренняго равновѣсія и мира,—но тѣмъ не менѣе онъ

не только не зарылъ въ землю данный ему отъ Бога талантъ, не только не угасилъ свѣтъ ума, зажженный въ немъ природою, но не переставалъ свѣтить и пламенѣть мыслью до истощенія силъ. Если, по словамъ одного писателя, *жить* — значить *бодрствовать*, то Тютчевъ исполнилъ назначеніе жизни, по крайней мѣрѣ относительно мыслительной силы своего духа: онъ бодрствовалъ мыслью до самой кончины, безъ ослабленія, безъ упадка. Не одно же внѣшнее дѣланіе должно почитаться трудомъ, но и самое мышленіе человѣческое, и мы въ правѣ сказать про Тютчева, что онъ, въ этомъ смыслѣ, потрудился и много, и добрымъ трудомъ. Не можетъ же Русское общество не признать съ благодарностью той высокой заслуги, какую оказалъ онъ Русскому народному сознанію самою дѣятельностью мышленія и разъясненіемъ многихъ сокровенныхъ сторонъ духовной исторической Русской стихіи. Не можетъ Россія не почитать этого подвига умственной самостоятельности и безпредѣльной любви къ родной землѣ, который сохранилъ и выработалъ въ немъ Русскаго мыслителя, Русскаго поэта, Русскаго человѣка душою и сердцемъ; который поборолъ всѣ невзгоды, всѣ препятствія, всѣ преграды, поставленныя Тютчеву воспитаніемъ, разлукою, всею обстановкою юныхъ и зрѣлыхъ лѣтъ. Не можетъ не быть вѣнено и въ великую *нравственную* заслугу такое служеніе духу на пространствѣ всей долгой жизни, вопреки всѣмъ соблазнамъ, влеченіямъ и вслѣдствіямъ противодѣйствіямъ со стороны внѣшнихъ и даже внутреннихъ, психическихъ условій его собственнаго бытія. Не можетъ остаться безъ оцѣнки и воздаянія и то смиренное отношеніе къ своимъ талантамъ и къ себѣ самому, которымъ запечатлѣно все существованіе этого богато-одареннаго человѣка и которое, хотя и является въ немъ какъ бы простымъ свойствомъ его природы, однакоже, проходя *незамѣнно* сквозь всю семидесятилѣтнюю жизнь, dorастаетъ до значенія истиннаго *жизненнаго* подвига...

Въ виду этихъ заслугъ и достоинствъ, въ виду этого подвига мысли и жизни, блѣднѣютъ и мельчаютъ, разумѣется, черты его внѣшняго образа, частности и подробности его житейскаго дѣла, къ которымъ мы все-таки, по долгу биографа, считаемъ себя обязанными возвратиться. Говоря о

Тютчевъ какъ о старикѣ, мы объяснили, что преклонность лѣтъ сказывалась въ немъ только наружно, физически, но что онъ не походилъ ни на маститаго старца, ни на молодящагося старика; что не было въ немъ ни важности подобающей лѣтамъ, ни величавой тишины и гармоніи духа, которую даетъ мудрость языческая, ни мира и просвѣтлѣнія мудрости христіанской. Въ немъ было бы напрасно искать чего либо «назидательнаго»;—его непосѣдливость, его скитаніе изъ дома въ домъ, тревожные поиски за новыми впечатлѣніями и интересами, могли даже многимъ казаться несовмѣстными съ достоинствомъ его «сѣдинъ», его лѣтъ и т. д.; но его разговоръ давалъ столько высокаго умственного наслажденія, его мысль проливала всегда столько свѣта, была всегда такъ нестарчески-свѣжа и при томъ такъ трезва и серьезна въ своемъ существѣ, такъ духовно-изящна въ своей формѣ, что въ бесѣдѣ съ Тютчевымъ все забывалось, и никому и въ голову не приходило соображеніе объ его возрастѣ... Но въ этомъ-то самомъ, въ возможности такого забвенія въ виду его «сѣдинъ» и состояла немалая назидательность. Опытъ долгой жизни, многолѣтняя дума, огромный накопившійся запасъ знанія — все это, безъ сомнѣнія, чувствовалось и слышалось собесѣдниками Тютчева въ его каждой рѣчи; но оно не выступало у Тютчева какъ нѣчто дающее право на почетъ и авторитетъ, какъ «украшеніе старости» и «наученіе для юности». И это не потому, чтобы Тютчевъ скромничалъ или же умѣлъ выставлять свое достоинство въ мѣру, настолько, сколько нужно, чтобы съ одной стороны внушать къ себѣ уваженіе и расположеніе молодежи, а съ другой — не смущать ее обиднымъ для нея превосходствомъ. Въ отношеніяхъ Тютчева къ молодымъ людямъ вовсе не было того умнаго и великодушнаго расчета, какимъ любятъ иногда щеголять «старцы»; никакого сознательнаго умѣнья и никакого *ligne de conduite*: это были отношенія, самыя свободныя и простыя, того искренняго сердечнаго благоволенія къ людямъ, которое не знаетъ неравенства лѣтъ, того полноправнаго умственного общенія, при которомъ ни старшій годами не отрицался своего опыта, а лишь повѣрялъ его на новыхъ явленіяхъ жизни,—ни младшему не впадало на мысль чваниться молодостью и потому

воображать себя болѣе передовымъ, чѣмъ его немолодой собесѣдникъ. Никому нельзя было смотрѣть на Тютчева не только какъ на отсталого, но даже какъ на усиливающагося не отстать; напротивъ, онъ былъ постоянно и естественно современенъ, и даже упреждалъ мыслью время, отводя всѣмъ явленіямъ текущей дѣйствительности законное мѣсто въ общемъ историческомъ строѣ, находя имъ всѣмъ историческое объясненіе и оправданіе. Ничто не раздражало въ такой степени сверстниковъ Тютчева по лѣтамъ, какъ его живое сочувствіе со всѣмъ прогрессивнымъ движеніемъ жизни, — какъ отсутствіе въ немъ той замкнутости и законченности, послѣ которой человекъ уже перестаетъ идти самъ впередъ и богатѣть мыслью, а повторяетъ задъ, живетъ лишь воспоминаніями и процентами съ выработаннаго умственного капитала, — въ родѣ какого-нибудь *gentier*, который, съ наступленіемъ почтенныхъ годовъ, отказавшись отъ обогатившихъ его нѣкогда тревожныхъ спекуляцій и побранивая спекуляторовъ юныхъ, вкушаетъ, сообразно лѣтамъ, чину и капиталу, *otium cum dignitate*. Для Тютчева не существовало свойственныхъ и подобающихъ извѣстному возрасту, положенію и званію, возрѣній и мнѣній консервативнаго или тому подобнаго качества, — потому что для него не было ни юныхъ, ни старыхъ, ни приличныхъ, ни неприличныхъ истинъ; только то имѣло для него значеніе и исповѣдывалось имъ открыто и явно, безъ соображеній о приличіи, что представлялось ему въ данную минуту истиною, что оправдывалось его крѣпкою и зрѣлою мыслью, — а мысль его, какъ мы уже знаемъ, созрѣла и окрѣпла съ самыхъ молодыхъ лѣтъ. Конечно, и опытъ, и знаніе могли видоизмѣнять и видоизмѣняли иногда его убѣжденія; но самый возрастъ не оказывалъ на его мысль и на его душу ни малѣйшаго дѣйствія, — и въ этомъ отношеніи вполне справедливо то выраженіе о немъ, которое намъ удалось слышать еще при его жизни: *cet homme n'a pas d'âge* \*).

---

\*) У этого человека нѣтъ возраста.

IX.

Но если не было возраста для его мысли; если не старѣлъ его умъ, не старѣло сердце, то все же старость, не какъ внутреннее перерожденіе, а какъ внѣшній, чуждый, неизбежный рокъ, тяготѣла надъ его жизнью и его сознаниемъ, особенно въ послѣднія десять лѣтъ. Не чувствуя ея власти надъ своимъ умомъ и душою, онъ съ трудомъ признавалъ ея власть надъ строемъ своей обычной жизни; но бремя опыта, умножаясь съ годами, давило поэтическую мечту и затрудняло ея когда-то легкій полетъ; но радости бытія постепенно оскудѣвали и иссякали, а подагрическая хворь нерѣдко осуждала его на ненавистное ему одиночество и неподвижность. Если еще въ началѣ «склона своихъ лѣтъ», онъ писалъ:

Полнеба обхватила тѣнь,  
Лишь тамъ на западѣ бродить сіянье...  
Помедли, помедли, вечерній день,  
Продлись, продлись, очарованье!..

то понятно, что еще тревожнѣе и искреннѣе вырывался порою этотъ вопль изъ души поэта, когда еще ближе надвинулись тѣни, и уже не полнеба, а почти весь небосклонъ покрылся ими. Но онъ не хотѣлъ и, по свойству своей природы, не могъ сводить счетовъ, не въ состояніи былъ заняться подведеніемъ итоговъ подъ свое личное бытіе. Не слыша въ себѣ одрагѣнныя мысли, онъ продолжалъ жить, пока жилось,—хотя эта же самая мысль, всегда трезвая и ясная, гнала безпоощадно прочь всякое самообольщеніе и не переставала указывать ему на придвигавшійся край его жизни. Разладъ съ самимъ собою сталъ въ немъ еще томительнѣе и сильнѣе; безпокойнѣе и неотвязчивѣе стали запросы его собственного духа, обращенные и къ внѣшнимъ судьбамъ человѣчества, и къ себѣ самому; строже тайный судъ и еще болѣзненнѣе чувство своей человѣческой немощи, и еще немощнѣе воля... Тоска, — та тоска, которая составляла какъ бы основной тонъ всей его поэзіи и всего его нравственного существа, и на причины которой мы уже не разъ указы-

вали, — тоска мысли, неутомонно, всю жизнь двитавшейся, бодрствовавшей и не додумавшейся ни до чего вѣрнаго и несомнѣннаго, — тоска по истинѣ, признаваемой, но не овладѣваемой умомъ и не овладѣвшей всецѣло ни его волею, ни его душою, — тоска по «солнечнымъ лучамъ», по радостямъ жизни, — тоска о себѣ, о потраченныхъ попусту силахъ, о неоправданномъ призваніи и дарахъ, — эта внутренняя, потаенная тоска возростала въ немъ съ годами все могуще-ственнѣе и властнѣе. Легко, конечно, обсудить такую тоску въ «старцѣ» и назвать ее неназидательною, но еще вопросъ: что лучше — такая ли тоска, или дешевое замѣрzenie, не лишнее самодовольства?

Какъ ни прекрасны приведенныя нами выше строки изъ письма князя Вяземскаго о Тютчевѣ и «Тютчевіанѣ», но такъ какъ эти бѣгливыя строки не предназначались для печати, то въ нихъ многое не досказано, и встрѣчается выраженіе, не вполне точно передающее мысль самого автора, а потому требующее оговороки. «Бѣдный Тютчевъ, ему ли умирать? Онъ пользовался и наслаждался жизнью»... Эти строки могли бы, пожалуй, дать поводъ предположить, будто Тютчевъ былъ что называется *un bon vivant*, и въ самомъ дѣлѣ наслаждался, удовлетворялся жизнью. Такое представленіе о Тютчевѣ было бы совершенно ложно и свидѣтельствовало бы лишь о томъ, какъ мало былъ оцѣненъ и понятъ въ Тютчевѣ, въ этомъ изыщномъ, любезномъ, остроумномъ собесѣдникѣ, — *si gracieux, si charmant* (какъ отзывался о немъ свѣтъ) человекъ внутренний, человекъ мысли и духа.

Просматривая его письма къ женѣ, единственные письма, гдѣ, въ интимной бесѣдѣ, онъ говоритъ иногда о себѣ и про себя, мы встрѣчаемъ не разъ указанія на тайную, снѣдавшую его тоску. Вотъ нѣсколько выписокъ въ подтвержденіе нашихъ словъ.

Еще въ 1858 году онъ писалъ изъ Москвы къ женѣ (отъ 11 Сентября), послѣ свиданія съ своею престарѣлою матерью (изъ этого письма мы уже привели первыя строки въ самомъ началѣ нашего очерка), слѣдующее:

«J'ai encore une fois pris congé de ma mère, j'ai encore une fois fait les trois saluts en terre à côté d'elle devant sa Vierge de Cazan, encore une fois, en m'en allant de sa

chambre, appuyé mon dernier regard sur elle, en l'accompagnant du même pressentiment parfaitement naturel et raisonnable... C'est inconcevable comme tout est redite dans la vie, comme tout paraît devoir durer éternellement et ce répéter à l'infini jusqu' à un certain moment où tout-à-coup tout s'abîme, tout disparaît, et ce quelque chose qui avait tant de réalité, que vous sentiez aussi solide et aussi immense que la terre sous vos pieds, devient un rêve qui n'a d'existence que dans le souvenir et que le souvenir même a peine à conserver. Et quand dans une vie cette opération s'est reproduite plusieurs fois, quand plusieurs de ces réalités que l'on avait cru éternelles vous ont fui et laissé à sec, alors, bien que par une loi de la nature de l'homme l'illusion de la durée tende à se reproduire toujours, il y a sous cette illusion quelque chose d'éveillé, d'inquiet, de défiant, quelque chose enfin qui ne parvient plus à s'endormir tout-à-fait. On ne dort plus que d'un oeil et, en dépit de soi, on ne se sent plus vivre qu' au jour le jour \*)».

---

\*) Я еще разъ простился съ моею матерью, еще разъ положилъ, рядомъ съ нею, три земныхъ поклона предъ ея Казанскою Божіею Матерью; еще разъ, уходя изъ комнаты, оглянулъ ее послѣднимъ взглядомъ, съ тѣмъ же, какъ и прежде, предчувствіемъ, вполне естественнымъ, вполне основательнымъ... Удивительно, какъ въ жизни все — повтореніе, какъ все кажется предназначеннымъ и длиться вѣчно, и повторяться бесконечно — до извѣстнаго мгновенія, когда все вдругъ рушится, все исчезаетъ, и то, что было такою живою дѣйствительностью, что представлялось тебѣ столько же твердымъ и необъятнымъ, какъ сама земля подъ твоими ногами, становится сновидѣніемъ, котораго бытіе—только въ воспоминаніи и которое самими воспоминаніемъ удерживается лишь съ трудомъ. И когда въ жизни подобная операція возобновилась уже не разъ; когда уже не одна такая живая реальность, которую считалъ вѣчною, отхлынула отъ тебя и оставила тебя на мели, — тогда, хотя по закону человѣческой природы вновь и вновь завладѣваетъ душою самообольщеніе о прочности, о продолжительности всего живущаго, однако въ этомъ самообольщеніи кроется уже что-то возбужденное, безпокойное, недоувѣрчивое, — что-то, однимъ словомъ, что уже не можетъ забыться сномъ. Спишь уже только однимъ глазомъ и, наперекоръ самому себѣ, чувствуешь, что живешь уже только день за день...

Въ 1859 году онъ посѣтилъ чужіе края и въ нихъ тѣ мѣста, гдѣ протекла лучшая половина его жизни. Вотъ что мы читаемъ, между прочимъ, въ его письмахъ оттуда:

«Munich, 15 Juin... Quant à mon entrevue avec les montagnes et le lac de Tegernsee, elle m'a comme de raison inondé de mélancolie. Je n'ai décidément plus assez de vie pour tenir tête à de pareilles impressions. Elles anéantissent en moi jusqu'au sentiment de mon identité. En général tout mon organisme physique et moral est tellement ébranlé que ce qui devrait être et serait pour tout autre une occasion de plaisir et de distraction, m'éprouve de la manière la plus pénible... J'ai revu, revisité, reparcouru tout ce que je connaissais si bien et tout ce qui m'est devenu parfaitement étranger... Mais où vais-je? Et pourquoi? Il me semble que je rêve tout éveillé... Mais ce qui n'est pas un rêve, c'est le nouveau désastre des Autrichiens», etc \*).

«Weimar, 1 Novembre... Comme de raison je passe toute la journée avec Maltitz... \*\*) J'ai repassé le passé, retrouvé, ressaisi avec un mélancolique plaisir cette nature de Maltitz

---

\*) Мюнхенъ, 15 Іюня... Что касается до моего свиданія съ горами и озеромъ Тегернзее, то конечно оно обдало меня грустью. Во мнѣ рѣшительно нѣтъ уже настолько жизни, чтобы выдерживать подобныя впечатлѣнія. Они уничтожаютъ во мнѣ все, все, даже чувство самого себя. Вообще весь мой организмъ, физическій и нравственный, такъ потрясенъ, что все то, чему бы слѣдовало быть и что было бы для всякаго другаго поводомъ къ удовольствію и разбѣянію, обращается для меня въ самую тяжелую пытку. Я снова увидѣлъ, снова посѣтилъ, снова обошелъ все, что было мнѣ такъ близко знакомо, и что стало мнѣ совершенно чуждо. — Но куда же иду я самъ? И зачѣмъ?.. Мнѣ точно снится на яву... Но что уже совсѣмъ не сонъ — это новое пораженіе Австрійцевъ и пр.

\*\*) Баронъ Мальтицъ, человѣкъ замѣчательнаго ума и обширной образованности, занимавшій на Русской дипломатической службѣ, впродолженіи долгаго времени, мѣсто посланника въ Веймаръ и при другихъ Нѣмецкихъ самостоятельныхъ герцогствахъ и княжествахъ, былъ женатъ на графинѣ Клотильдѣ Ботмеръ, родной сестрѣ первой жены Федора Ивановича. Онъ скончался нѣсколько лѣтъ тому назадъ. Въ Германіи издана книжка его стихотвореній и біографія.

si intelligente, si impressionnable, si active, tournant toujours, sans se lasser, dans le même cercle d'impressions, d'idées, de lectures, d'habitudes, et bien que je sache parfaitement combien un pareil milieu serait impossible pour moi, je ne puis, sans une sorte d'envie et de retour pénible sur moi même, voir ces existences réglées, rassises et qui se prolongent sans solution de continuité,— pour qui le passé ne devient pas comme un membre amputé dont on finit par douter s'il vous a jamais appartenu. On a beau dire—une des trois unités de l'ancien drame classique qu'on a si fort décriée,—*l'unité de lieu* est plus nécessaire qu'on ne pense à l'intérêt du drame, au moins dans la vie réelle... \*).

Такъ высказывался Тютчевъ еще въ 1859 году, но послѣдующее десятилѣтіе его жизни еще сильнѣе омрачило его внутренній душевный міръ, и все рѣвче и болѣзненнѣе становились въ немъ тоскливыя ощущенія. Потери за потерями не переставали потрясать его физическій и нравственный организмъ. «Лица» и нѣкоторые другія изъ впечатанныхъ стихотвореній должно ярко отражаютъ въ себѣ тяжелое состояніе его духа, около половины шестидесятыхъ годовъ. Къ этому же времени относится одно ненапечатанное, изъ котораго вотъ нѣсколько строфъ:

\*) Веймаръ, 1 Ноября... Разумѣется я провожу цѣлый день съ Мальтицемъ... Я привелъ себѣ на память все прошлое, снова отыскалъ, обрѣлъ съ грустными наслажденіемъ, эту натуру Мальтица, натуру такую умную, такую впечатлительную, такую дѣятельную, вращающуюся, не уставая, всегда все въ томъ же кругѣ впечатлѣній, мыслей, чтеній, привычекъ. И хотя я очень хорошо знаю, какъ была бы невозможна для меня подобная ореда, я не могу однако, безъ нѣкотораго рода зависти и тягостнаго обращенія на самого себя, глядѣть на эти существованія—правильныя, осѣдлыя, длянціяся безъ перерыва... Для нихъ прошедшее не становится словно отрѣзаннымъ членомъ, о которомъ подъ конецъ даже сомнѣваешься, принадлежалъ ли онъ тебѣ когда-нибудь или нѣтъ. Что бы ни говорили, но изъ трехъ единствъ древней классической драмы, одно, столько охудренное — единство мѣста — нужнѣе чѣмъ думаютъ для интереса драмы, но крайней мѣрѣ въ дѣйствительной жизни...

Есть и въ моемъ страдальческомъ застоѣ  
Часы и дни ужаснѣе другихъ...  
Ихъ тяжкій гнетъ, ихъ бремя роковое  
Не выскажетъ, не выдержитъ мой стихъ.

Вдругъ все замреть. Слезамъ и умиленью  
Нѣтъ доступа; все пусто и темно.  
Минувшее не вѣсть легкой тѣнью,  
А подъ землею, какъ трупъ лежить, оно...

Ахъ, и надъ нимъ, въ дѣйствительности ясной,  
Но безъ любви, безъ солнечныхъ лучей,  
Такой же міръ бездушный и безстрастный...

Далѣе:

И я одинъ съ моею тупой тоскою,  
Хочу сознать себя и не могу—  
Разбитый челнъ, заброшенный волною  
На безымянномъ, дикомъ берегу...

Слѣдующій отрывокъ изъ письма, — полупутливый, полугрустный, смиренный отзывъ поэта о себѣ самомъ, — рисуетъ намъ Тютчева съ той именно стороны, на которую мы указали выше, говоря объ его тревожной непосѣдливости и поискахъ за впечатлѣніями и интересами, и которая особенно выдавалась въ немъ въ послѣдніе его годы. Онъ какъ будто боялся оставаться въ одиночествѣ, лицомъ къ лицу съ своею тоскою, ловилъ подобіе и призраки жизни. Оставшись лѣтомъ 1868 года одинъ въ Петербургѣ, вотъ что писалъ Тютчевъ, между прочимъ, къ своей семьѣ, переселившейся на лѣтніе мѣсяцы въ Орловскую деревню:

«St.-Pétersbørg, 29 Juin. Ici j'aurai bientôt mangé toutes mes provisions et épuisé toutes mes ressources de ce régime d'été à Pétersbourg, si monotone dans son agitation. Il me reste, il est vrai, Péterhof où je ne suis pas allé encore et qui depuis hier est devenu résidence pour une dizaine de jours. Mais quoi, c'est encore une redite—et cependant ce n'est que vus à travers quelques impressions du passé, comme dans un fugitif éclair, que tous ces endroits ont quelque chance de m'émotionner un peu. C'est comme les quelques

passages soulignés d'un livre, qu'on a lu jadis et qu'on ne se soucierait plus de relire... Ah, que j'ai une nature de peu de ressources en elle-même et toute opposée à celle du poète, heureux de se sentir *oubliant* et *oublié*... \*)).

Но именно потому, что онъ былъ *весь* поэтъ, durch und durch, больше поэтъ, чѣмъ философъ, именно потому и не могъ онъ довольствоваться однимъ отвлеченнымъ бытиемъ, сферою одной лишь абстрактной мысли: ему нужно было воплощеніе мысли въ живыхъ, конкретныхъ, цѣльныхъ явленіяхъ, въ многообразномъ, *художественномъ*, такъ сказать, творествѣ самой общечеловѣческой жизни. Такъ, года за 4 предъ тѣмъ, досадуя, что ему не удалось попасть лѣтомъ въ Киссингенъ, вотъ какъ объяснялъ онъ самъ эту свою досаду въ письмѣ къ женѣ:

«...Comme ce va et vient perpétuel, toutes ces rencontres inattendues de figures connues, tout ce passé ressuscitant plein de vie et venant coudoyer le présent.— tout ce foyer de nouvelles et d'actualités palpitantes — comme tout cela m'aurait convenu, m'aurait rafraîchi, vivifié. Comme un pareil séjour, rapprochant les époques, m'aurait aidé à *renouer la chaîne des temps, ce qui constitue le besoin le plus impérieux de mon être*» \*\*).

---

\*) Петербургъ, 29 Іюня. Я скоро съѣмъ всю свою провизію и ищущу всѣ мои средства лѣтняго образа жизни въ Петербургѣ, который такъ однообразенъ въ своей суетѣ. У меня остается, правда, Петергофъ, гдѣ я еще не былъ и который со вчерашняго дня сталъ резиденціей дней на десять. Но чтожъ? Вѣдь и это — опять повтореніе!... И однакожъ, только озарившись нѣкоторыми впечатлѣніями прошлаго, какъ мимолетною молнію, еще могутъ всѣ эти мѣста производить во мнѣ нѣсколько живое ощущеніе. Это какъ бы подчеркнутыя строки въ книгѣ, которую когда-то читалъ и которую перечестъ снова не было бы охоты... Ахъ, какъ бѣдна собственными средствами моя природа, и какъ противоположна она натурѣ поэта, что счастливъ, сознавая себя забытымъ и забывающимъ...

\*\*) Какъ все это постоянное движеніе взадъ и впередъ, всѣ эти неожиданныя встрѣчи знакомыхъ лицъ, все это прошлое, воскресающее съ такою полнотою жизни и толкающее подъ локоть настоящее, все это гнѣздо новостей и животрепещущихъ современныхъ интересовъ, — какъ

Но въ 1870 году мы встрѣчаемъ уже слѣдующія строки въ его письмѣ, въ которыхъ, покидая прежній шутливый, проницательскій тонъ, онъ какъ бы сдерживаетъ завѣсу съ внутреннего міра души и раскрываетъ глубину гнетущаго его чувства. Поводомъ къ этимъ строкамъ послужило посѣщеніе одного иностраннаго дипломата, знавшаго его еще за тридцать лѣтъ предъ тѣмъ въ Мюнхенѣ и напомниваго Тютчеву многое изъ его прошлаго, чего не сохранила его память:

«...En présence de toutes ces mémoires si vivantes, si conscientes du passé, je me sens plus qu'aux trois quarts plongé dans le néant, qui ne laisse survivre en moi que le sentiment de l'angoisse...» \*).

Вскорѣ за этимъ письмомъ, въ концѣ того же года, скончался Николай Ивановичъ Тютчевъ, единственный братъ и, можно сказать, единственный другъ Федора Ивановича, у котораго, внѣ семьи, было великое множество «друзей», но между ними ни одного, съ кѣмъ бы, преимущественно предъ прочими, дѣлился онъ всѣми тайнами мысли и сердца, съ кѣмъ бы состоялъ въ отношеніяхъ исключительно тѣсной, задушевной дружбы. Николай Ивановичъ Тютчевъ любилъ брата не только съ братскою, но съ отцовскою нѣжностью, и ни съ кѣмъ не былъ Федоръ Ивановичъ такъ коротокъ, такъ близко связанъ всею своею личною судьбою съ самаго дѣтства. Немногіе понимали, что значила для Тютчева эта потеря, — и въ то время, какъ, по мнѣнію его свѣтскихъ пріятелей, онъ продолжалъ наслаждаться и пользоваться жизнью, вотъ что звучало и жило въ глубинѣ его души, вотъ какіе стихи сложились у него, дорогою изъ Москвы въ Петербургъ, когда онъ возвращался съ похоронъ брата. Эти стихи не только не назначались имъ для печати, но были

---

все это было бы по мнѣ, меня бы освѣжило и оживило! Какъ подобное мѣстопробываніе, сближая эпохи, помогло бы мнѣ возстановить цѣпь временъ, что составляетъ самую настоящую потребность моего существа...

\*) Предъ всякою подобною памятію, — въ которой столько жизни, такое сознаніе прошлаго, я чувствую себя точно уничтоженнымъ. Я чувствую, что уже болѣе чѣмъ на три четверти погрузился въ небытіе, которое оставляетъ во мнѣ живымъ одно лишь ощущеніе томительной муки...

тщательно скрыты и даже въ семьѣ его были извѣстны лишь нѣкоторымъ:

Братъ, столько лѣтъ сопутствовавшій мнѣ,  
И ты ушелъ, куда мы всѣ уйдемъ,  
И я теперь на голой вышинѣ  
Стою одинъ—и пусто все кругомъ.

И долго-ль мнѣ стоять здѣсь одному?  
День, годъ, другой—и пусто будетъ тамъ,  
Гдѣ я теперь—смотрю въ ночную тьму,  
Но что со мной не сознавая самъ...

Безслѣдно все,—и такъ легко не быть!  
При мнѣ или безъ меня—что нужды въ томъ?  
Все будетъ тожъ—и вьюга также выть,  
И тотъ же мракъ, и та же степь кругомъ.

Дни сочтены; утратъ не перечестъ;  
Живая жизнь давно ужъ позади;  
Передоваго нѣтъ, и я какъ есть  
На роковой стою очереди...

Съ такимъ тайнымъ сознаніемъ въ сердцѣ, но не отставая отъ внѣшней жизни, продолжая по прежнему восхищать слушателей игривостью и блескомъ ума, и по прежнему бодрствовать мыслью, — встрѣтилъ Тютчевъ и другіе удары, обрушившіеся на него въ 1871 и въ 1872 годахъ,—потерю старшаго сына, несчастіе, болѣзнь и смерть своей дочери, Марьи Ѳедоровны Бирилевой,—молодой, прекрасной, замѣчательной умомъ и характеромъ женщины, скончавшейся отъ чахотки въ чужихъ краяхъ лѣтомъ 1872 года. Въ день Свѣтлаго Воскресенья того же года, Тютчевъ писалъ ей изъ Петербурга въ Мерапъ:

День православнаго Востока,  
Святой, святой, великій день,  
Разлей свой благовѣсть широко  
И всю Россію имъ одѣнь.

Но и Святой Руси предѣломъ  
Его призыва не стѣсняя:

Пусть слышенъ будетъ въ мірѣ цѣломъ,  
Пуσαι онъ льется черезъ край,

Своею крайнею волною  
И ту долину захвата,  
Гдѣ бьется съ немоцію злою  
Мое родимое дитя.

Тотъ свѣтлый край, куда въ изгнанье  
Она судьбой увлечена,  
Гдѣ неба южнаго дыханье  
Какъ врачество лишь пьетъ она.

О, дай болящей исцѣленье,  
Отрадой въ душу ей полей,  
Чтобы въ Христово Воскресенье  
Всецѣло жизнь воскресла въ ней...

Эти стихи, сколько мы знаемъ, были уже послѣдними стихами Тютчева. Сильнѣе сгустился мракъ около него, — тревожнѣе искалъ онъ себѣ просвѣта и разсѣянія... Обычные осенніе припадки подагры смѣнились головными болями: то былъ недобрый знакъ. Нервное волненіе возростало, — доктора, по обычаю, совѣтовали ему тишину, спокойствіе, рекомендовали поменьше читать и думать... Но Тютчевъ раздражался, не уступалъ, упорно пытался жить какъ жилось ему прежде, и какъ не могъ онъ иначе жить... Несмотря на нѣсколько случаевъ подозрительной дурноты, испытанной имъ въ гостяхъ, у знакомыхъ, несмотря на мучительныя боли въ головѣ, онъ не хотѣлъ признавать власти недуга надъ своимъ умомъ и дарованіями, и наканунѣ новаго 1873 года, получивъ вѣсть о смерти Наполеона III, — сталъ было слагать стихи по поводу этого событія... Но къ его смущенію и ужасу — стихи не выходили, не повиновались ни звуки, ни ризмы. Страшно напряглись его силы; онъ одолѣлъ такъ добровольно заданную имъ себѣ работу, — но стихотвореніе вышло тяжелое, темное, неправильное... Онъ самъ отнесъ его въ редакцію журнала; а въ первый день Января 1873 г., несмотря ни на какія предостереженія, вышелъ изъ дому для обычной прогулки, для посѣщенія пріятелей и знакомыхъ... Его вскорѣ привезли назадъ разбитого параличемъ. Вся лѣвая

часть тѣла была поражена, и поражена безвозвратно... Но это было только начало смерти.

Первымъ дѣломъ Тютчева, по мѣрѣ того какъ онъ сталъ приходить въ сознание, было — ощупать свой умъ. Жить — значило для него мыслить, и съ первымъ, еще слабымъ возвратомъ силъ, его мысль задвигалась, заиграла и засверкала, какъ бы тѣпась своею живучестью. Прикованный къ постели, съ ноющею и сверлящею болью въ мозгу, не имѣя возможности ни приподняться, ни перевернуться безъ чужой помощи, голосомъ едва внятнымъ, онъ истинно дивилъ и врачей, и посѣтителей блескомъ своего остроумія и живостью участія къ отвлеченнымъ интересамъ. Онъ требовалъ, чтобъ ему сообщались всѣ политическія и литературныя новости, — онъ по каждому поводу готовъ былъ пуститься въ серьезные разсужденія, и напрасно усиливались врачи отстранить отъ него эту «вредную при его состояніи дѣятельность»... «Это лишь возбужденіе, это ненормальное явленіе», — увѣряли доктора; «за симъ несомнѣнно послѣдуетъ постепенное ослабленіе умственныхъ силъ, какъ всегда бываетъ при «выпотѣніи или эксудаціи мозговыхъ артерій» — болѣзни неизлѣчимой, за которою непремѣнно, мѣсяца черезъ два — три, можетъ быть черезъ шесть или немного болѣе, настанетъ смерть». Доктора были правы въ опредѣленіи болѣзни и ея скорого роковаго исхода, но они обманулись въ своихъ научныхъ расчетахъ относительно упругости мыслительныхъ силъ своего паціента. Мыслительность была въ немъ природною, существеннѣйшею жизненною стихіей, — могла угаснуть и угасла только послѣднею... Но она, конечно, выдавалась въ немъ еще ярче, казалась еще поразительнѣе въ виду его страшной физической немоги, во всей этой виѣшней обстановкѣ смертельнаго недуга.

Тяжело мирился Тютчевъ и съ этою обстановкою, и съ этою немощию. Не разъ, въ припадкѣ тоски и раздраженія, порывался онъ напрячь всѣ свои силы и страхнувъ недугъ — встать на ноги, вернуть себѣ свободу, выдти на вольный воздухъ, — но изнеможенный отъ напрасныхъ усилій падалъ въ обморокъ на постель. Человѣкъ самый непосѣдливый, самый подвижный, былъ какъ-бы казненъ неподвижностью. Однако по прошествіи мѣсяца ему стало немного лучше, —

и онъ нѣсколько ободрился духомъ, надѣясь если не на выздоровление, то на значительное облегченіе своего паралича. Мысль его и слово окрѣпили, онъ диктовалъ пространныя письма самаго серьезнаго содержанія, былъ въ состояніи иногда и самъ начертить нѣсколько строкъ, насколько это было возможно въ его полулежащемъ положеніи. Къ этому именно времени и относятся, т. е. къ Февралю и Марту 1873 года, тѣ два письма, которыя были выше приведены, именно: одно о «Кесарѣ воюющемъ со Христомъ», т. е. объ отношеніи церкви къ государству,—другое по поводу философа Гартмана, гдѣ Тютчевъ говоритъ, что «la nature humaine, en dehors de certaines croyances et en proie aux réalités de la vie, ne peut être qu'un spasme de rage»... Вотъ еще нѣсколько отрывковъ изъ писемъ Тютчева къ одной изъ его дочерей въ Москву, отъ того же времени:

«Je reçois à l'instant ta dernière lettre. Je me fais l'effet d'un homme qui continuerait à recevoir sa poste dans l'autre monde,—tant les choses du dehors ont peu de rapport avec mes conditions d'existence actuelles. Et ce qu'il y a de pire, c'est que si moi je ne suis pas mort, tout le monde l'est malheureusement bien pour moi. Je n'ai pas la moindre foi dans ma résurrection; dans tous les cas il y a quelque chose de fini et bien fini pour moi... L'essentiel c'est d'en prendre rigoureusement son parti. Nous passons toute nôtre vie dans l'attente de cet événement qui, quand il arrive, ne manque jamais de nous surprendre. Il est de nous comme de ces gladiateurs que l'on gardait pendant des mois entiers pour l'arène et qui, je suis sûr, ne manquaient jamais d'être surpris le jour où ils étaient appelés à paraître...» \*).

1) ...Я сейчасъ получилъ твое письмо. Я точно человѣкъ, который продолжаетъ получать почту на томъ уже свѣтѣ, — до такой степени все вѣдѣнное имѣетъ мало соотношенія съ настоящими условіями моего существованія. И что всего хуже, такъ это то, что если я еще и не умеръ,—все остальное къ несчастію умерло, и точно умерло, для меня. У меня нѣтъ ни малѣйшей вѣры въ мое возстановленіе, во всякомъ случаѣ есть что-то законченное, крѣпко законченное для меня. Теперь главное въ томъ, чтобы умѣть мужественно этому покориться. Мы проводимъ всю жизнь въ чаяніи этого событія, которое, когда настаетъ, всегда

«...Quant à mon état du moment, on m'assure de tous côtés qu'il va s'améliorant... Il y a certainement du mieux, mais ce mieux je ne le sens pas assez. J'attends que le soleil (du printemps) vienne le consacrer...»\*) Въ томъ же письмѣ, по поводу передвиженія, сѣзда и встрѣчи между собою potentатовъ Европы, онъ замѣчаетъ, что они, bien différents des augures de l'antiquité, ne cessent de se rencontrer sans rire, tout en exécutant avec la plus minutieuse ponctualité toutes les exigences de l'étiquette... и потомъ, въ виду посѣщенія Петербурга многими лицами высшаго Прусскаго общества, прибавляетъ: «On a certainement plus vite fait d'écrire quelques mauvaises plaisanteries sur le compte des Allemands, comme si cela expliquait quelque chose et comme si nous n'avions rien de mieux à faire en vue d'une société aussi sérieuse, aussi avancée que la société prussienne, à qui nous aurions à emprunter tant de choses, à commencer par la liberté de la pensée qui en Prusse seulement se trouve, à l'heure qu'il est, hors de conteste\*\*), à l'égal d'un autre droit tout aussi généralement reconnu: le droit de chacun de respirer sa part d'*air ambiant*. Quand on pense que dans ce pays-là cette liberté illimitée de la pensée s'accorde intimement avec le respect d'une autorité forte, légitime et traditionnellement respectée» \*\*\*)! Мысль о положеніи печатнаго

---

непремѣнно преисполняетъ насъ изумленія. Мы похожи на гладиаторовъ, которыхъ сберегали цѣлые мѣсяцы для арены, и которые, я увѣренъ, непремѣнно всякой разъ поражались нечаянною, въ тотъ день, когда имъ назначалось явиться...

\*) ... Что касается до моего настоящаго положенія, то со всѣхъ сторонъ меня увѣряютъ, что оно постоянно улучшается... Есть, конечно, улучшение, но я его недовольно ощущаю. Я жду, чтобъ весеннее солнце дало ему свое освѣщеніе...

\*\*) Исключая Англіи, конечно, на континентѣ.

\*\*\*) Сейчасъ же пустили въ ходъ плохія шутки на счетъ Нѣмцевъ, какъ будто этимъ что-нибудь объясняется, какъ будто намъ нечего и дѣлать другаго въ виду такого серьезнаго, такого развитаго общества, каково Прусское, у котораго мы могли бы многое позаимствовать, начиная съ свободы мысли. Въ настоящую минуту только въ Пруссіи эта свобода стоитъ внѣ всякаго спора, подобно другому праву, также все-

слова въ Россіи не покидала его и въ болѣзни, и когда въ Маѣ того же года появилось въ «Русскомъ Архивѣ» его письмо о цензурѣ, писанное 16 лѣтъ назадъ, онъ между прочимъ продиктовалъ въ Москву слѣдующія строки:

«En relisant mon mémoire qui est encore à l'heure qu'il est palpitant d'actualité, je me suis convaincu que ce qu'il y a de moins utile dans les choses de ce monde, c'est d'avoir la raison pour soi. Dans 30 ans tout le monde certainement pensera sur toutes ces questions ce que je pensais alors, mais en attendant le mal aura été fait, et probablement un mal irréparable. Je suis curieux de voir l'effet que cette publication produira dans les sphères gouvernementales... Mais je suis bien niais de me préoccuper de ce qui n'a plus aucun rapport vivant à moi! Je devrais me considérer comme un spectateur après que la toile est tombée et qui n'a plus autre chose à faire que de ramasser ses effets pour regagner la porte» \*).

Здѣсь кстати упомянуть, что вмѣстѣ съ болѣзью стала проявляться у Тютчева небывалая до тѣхъ поръ забота о своемъ авторскомъ и вообще личномъ значеніи. Но она проявлялась такъ скромно и какъ бы стыдливо, что нельзя было видѣть ее безъ какого-то грустнаго умиленія. Умирающій, онъ невольно озирался назадъ, на свою пройденную жизнь,

---

общепризнанному-праву для каждаго дышать своею частью воздуха его окружающаго... Какъ подумаешь, что въ этой странѣ эта безграничная свобода мысли уживается самымъ искреннимъ, тѣснымъ образомъ съ уваженіемъ къ власти сильной, законной, по преданію чтимой!..

\*) ... Перечитывая мою записку, которая и въ настоящій мигъ трепещетъ современнымъ интересомъ, я убѣдился, что самая бесполезная вещь на семъ свѣтѣ быть правымъ. Черезъ 30 лѣтъ всѣ, конечно, будутъ думать объ этомъ предметѣ то же, что я тогда думалъ, но зло будетъ уже сдѣлано, и, вѣроятно, зло непоправимое. Мнѣ любопытно бы видѣть впечатлѣніе, которое произведетъ въ правительственныхъ сферахъ обнародованіе этой записки... Но какъ простодушно-глупо съ моей стороны озабочиваться тѣмъ, что не имѣетъ уже никакого живаго отношенія ко мнѣ! Мнѣ слѣдовало бы смотрѣть на себя какъ на зрителя, которому, послѣ опущенія занавѣса, ничего другаго не остается, какъ подобрать свои вещи и направиться къ двери...

невольно подводилъ итогъ подъ свое существованіе; ему не хотѣлось совѣсть безслѣдно исчезнуть для міра, и онъ почти съ дѣтскою радостію встрѣтилъ появленіе въ Русской печати, именно въ Р. Архивѣ, своихъ двухъ статей, — которыя были имъ самимъ такъ долго пренебрежены и забыты. Онъ заставилъ прочесть ихъ себѣ и былъ ими доволенъ... Онъ постоянно пытался удостовѣриться въ себѣ самомъ, въ ясности своего сознанія, — *il cherchait à constater son identité*, какъ вѣрно замѣтилъ кто-то изъ его знакомыхъ. Поэтому онъ былъ немало утѣшенъ извѣстіемъ, что письма политическаго содержанія, диктованныя имъ уже въ болѣзни къ одной Русской дамѣ въ Парижъ, были ею сообщены Тьеру, и что Тьеръ, живо заинтересованный ими, просилъ отъ него дальнѣйшаго разъясненія и вообще продолженія переписки: «стало-быть», — выразился Тютчевъ, и такъ странно, необычно было слышать именно отъ него эти выраженія, — «стало быть я не совѣсть же лишился способностей, какія у меня были...» Но что было особенно поразительно — это утрата имъ, рядомъ съ сохраненіемъ острой и логической мысли, способности къ поэтической мѣрной рѣчи. Позывъ къ стихотворчеству сказывался въ немъ безпрестанно; онъ часто твердилъ стихи про себя, часто принимался за диктовку, но *не замѣчалъ*, что стихамъ недоставало то мѣры, то риѣмы, что они выходили какимъ-то неяснымъ поэтическимъ бредомъ. Онъ какъ бы потерялъ музыкальный слухъ, власть надъ гармоніей слова: поэтическое творчество было, очевидно, ему уже не подъ силу. Какъ ни совѣстно употребить слишкомъ уже опошленное сравненіе съ «разбитою лирою», но оно невольно припоминалось каждому при видѣ этихъ печальныхъ, тщетныхъ попытокъ когда-то самаго гармоническаго изъ поэтовъ: рука, по привычкѣ, протягивалась къ струнамъ, но струны дребезжали, ослабленныя и порванныя.

Тютчевъ не устрашался смерти, но жалѣлъ о жизни, дорожилъ живымъ. Еще въ началѣ болѣзни онъ исповѣдывался и приобщился Св. Тайнъ, охотно бесѣдовалъ съ нѣкоторыми знакомыми священниками, которыхъ удивлялъ вѣрностью и глубиной своихъ сужденій о христіанствѣ и церкви; въ долгіе часы своихъ страдальческихъ бессонныхъ ночей, онъ любилъ пускаться въ разговоры съ ухаживающею за нимъ сестрою

милосердія, терпѣливо слушаль ея чтеніе изъ священныхъ книгъ, ея добродушно назидательные рассказы и рѣчи, умилялся простотою ея благочестія и вѣры, — но, признавая суетность и бренность всего земнаго, самъ онъ, пока оставался на землѣ, не могъ, не хотѣлъ отказываться и не отказывался ни отъ какого живаго человѣческаго интереса... Его участіе къ дѣламъ міра сего, къ политикѣ и литературѣ, усиливалось съ каждымъ днемъ. Ему видимо становилось лучше; его перевезли въ Царское Село, поговаривали даже о поѣздкѣ за границу... Вдругъ, именно 11 Іюня, новый ударъ или новый припадокъ быстро двинулъ его къ могилѣ. Его внезапно охватили судороги и смѣнились оцѣпенѣніемъ. Всѣ полагали, что онъ умеръ, или умираетъ; но недвижимый, почти бездыханный, онъ сохранялъ сознание. И когда чрезъ нѣсколько часовъ оцѣпененіе миновало — первый вопросъ его, произнесенный чуть слышнымъ голосомъ, былъ: «какія послѣднія политическія извѣстія?»

Тѣмъ не менѣе съ этого дня положеніе Тютчева рѣзко измѣнилось: отъ него стало трудно добиться слова; онъ съ каждымъ часомъ слабѣлъ, да ему очевидно уже и не хотѣлось говорить; большую часть времени лежалъ онъ какъ бы въ забытѣ или полуснѣ; но то былъ не полусонъ и не забытье. *Er hört, er denkt*, замѣчалъ, къ изумленію своему, Нѣмецъ-докторъ, уловивъ его взглядъ или всмотрѣвшись въ черты его лица. Иногда, освѣженный дѣйствительнымъ сномъ, онъ смотрѣлъ открыто и ясно; вокругъ него велись рѣчи его домашними и родными, но онъ молчалъ и казался погруженнымъ въ размышленіе. Было ясно, что внѣшняя жизнь все дальше и дальше уходила отъ Тютчева, со всѣми своими разнообразными интересами, и онъ думалъ какую-то свою упорную, неотвязную думу... Пороку, однако, на настоятельные вопросы врача и родныхъ, онъ прерывалъ молчаніе и давалъ отвѣты еще запечатлѣнные остроуміемъ и ироніей... Черезъ 9 дней припадокъ повторился. Оцѣпенѣніе было такъ сильно, что по распоряженію семьи приглашенный священникъ прочелъ надъ нимъ отходную, но черезъ полдня онъ ожилъ и когда его стали поздравлять съ улучшеніемъ его состоянія и обнадеживать восстановленіемъ силъ, онъ замѣтилъ грустно-иронически, что не дальше какъ утромъ

его уже «отпѣли» и прервалъ разговоръ вопросомъ: «какія получены подробности о взятіи Хивы»? Хивинскій походъ занималъ его сильно, и онъ съ самаго начала внимательно слѣдилъ за нимъ по газетамъ... Этотъ припадокъ былъ послѣднимъ.

Несмотря на всѣ увѣренія докторовъ, что Тютчеву остается жить день-два, онъ прожилъ еще недѣли три,—но эта жизнь была медленною агоніей. Все постепенно изнемогало въ немъ, никло и умирало,—не омрачилось только сознаніе и не умирала мысль... Иногда онъ какъ бы вновь возбуждался, жаловался на мучительное страданіе, особенно въ мозгу. *Faites un peu de vie autour de moi* \*), сказалъ онъ однажды дочери,—но такое возбужденіе было минутное, а скоро и совсѣмъ затихло. Онъ почти вовсе замолкъ.

Раннимъ утромъ 15 Іюля 1873 года, лице его внезапно приняло какое-то особенное выраженіе торжественности и ужаса; глаза широко раскрылись, какъ бы вперились въ даль, — онъ не могъ уже ни шевельнуться, ни вымолвить слова,—онъ, казалось, весь уже умеръ, но жизнь витала во взорѣ и на челѣ. Никогда такъ не свѣтилось оно мыслью, какъ въ этотъ мигъ, рассказывали потомъ присутствовавшіе при его кончинѣ. Вся жизнь духа, казалось, сосредоточилась въ одномъ этомъ мгновеніи, вспыхнула разомъ и озарила его послѣднею верховною мыслью... Черезъ полчаса вдругъ все померкло, и его не стало...

Онъ *просіялъ и погасъ*...



---

\*) Пусть будетъ нѣсколько жизни вокругъ меня.

## Приложенія.

### I.

Статья барона Пфелля, напечатанная въ газетѣ  
l'Univers.

*A m. Laurentie, rédacteur de l'Univers.*

Ostende, ce 6 Août 1873.

Monsieur,

Vous n'apprendrez pas sans regret la mort de m-r de Tutchef. Il a succombé le 27 Juillet aux suites de l'attaque d'apoplexie qu'il avait essuyée le 13 Janvier, jours de l'an russe. Avec lui a disparu un des meilleurs et des plus brillants esprits que comptât la Russie. Aux dons les plus variés de l'intelligence il joignait ceux non moins précieux de l'imagination. Ignorant de la langue russe, je ne puis juger des mérites de ses poésies. Mais des autorités compétentes m'ont assuré qu'il méritait une place des plus distinguées parmi les poètes lyriques de son pays. Vous avez été à même d'apprécier sa prose. Il parlait et écrivait le français aussi purement que sa langue maternelle. Son style avait à la fois de la chaleur et du trait. On cite de lui des mots pleins d'originalité qui mériteraient d'être recueillis. Ils tombaient de ses lèvres sans qu'il parût s'en douter, portant à fond, sans jamais blesser.

Je connaissais m-r de T. depuis l'année 1830. Attaché à cette époque comme 2-d secrétaire à la légation de Russie à Munich, ce jeune homme de 26 ans mesura avec une rare sagacité les suites de la révolution de Juillet. «Les ordon-

nances du roi Charles X, disait-il, sont le testament de l'ordre politique et moral en Europe. Les Français regretteront plus tard d'en avoir méconnu la sagesse et la nécessité.

Quarante années de troubles et de bouleversements n'ont que trop confirmé ce jugement. En 1848, retourné depuis quelques années dans sa patrie, il reconnut aussitôt de quoi il s'agissait dans l'effondrement universel qui suivit la chute de Louis Philippe. La révolution n'en voulait plus seulement aux rois et aux gouvernements établis: elle visait, dès lors, comme aujourd'hui, la société de Dieu lui-même, sans lequel il n'y a pas de société possible. Dans un mémoire devenu célèbre, m-r de T. prit hautement la défense de l'ordre des Jésuites \*), objet de la haine et des calomnies du parti soi-disant libéral aussi bien que des démagogues... «En frappant les Jésuites, écrivait-il, on espère démolir l'Eglise. Supprimer les Jésuites, c'est *désosser* le catholicisme». C'est à quoi tendent en ce moment-même, avec non moins de violence, mais plus d'habileté, les efforts de m. de Bismark qui sait, qu'en proscrivant cet ordre actif et dévoué, il prive l'Eglise de son principal soutien. — L'Autriche, ahurie et dévoyée, se détourna en 1854 de la Russie qui l'avait sauvée. A ceux qui s'étonnaient de son ingratitude, m. de T. répondait: «La peur ne raisonne pas. *L'Autriche est un Achille dont le talon est partout*. Elle se brouille avec ses amis pour ne pas se compromettre vis-à-vis de ses ennemis. Peine inutile! Le canon qui bat en brèche Sévastopol la chassera de l'Italie!...»

La guerre de 1870 ne le laissa pas un instant dans le doute sur ses conséquences probables. Prévoyant de bonne heure le triomphe de la Prusse, il ajoutait: «Ce sera le triomphe du protestantisme devenu synonyme du rationalisme, la chute de la papauté, l'oppression des consciences au profit de l'incrédulité, de la persécution religieuse au nom de la civilisation! Que la France ne s'y trompe point: l'expiation, trop longtemps ajournée, va commencer pour elle. Dans peu d'années elle aura accompli le cycle séculaire des crimes, des

---

\*) Это совершенно невѣрно. Мы уже объяснили это достаточно въ нашемъ біографическомъ очеркѣ.

fautes et des malheurs qui composent son histoire depuis 89. Aura-t-elle la force, — chrétiennement parlant force signifie humilité — aura-t-elle la force de s'avouer sa trop longue erreur, de retourner en arrière, de rompre avec les funestes principes de la révolution, de redevenir chrétienne et monarchique? Sinon, son éclipse sera définitive et irrévocable».

Cette clairvoyance qui distinguait m-r de T. dans le domaine de la politique, il la transportait également dans le champ des spéculations métaphysiques. Je me souviens d'avoir assisté dans ma jeunesse à des entretiens pleins d'intérêt entre lui et le célèbre Schelling, préoccupé de l'idée de réconcilier la philosophie avec le christianisme dépouillé à la vérité de l'auréole de la révélation divine. «Vous tentez une œuvre impossible, lui objectait m-r de T. Une philosophie, qui rejette le surnaturel et qui veut tout prouver par la raison, doit fatalement dériver vers le matérialisme pour se noyer dans l'athéisme. La seule philosophie compatible avec le christianisme est contenu tout entière dans le Catéchisme. Il faut croire ce que croyait Saint Paul, et après lui Pascal, plier le genou devant *la Folie de la Croix*, ou tout nier. Le surnaturel est au fond ce qu'il y a de plus naturel à l'homme. Il a ses racines dans la conscience humaine très supérieure à ce qu'on appelle la raison, cette pauvre raison qui n'admet que ce qu'elle comprend, c'est-à-dire rien!»

Ainsi parlait cet homme, né pour la méditation, pour le travail du cabinet, et dont la vie, par une singulière contradiction du sort, s'est écoulée pendant près de cinquante ans dans les salons. Né et vivant en France, il aurait sans nul doute laissé après lui des monuments qui eussent perpétué sa mémoire. Né et vivant en Russie, ayant pour unique auditoire une société plus curieuse qu'instruite, il a jeté aux quatre vents de la conversation des trésors d'esprit et de sagesse, encore plus vite oubliés que répandus.

## II.

### Хронологія стихотвореній Тютчева.

Вотъ хронологическій ходъ поэтическаго творчества Тютчева, указанный въ хрестоматіи г. Гербеля «Русскіе поэты», но, по возможности, провѣренный и исправленный нами.

Стихотворенія Тютчева появились въ печати, въ первый разъ и съ полнымъ именемъ автора, въ альманахѣ Ура-нія, изданномъ въ 1826 году М. П. Погодинымъ. Они были присланы изъ Мюнхена, именно: *Къ Нисъ*, *Письмъ Скандинавскихъ воиновъ* (оба переводныя) и *Проблескъ*. Въ этой послѣдней піесѣ встрѣчаются уже нѣкоторыя достоинства и особенности Тютчевскаго стиха. Она начинается такъ:

Слыхалъ ли, въ сумракѣ глубокомъ  
Воздушной арфы легкій стонъ,  
Когда въ полночь ненарокомъ  
Дремавшихъ струнъ встревожить сонъ?

и кончается слѣдующею строфою:

И отягченною главою,  
Однимъ лучемъ ослѣплены,  
Вновь упадемъ не къ покою,  
Но въ утомительные сны.

Всѣ три пьесы перепечатаны въ изданіи 1854 года, но въ альманахѣ подъ ними помѣчены числа 1822 и 1824 года.

Въ 1827 году въ альманахѣ Сѣверная Лира, изданномъ Райчемъ, помѣщены Тютчевымъ пять переводныхъ стихотвореній: *Письмъ радости* Шиллера (съ помѣткою: Минхенъ, Февраль 1822 г.), *Саконтала* (изъ Гейне) *Друзъ, откройся предо мною* и *Съ чужой стороны* (оба изъ Гейне), *Въ альбомъ друзьямъ* (изъ Байрона), и два оригинальныхъ: *къ Н...*, помѣченное 23 Ноября 1824 г.: вмѣсто полного имени только Т. Эта прекрасная пьеса обезображена неправильною римою въ духѣ тогдашнихъ нашихъ «классиковъ»; напри-мѣръ:

Таковъ горѣ духовъ небесныхъ свѣтъ;  
Лишь въ небесахъ дается онъ, небесный:  
Въ ночи грѣха, на' днѣ ужасной бездны,  
Сей чистый огонь, какъ пламень адскій жжетъ.

Другое стихотвореніе *Слезы* («Люблю, друзья, ласкать очами»), съ эпиграфомъ заимствованнымъ у Грея и, вѣроятно, подражаніе Грею.

Ни *Пѣснь радости* (переводъ недурной, но слишкомъ вольный), ни *Къ Н.*, не включены въ изданія 1854 и 1868 г.

Въ Сѣверныхъ Цвѣтахъ Дельвига 1827 г. напечатано: «Подражаніе Арабскому»:

Блянусь коня волнистой гривой  
И брызгомъ искръ его копытъ,  
Что голосъ Бога справедливый  
Надъ міромъ скоро прогремить.  
Блянусь вечернею зарею  
И блескомъ утра золотымъ:  
Онъ семь небесъ своей рукою  
Одно воздвигнулъ за другимъ.  
Не Онъ ли яркими огнями  
Зажегъ сей безпредѣльный сводъ?—  
И Онъ же легкими крылами  
Парящихъ птицъ хранитъ полетъ.  
Когда же пламенной струею  
Сверкаютъ гордо небеса,  
Надъ озаренною землею  
Не Бога ли блескитъ краса?  
Безъ вѣры въ Бога, мимо, мимо  
Промчится радость бытія...  
Пошлетъ ли онъ огонь безъ дыма,  
И дымъ пошлетъ ли безъ огня?..

Эта пьеса, подписанная *Θ. Γ.*, не вошла въ полное собраніе его стихотвореній.

Въ Галатеѣ 1829 и 1830 г. помѣщены: *Къ друзьямъ, При посылкѣ Пѣсни радости Шиллера* (стихотвореніе очень слабое, вѣроятно написанное одновременно съ переводомъ въ 1823 г.); *Лѣтній вечеръ*, пьеса, въ которой можно бы узнать Тютчева даже безъ подписи; вотъ послѣдняя строфа:

И тайный трепеть, какъ струя,  
По жиламъ пробѣжалъ природы,  
Какъ бы горячихъ ногъ ея  
Коснулись ключевыя воды.

Эти двѣ піесы, равно какъ и *Вечеръ* («Какъ тихо вѣетъ надъ долиной») не включены въ полное собраніе. Затѣмъ: *Могила Наполеона*, *Видѣніе*, *Гроза* (Люблю грозу въ началѣ Мая), *Сны* («Какъ океанъ облемятъ шаръ земной»), *Утро въ горахъ*, *Олеговъ*, *щитъ*, *Cashe-cashe*, изъ *Фауста*. *Привѣтствіе духа* (изъ Гете), и еще нѣкоторыя переводныя, помѣщены въ обоихъ изданіяхъ 1854 и 1868 годовъ.

Къ 1826 году относится и посланіе къ А. В. Шереметеву, напечатанное въ изданіи 1868 г.

Въ Молвѣ 1835 года появилось «*Silentium*».

Въ Современникѣ 1836 года помѣщены: 1) *Утро въ горахъ* (напечатанное въ 1830 г. въ Галатеѣ), 2) *Снѣжныя горы*, 3) *Полдень*, 4) *Весеннія воды*, 5) *Что ты клонишь надъ водою?* 6) *Какъ океанъ обземлетъ шаръ земной* (напечатано было Галатеѣ 1830 года), 7) *Я помню время золотое*, 8) *Не то что мните вы природа*, 9) *И гробъ опущенъ ужъ въ могилу*, 10) *Silentium* (напечатано было въ Молвѣ), 11) *Какъ птичка раннею зарей*, 12) *Какъ надъ горячею золой*, 13) *Въ душномъ воздухѣ молчанье*, 14) *Душа моя—элизіумъ тѣней*, 15) *О чемъ ты воешь, вѣтръ ночной?* 16) *Душа бѣ хотѣла быть звѣздой*, 17) *Цицеронъ*, 18) *Фонтанъ*, 19) *Двумъ сестрамъ*, 20) *Востокъ бѣлѣлъ*, 21) *Потокъ спустился и тускнѣлъ*, 22) *Яркій снѣгъ сіялъ въ долинѣ*, 23) *Сонъ на морѣ*, 24) *Вечеръ млисный и неистный*.

Въ Современникѣ 1837 г.: 25) *Песокъ сыпучій по колѣни* (помѣчено 1830 годомъ), 26) *Тамъ идѣ горы, убитая*, 27) *Черезъ Ливонскія я проѣзжалъ поля* (помѣчено 1830 годомъ), 28) *Надъ виноградными холмами*.

Въ томъ же журналѣ 1838 года: 29) *Смотри, какъ Западъ разгорѣлся*, 30) *Итальянская вила* (написано гораздо раньше) 31) *Арфа Скальда*.

1839 года: 32) *Весна*, 33) *Такъ здѣсь-то суждено намъ было* (въ нѣкоторыхъ рукописныхъ спискахъ стоитъ помѣта

1 Дек. 1837 г.); 34) *Лебедь*, 35) *День и Ночь*, 36) *Не втрѣ, не втрѣ поэту, дѣва*.

1840 года: 37) *Осенній вечеръ*, 38) *Съ какою нѣгою, съ какой тоской влюбленной*, 39) *Давно-ль, давно-ль, о Югъ блаженный*.

Въ Раутѣ 1853 г., изданномъ Н. В. Сушковымъ, напечатанъ его переводъ изъ Шиллера: «Поминки».

Въ промежуткѣ между 1840 и 1854 г. написано Тютчевымъ до 50-ти стихотвореній, нигдѣ, кажется, въ то время не напечатанныхъ; во всякомъ случаѣ съ 1840 до 1850 г. Тютчевъ вовсе не выступалъ въ печати. Мы не перечисляемъ этихъ 50-ти стихотвореній, такъ какъ хронологическій ходъ его творчества не представляетъ уже особеннаго интереса въ эпоху полной зрѣлости его поэтического таланта. Въ 1854 г. вышло первое полное собраніе его стихотвореній, сначала въ Майской книжкѣ Современника 1854 г., потомъ отдѣльнымъ оттискомъ, съ 96 піесами и съ слѣдующимъ предисловіемъ, написаннымъ И. С. Тургеневымъ отъ имени редакціи Современника (который въ то время издавался И. И. Панаевымъ и Н. А. Некрасовымъ):

«Получивъ отъ Ѳ. И. Тютчева право на изданіе его стихотвореній, редакція Современника помѣстила въ этомъ собраніи и тѣ стихотворенія, которыя принадлежать къ самой первой эпохѣ дѣятельности поэта и теперь были бы, вѣроятно, имъ самимъ отвергнуты. Но мы сочли за лучшее дать публикѣ изданіе по возможности полное. Такимъ образомъ, въ настоящемъ собраніи представляется публикѣ вся поэтическая дѣятельность поэта, за исключеніемъ нѣсколькихъ піесъ, совершенно незначительныхъ».

Тютчевъ, при этомъ изданіи, былъ очевидно самъ въ сторонѣ; за него распоряжались, радили и судили другіе. Мы убѣждены, что онъ даже и не заглянулъ въ эту книжечку. Съ того времени стихотворенія Тютчева стали появляться въ печати довольно часто, по крайней мѣрѣ уже безъ большихъ перерывовъ, — въ Современникѣ, Русской Бесѣдѣ, Днѣ, Русскомъ Вѣстникѣ и въ другихъ періодическихъ изданіяхъ.

Въ 1868 году вышло новое изданіе стихотвореній Тютчева, съ прибавленіемъ къ прежнимъ 96-ти еще 77-ти

піесть. Не было никакой возможности достать подлинниковъ руки поэта, для стихотвореній еще не напечатанныхъ,—ни убѣдить его просмотрѣть эти пьесы въ тѣхъ копіяхъ, которыя удалось добыть частью отъ разныхъ членовъ его семейства, частью отъ постороннихъ. Между тѣмъ нѣкоторыя изъ этихъ копій были ошибочны, или несогласны между собой. Пришлось выбирать лучшія и печатать безъ всякого участія со стороны самого автора. Мало того, ему было доставлено оглавленіе всей предполагавшейся книжки: оно пролежало у него мѣсяцъ и было возвращено—не просмотрѣнное; онъ даже и не взглянулъ на него. Когда же изданіе было окончено печатаніемъ, и ему предварительно былъ присланъ экземпляръ, то кто-то изъ присутствовавшихъ, разсматривая при немъ книжку, обратилъ его вниманіе на нѣкоторыя стихотворенія, которыхъ появленіе въ печати было по нѣкоторымъ причинамъ для Тютчева нежелательно. Нужно было эти стихотворенія исключить, для чего нѣкоторыя страницы перепечатать. При этомъ случаѣ Тютчеву пришлось прочесть оглавленіе всей книжки, и онъ былъ огорченъ помѣщеніемъ многихъ, дѣйствительно очень слабыхъ и мелкихъ стихотвореній,—которые впрочемъ въ изданіи 1868 г. были только перепечатаны съ изданія Современника. Ему было непріятно походить на какого-нибудь надменнаго собою римача, который дорожитъ каждою строкою своего пера, каждымъ словомъ, излетѣвшимъ изъ устъ,—тогда какъ Тютчевъ во всю жизнь свою ни разу не принималъ ни позы, ни осанки «автора». Но дѣлать было нечего, — потому что оглавленіе было уже на его предварительномъ просмотрѣ и возвращено было имъ для изданія безъ поправокъ и исключеній, какъ имъ одобренное. Чувство свое, по поводу этой книжки, выразилъ онъ въ стихахъ, написанныхъ на оберткѣ экземпляра, посланнаго къ его старинному пріятелю, М. П. Погодину:

Стиховъ моихъ вотъ списокъ безобразный;  
 Не заглянувъ въ него, дарю имъ васъ.  
 Не могъ склонить своей и лѣни праздной,  
 Чтобы она хоть вскользь имъ занялась.  
 Въ нашъ вѣкъ стихи живутъ два-три мгновенья,  
 Родились утромъ, къ вечеру умрутъ...

Такъ чтожъ тутъ хлопотать? Рука забвенья  
Свершитъ и здѣсь свой корректурный трудъ \*).

Послѣ изданія 1868 года Тютчевымъ написано довольно много стихотвореній, изъ которыхъ нѣкоторыя напечатаны, а нѣкоторыя не появлялись еще въ печати. По кончинѣ Тютчева, отыскалось еще нѣсколько піесъ, писанныхъ къ разнымъ лицамъ. Такихъ, до сихъ поръ безвѣстныхъ, произведеній, можетъ быть, еще найдется немало.

### III.

Некрологъ О. А. Тютчева, помѣщенный въ *Journal de St.-Pétersbourg*, 18 Іюля 1873 года.

Nos lecteurs connaissent la triste nouvelle de la mort de m. le conseiller privé Théodore Ivanovitch Tutchew, décédé à Tsarskoé-Célo le 15 Juillet.—Les derniers devoirs lui ont été rendus aujourd'hui, mercredi, au couvent de Novo-Diévitshi. La cérémonie funèbre a eu lieu à neuf heures du matin, en présence de la famille et des amis du défunt, sans autre appareil qu'une douleur profonde et recueillie, et d'unanimes regrets pour la mémoire de cet homme de cœur, que rien ne remplacera auprès de tous ceux qui l'ont connu.

Theodore Ivanovitch Tutchew était une des personnalités éminentes de notre société, un type original et sympathique. Foncièrement poète, dans le sens le plus élevé du mot, son esprit habitait les régions supérieures de la pensée humaine, sous tous ses aspects, même les plus sérieux. C'est là ce qui, à côté des vives et brillantes étincelles de cette intelligence hors ligne, lui imprimait une largeur de vues remarquable. Nous ignorons s'il existe un recueil complet de ses œuvres poétiques: il y attachait d'ailleurs peu d'importance. C'étaient comme des fruits mûrs qui naissaient et tombaient d'eux-mêmes du travail permanent de sa pensée. Il en était de même de ces *mots* si nombreux, si fins, si spirituels, qui

---

\*) Вслѣдъ затѣмъ Тютчевъ, противъ обыкновенія, прислалъ Погодину вариантъ, въ которомъ послѣдній стихъ замѣненъ такъ:

Исправить все чрезъ нѣсколько минутъ

lui échappaient dans la conversation, sans qu'il les cherchât, mots qu'il oubliait aussitôt dits, mais qui restaient dans le souvenir de tout le monde, parcequ'ils étaient marqués au coin du véritable esprit, de celui du meilleur aloi, saisissant les côtés vifs, les arêtes lumineuses des choses, et, sous une forme légère, dégagée de tout fiel, atteignant jusqu'au fond.

Mais ce qui distinguait éminemment Théodore Ivanovitch Tutchew, ce n'était point seulement son esprit, c'était un cœur ardent qui était le véritable mobile de toute son activité. Il apportait au milieu des choses les plus sérieuses de la vie, jusque dans les régions froides de la politique, un courant chaud venant du cœur, semblable à ces tièdes reflux du *Gulf-Stream* qui fondent les glaces de l'extrême. Nord et y répandent la chaleur et la vie. C'est là ce qui lui assigne une place marquante parmi ses contemporains et ce qui caractérise l'influence sociale éminente qu'il a exercée jusqu'à ses derniers jours. Si, dans le monde des affaires, rien de sensé ne se fait que par la raison, on peut dire que rien de véritablement grand et fécond ne s'accomplit que par les inspirations du cœur.

Aussi personne n'a-t-il accueilli avec plus d'enthousiasme que lui les grands faits accomplis sous l'initiative de notre Souverain bien-aimé et qui ont appelé la Russie à une vie nouvelle. Ces réformes répondaient aux plus ardentes aspirations de Théodore Ivanovitch Tutchew, car le sentiment où se résumait toute son âme, toute sa nature intellectuelle et morale, c'était son patriotisme, sa foi sans bornes dans l'avenir de la Russie, dans ses destinées, dans sa mission historique et providentielle. Ce patriotisme, plongeant ses racines jusqu'au fond de la vie nationale, et s'éclairant du dehors par la culture la plus complètement cosmopolite, constituait l'un des plus grands charmes et l'un des plus sérieux mérites du défunt.

Ne vivant que par l'activité intellectuelle, il s'était pénétré de tout ce que les progrès de l'esprit humain ont accompli depuis des siècles dans toutes les branches de la philosophie, de la littérature et de la politique; son érudition sous ce rapport était universelle. Mais loin de permettre que cette

culture étrangère, où s'affinait et se trempait son esprit, altérât en lui le vif sentiment de la nationalité russe, il avait au contraire mis toute cette science acquise au service de son patriotisme, et la poésie déversant sur tout cet ensemble de notions acquises, d'esprit naturel et de sentiments innés, de lumineux rayons émanés d'un cœur chaud, a fait de lui ce qu'il était, un écrivain persuasif par conviction, un publiciste honnête et droit, un causeur incomparable, toujours écouté et aimé, faisant partout la propagande de la foi, de l'espérance, de l'enthousiasme pour tout ce qui est bon, grand et beau. C'est sous ce point de vue surtout que sa mission sociale a été noble et utile; il l'a remplie jusqu'aux derniers moments de sa vie. alors même que l'enveloppe épuisée de cette âme ardente trahissait déjà ses forces et faisait pressentir sa fin. Il semble que de telles intelligences ne devraient point s'éteindre! Aussi survivent-elles à la destruction de la matière par les sympathies qu'elles ont acquises et par les germes de lumière, de chaleur et de vie qu'elles ont semés à profusion durant leur passage sur la terre.

Cette immortalité de l'affection et du souvenir est acquise à Théodore Ivanovitch Tutchew, et jamais larmes plus sincères n'ont été répandues que celles versées sur l'humble tombe où descendait un grand esprit.

---

2193 056



